БОТТИЧЕЛЛИ

Станислав Зарницкий

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сандро Боттичелли – один из крупнейших мастеров итальянского Возрождения, чьи творения поражают сочетанием непревзойденного изящества формы с философской глубиной содержания. За волшебной легкостью «Весны» и «Рождения Венеры» скрыта нелегкая жизнь художника, полная творческих исканий, надежд и разочарований. Автор новой биографии Боттичелли Ст. В. Зарницкий на основе немногих сохранившихся источников рисует картину жизни своего героя на фоне бурных событий истории Италии второй половины XV века.

Эта книга будет полезна не только знатокам итальянского искусства, но и всем тем, кого не оставляют равнодушными полотна великого флорентийца.

- Станислав Васильевич Зарницкий
  - Художник, вдохнувший поэзию в краски
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Основные даты жизни и творчества Сандро Боттичелли
  - Библиография
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15

Станислав Васильевич Зарницкий Боттичелли

Художник, вдохнувший поэзию в краски

Сандро Боттичелли (1445–1510), последний мастер итальянского Кватроченто, не принадлежит к когорте титанов Возрождения. Будучи современником многих из них, зная и изучая их творения, он оставался верным самому себе, ни на кого не похожим, стоящим особняком. С юным Леонардо да Винчи Боттичелли познакомился еще в годы ученичества в мастерской Андреа Верроккьо. Если все помыслы его младшего современника были устремлены к будущему, то Боттичелли целиком принадлежит прошлому Флоренции, в искусстве которой предпочтение всегда отдавалось рисунку и линии с ее плавным или стремительным ходом. На линейный ритм картин мастеров флорентийской школы живописи повлияли приемы ювелирного искусства, когда контуры словно обводились резцом гравера. Недаром сам Боттичелли и его собратья по цеху – Верроккьо, Гирландайо, братья Поллайоло – начали свой путь учениками у золотых дел мастеров, освоив все премудрости их ремесла.

Его лучшие творения связаны с так называемым «золотым веком» флорентийского искусства во времена правления Лоренцо Великолепного и творчества сплотившейся вокруг Медичи группы гуманистов, поэтов, художников, скульпторов и архитекторов. Принесшие Боттичелли мировую славу «Весна» и «Рождение Венеры» представляют собой причудливую смесь античности и готики. В них налицо сознательный отказ художника от ренессансных принципов соразмерности и равновесия, от пространственных впечатлений, зависящих от угла зрения зрителя. Сюжет обеих картин был подсказан художнику его друзьями – философом-неоплатоником Фичино и поэтом Полициано. Здесь, как и во многих других его произведениях, Боттичелли интересует не то, что происходит на картине, населенной языческими божествами, а то, что творится в нем самом, в его душе. Например, в «Поклонении волхвов» и на одной из фресок Сикстинской капеллы Боттичелли дает в толпе персонажей собственное изображение. Но в обоих случаях он отрешен от происходящего и целиком погружен в свои думы.

Его меньше всего занимают перспектива и ее основополагающая роль для построения композиции, которую неустанно обосновывал флорентийский живописец Паоло Уччелло, прозванный современниками «магом перспективы». Для Боттичелли пространство и форма – это всего лишь образ,

метафора, символ в его декоративно-изысканном обрамлении. Он был чужд каких-либо умозрительных схем и смотрел на мир исключительно через призму своего воображения. На его картинах появляются неестественно удлиненные фигуры, преисполненные возвышенной одухотворенности и несказанного очарования при всей их кажущейся хрупкости, ломкости и невесомости. Легкий бег нежных трепетных линий и их чарующая музыкальность, равно как периодическая смена ритма, лишают изображение статичности, придавая ему едва уловимое глазом движение в воображаемом пространстве и создавая удивительную атмосферу мечтательности и светлой грусти. Он был подлинным лириком, и появление любой новой его картины диктовалось внезапным порывом, всколыхнувшим его поэтическую натуру.

Каждый из флорентийских мастеров живописи XV века обладал ярко выраженной индивидуальностью, но всем им был свойствен единый язык – язык сердца. Боттичелли тоже выражал на нем свои чувства, сомнения, искания смысла жизни. Его сокровенные чувства читаются в загадочных ликах Мадонн и в причудливых изломах нежных линий, очерчивающих контуры. Достаточно вспомнить два его великолепных флорентийских тондо – «Мадонна Маньификат» («Величание Богоматери») и «Мадонна с гранатом», – чтобы убедиться, сколь велика их неизъяснимая колдовская притягательность.

Как никому другому, Боттичелли удалось возвыситься до идеала гармонической красоты, хотя в самой флорентийской действительности в последнее десятилетие века трудно было отыскать гармонию в канун грядущих потрясений. Именно тогда его образы начинают утрачивать жизненность, становясь все более аскетичными, и в нем еще сильнее проявляется тенденция к стилизации и архаике художественного языка. Этот резкий перелом во взглядах и мироощущении Боттичелли находит отражение в созданных им рисунках к «Божественной комедии» Данте, в которых проявилось противоречие между возвышенным полетом мысли поэта и метафизическим ее толкованием живописцем. Тогда же был написан широко известный портрет Данте – суровое лицо аскета, орлиный нос, плотно сжатые губы. Совсем недавно итальянские антропологи сумели восстановить подлинный облик автора «Комедии», черты которого оказались гораздо более мягкими. Так искусство Боттичелли в очередной раз вступило в спор с жизнью, изменяя ее в соответствии с идеальными представлениями художника.

В те годы с церковных амвонов Флоренции звучали страстные призывы монаха Савонаролы к всеобщему покаянию и забвению всего мирского перед неминуемым светопреставлением. Настали

мрачные времена разгула религиозного фанатизма, повергнувшие Боттичелли в уныние, о чем говорится в сохранившихся дневниках брата художника Симоне Филипепи. Как свидетельствует Вазари, вняв призывам Савонаролы, Боттичелли сам бросил в костер на площади несколько своих картин. Но еще большее потрясение в нем вызвала расправа над монахом-проповедником. Он впал в глубокую депрессию, и для его последних работ характерны схематизм и холодный колорит. Это особенно хорошо видно в лондонском «Мистическом Рождестве» и миланском «Оплакивании Христа».

После изгнания Медичи и восстановления республиканского правления искусство Флоренции переживает одну из самых блистательных страниц своей истории, когда в начале века там одновременно сошлись в творческом состязании Леонардо, Микеланджело и Рафаэль, а на площади Синьории был воздвигнут микеланджеловский «Давид», ставший героическим символом всей эпохи Возрождения. Боттичелли был очевидцем всего этого, но последние годы его жизни отмечены трагическим разладом с самим собой и окружающим миром, мучительными метаниями между гуманизмом друзей-неоплатоников и религиозной патетикой Савонаролы.

Его творчество не вписалось в эпоху Высокого Возрождения, и о нем вскоре забыли. Имя художника мельком упомянул в конце XVIII века лишь аббат Ланци в своей «Истории итальянской живописи», описывая фрески Сикстинской капеллы. Видимо, «Весну» и «Рождение Венеры» он не понял, а потому вообще умолчал о них, хотя писал свой труд во Флоренции. Вероятно, по этой же причине в петербургский Эрмитаж не попала ни одна картина Боттичелли.

Он был открыт и возвращен к жизни во второй половине XIX века английскими прерафаэлитами, выступавшими против пошлости буржуазной культуры и бед, порожденных индустриальным обществом. Они ратовали за возврат к «искренности» и «наивной религиозности» средневекового и раннеренессансного искусства, найдя в Боттичелли свой идеал. Их идеолог Джон Рескин первым разглядел истинную ценность творений забытого мастера, смело назвав Боттичелли реформатором, подобным Лютеру, перевернувшим представления об истинной красоте и подлинной вере.

Переживаемый художником глубокий духовный кризис читается в его удивительной картине «Покинутая», где изображена одинокая женская фигура, полная печали, словно заключенная в каменный мешок. Пожалуй, до Боттичелли такого выражения отчаяния и трагического одиночества человека в мире

мировая живопись не знала. Для состояния духа мастера в последние годы жизни весьма характерны настроения, выраженные Микеланджело в одном из его поздних сонетов:

Не ведаю, когда мой час пробьет,
А жизнь прошла, как краткое мгновенье.
Душа, презрев мирские искушенья,
Томится, ожидая свой черед.

Достигнув в подлости больших высот,
Наш мир живет в греховном ослепленьи.
Им правит ложь, а истина в забвеньи,
И рухнул светлых чаяний оплот.

В России подлинный интерес к Боттичелли пробудился только во второй половине XX века. За прошедшие годы было издано немало работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных творчеству этого замечательного мастера. Но до сих пор не появлялась книга, где рядом с Боттичелли-художником вставал бы в полный рост Боттичелли-человек с его духовными исканиями, надеждами и разочарованиями. Такую книгу написал Станислав Васильевич Зарницкий (1931–1999) – давний автор серии «ЖЗЛ», создатель биографий Г. В. Чичерина и Альбрехта Дюрера.[1] Много лет проработав дипломатом в странах Западной Европы, он всерьез увлекся искусством эпохи Возрождения, посвятив ему несколько книг. Биография Боттичелли стала его итоговым трудом, работа над которым продолжалась буквально до последних дней жизни автора.

Получив от наследников СВ. Зарницкого найденную в его архиве рукопись, издательство «Молодая гвардия» взяло за труд подготовить ее к изданию в той же серии «ЖЗЛ». Так книга о Боттичелли повторила судьбу ее героя, картины которого были возвращены человечеству после долгого забвения. Хочется верить, что она найдет своего читателя и вызовет интерес у многочисленных поклонников творчества великого флорентийца.

Александр МАХОВ.

Глава первая
Выбор пути

В году 1445-м, одиннадцатом году правления во Флоренции Козимо деи Медичи, когда Микелоцци приступил к строительству для него палаццо на виа Ларга, кожевник Мариано ди Ванни Филипепи, живший в приходе Оньисанти, что прилегает к берегу зеленого Арно, праздновал крещение сына Алессандро. Мариано не входил в число тех флорентийцев, чьи имена часто мелькают на страницах истории. К тому времени он был уже немолод, поскольку его старший сын Джованни родился около 1422 года. Вероятнее всего, его матерью была не Смеральда или Эсмеральда, родившая Алессандро, а другая женщина, имя которой до нас не дошло. В семье Филипепи был еще младший сын Симоне, родившийся на год или два позже Сандро. Больше о происхождении и родственных связях Мариано ничего не известно. Да и кому бы взбрело в голову заниматься родословной простого ремесленника, ничем особенным не отличившегося? Сколько их кануло в Лету, не оставив следа!

Но крестины были пышными, как и полагалось по традициям и регламенту цеха. Мариано встречал многочисленных гостей, принимал поздравления, щедро поил и кормил всех пришедших. Не сделай он этого, ему пришлось бы лишиться многих друзей. Но и тот из его коллег, кто не посетил бы его дом в столь торжественный день и не принес подарок счастливому отцу, потерял бы его дружбу, поплатившись к тому же солидным штрафом. Таковы были нерушимые обычаи, перенятые от предков. Крестины входили в список событий, присутствие на которых членов цеха считалось обязательным, как и участие в свадьбах и похоронах коллег. Подарки по таким случаям также были обязательны, чтобы облегчить хозяевам бремя расходов. Все это было записано в уставе цеха и соблюдалось неукоснительно. Кожевники чтили традиции и заветы предков – ведь они не какие-нибудь «чомпи», чесальщики шерсти, которым после известного мятежа 1378 года было строго запрещено объединяться в союз. Или, скажем, живописцы, которые хоть и создали гильдию святого Луки, вошедшую в цех врачей и аптекарей, но относились к ней наплевательски, как только получали звание мастера или зарабатывали достаточно средств, чтобы не прибегать к ее помощи.

Мариано устал, встречая и провожая поздравляющих – годы все-таки давали о себе знать. А ведь еще нужно было поговорить с

каждым в отдельности и выслушать бесконечные сетования на то, что дела идут из рук вон плохо, ибо Венеция – какой флорентиец не винит во всех своих бедах город лагун? – теснит Флоренцию на всех рынках. Кожи и ткани не находят сбыта, ибо те, что привозят венецианцы с Востока, дешевле, красивее и больше нравятся модницам. У гостей побогаче – другие проблемы и жалобы. Надежд на то, что им удастся сравняться с Медичи, Альбицци, Строцци, Торнабуони, Ручеллаи, ровно никаких. Те строят себе дворцы, а им придется доживать свой век в обветшалых дедовских домах, и виновной оказывается все та же Венеция. Мариано поддакивал, но истинные свои помыслы держал подальше от языка. У него тоже была мысль, что пора закрывать дело, распродать мастерские, купить новый дом подальше от зловония невыделанных кож и всецело предаться безделью. Например, читать книги, которых он собрал предостаточно, заказывая их в скриптории монастыря Сан-Марко – ведь каждый горожанин, имеющий средства, должен владеть парой-другой книг. Желание уйти на покой посещало его нередко, ибо и он понимал, что Флоренции в кожевенном деле вряд ли стоит тягаться с Венецией.

Поэтому он не возражал, когда Джованни, отказавшись продолжать дело, начатое еще его прадедом, избрал профессию маклера, несомненно, более прибыльную, чем ремесло кожевника. Какая судьба ожидала Сандро, думать было рановато, но на всякий случай в крестные отцы ему Мариано к неудовольствию коллег выбрал золотых дел мастера Антонио.[2] В первый день и он принимал поздравления вместе с отцом новорожденного, но в последующие не появлялся, сославшись на неотложные дела. Оно и понятно: кожевники для него не компания, однако предлог уважительный – в их городе дело всегда стоит на первом месте.

Было время, когда и Мариано отдавал своему предприятию все силы, старался пробиться наверх, попасть в число богачей, может, даже стать «приором» – старшиной цеха. Но все сложилось иначе. Колесо Фортуны не вознесло его вверх, и он охладел к шумным и грязным мастерским, к разъездам по Италии и заальпийским землям в поисках рынков для сбыта товара. Перепоручив все посредникам, он теперь безвыездно сидел во Флоренции и предавался размышлениям о том, почему все так получилось – ведь он старался, не жалея сил. Был в его жизни момент, когда он мог все изменить. Это случилось, когда сам всесильный Козимо Медичи обратил внимание на начитанного и сообразительного кожевника, был готов предоставить ему кредит, приблизить к себе. Мариано не захотел связывать себя, хотя он, как и большинство ремесленников города, уважал банкира,

который, несмотря на все свое богатство и родовитость, не чурался водить знакомство с простым людом, зная, что всегда может рассчитывать на его поддержку в час очередного мятежа. Он мог ссудить деньги незнакомому мастеру по первой же просьбе, а то и сам приходил на помощь, узнав, что тот или иной ремесленник попал в беду.

Во Флорентийской республике не было официальной должности правителя и, строго говоря, Козимо считался таким же гражданином, как все. Однако все знали, что фактически городом правит именно он, а не Синьория или Совет семидесяти. Были нобили не менее богатые; то одно, то другое семейство время от времени затевало свары, пытаясь добиться первенства. Но уважение граждан и прежде всего рабочего люда к Козимо было столь велико, что он мог не особенно беспокоиться по этому поводу и свысока взирать на всю эту грызню. Когда он считал нужным, то вмешивался в ход событий и всегда добивался успеха благодаря своему быстрому и проницательному уму. Сейчас ему минуло пятьдесят, но он по-прежнему был бодр. Седой как лунь, с крючковатым носом и смугло-оливковым цветом лица, красноречивый, когда требовалось, и скромный, когда это было нужно, для всех граждан Флоренции он был не только правителем, но и «отцом отечества», как это впоследствии увековечила надпись на его саркофаге.

Его род, корни которого прослеживались до XII столетия, начинал с малого. Само прозвище «Медичи» говорило о том, что его предки были медиками; на это же намекал и герб, в котором на белом фоне красовались красные пилюли – «шары». В семействе давно уже забыли о том, что оно некогда занималось врачеванием, хотя его члены по-прежнему входили в цех врачей и аптекарей. Кто из них и когда впервые стал банкиром, предание умалчивало, но сейчас Медичи были богатейшими людьми не только во Флоренции, но и во всей Италии. Их банковские конторы были разбросаны по всей Европе. Козимо досталось огромное наследство, и он не только умело распорядился им, но и значительно приумножил достояние семьи. Да, он был сказочно богат, но не скареден. Многие ремесленники, как уже говорилось, могли пропеть ему хвалебные гимны. Зажиточность многих флорентийских семейств, таких как Торнабуони или Портинари, основывалась на его деньгах и советах. Козимо был человеком глубоко верующим, что пошло на пользу многим церквям и монастырям Флоренции – он жертвовал им алтари, картины, драгоценную утварь, рукописи и книги. При его покровительстве и на его деньги был построен монастырь Сан-Марко; там у него была келья, где он уединялся, чтобы помолиться, отдохнуть от

каждодневных забот или обдумать очередное предприятие. В такие дни его не стоило беспокоить.

Те, кто мало знал старого Козимо, и представить не могли, сколько горестей и бед пришлось ему пережить, прежде чем он стал непререкаемым правителем Флоренции. Именно он сопровождал злополучного папу-пирата Иоанна XXIII на Констанцский собор и числился одним из его доверенных лиц. Когда папа решением собора был низложен, шишки посыпались и на него. Спасая свою жизнь, Козимо бежал, переодевшись в чужое платье. Это, однако, не остановило его: возвратившись в родной город, он активно ввязался в политику, что могло бы кончиться для него плачевно, если бы не большие деньги, родственные связи и сноровка – поварившись в котле европейской политики, он твердо знал, как схватить Фортуну за чуб.

Его роль и влияние в городе постепенно росли, и пошла молва, что он хочет единовластвовать. Завистников у него было достаточно – те же Альбицци, Перуцци и Строцци отчаянно завидовали счастливцу. Их страстным желанием было изгнать Медичи из Флоренции, но для этого нужны были веские обвинения, а не сказки о претензиях Козимо на королевскую корону. Как известно еще из Библии, кто ищет, тот обрящет, и скоро предлог был изобретен. Флоренция вела затяжную войну с ничтожным княжеством Лукка и уже потратила на нее массу денег, нанимая кондотьеров с их отрядами, так как собственных войск не имела – а успеха все не предвиделось. И вот нашелся здравый человек, который заявил, что нечего выбрасывать деньги на ветер – бесполезную войну следует прекратить, а цели добиваться иными средствами. Если же это невозможно, нужно, по крайней мере, значительно сократить расходы. Когда Козимо хотел, то своим красноречием он мог убедить даже дубы во фьезоланских рощах. Синьория избрала второй, предложенный им путь: выплаты кондотьерам были сокращены.

На беду Козимо, очередной поход против Лукки закончился поражением, в котором обвинили его. Заодно припомнили и то, что папа Евгений IV как-то в беседе обмолвился в порыве благодарности: Козимо по всем статьям уже король, которому не хватает только короны. Связав все воедино, кое-где притянув доводы за уши, кое-где сгладив нестыковки, враги обвинили Козимо в предательстве интересов родного города и в возбуждении смуты для того, чтобы добиться своих заветных целей. И хотя обвинение было дутым – меньше всего Козимо можно было заподозрить в измене – его пригласили в Синьорию для объяснения своего поведения. Для вызываемого такое приглашение часто кончалось плохо; тем не менее Медичи

отправился на разбирательство, был схвачен и отправлен в городскую тюрьму.

За свою полувековую жизнь Мариано Филипепи пережил много свар в родном городе, так что вместе со своим великим земляком Данте мог бы сказать:

> Гордись, Фьоренца, долей величавой!
> Ты над землей и морем бьешь крылом,
> И самый Дд твоей наполнен славой![3]

Но те тревожные четыре дня он сохранил в своей памяти и не любил говорить об этом, ибо повел себя тогда не самым лучшим образом. Брошенный в узилище «по требованию народа», Козимо все это время голодал, ибо боялся отравы. А у стен тюрьмы бушевали толпы горожан, среди которых был и Мариано. В принципе, им было все равно, будет захвачена Лукка или нет, но они, охочие до зрелищ, как любая толпа, требовали казни «предателя». И все же на пятый день заключенный бежал – ведь деньги открывают самые прочные двери и в целости и сохранности проводят через любую толпу. Козимо уговорил одного из своих стражей передать гонфалоньеру – главе Синьории – тысячу флоринов, после чего вышел на волю. Так он уже во второй раз избежал смерти – было от чего рано поседеть!

Бежав в Венецию, Козимо не стал, подобно другим, сколачивать армии и союзы для похода на Флоренцию, нанимать кондотьеров, хотя денег на это у него хватило бы. Он поступил иначе: начал переводить активы своего банка в Венецию, как говорили, с намерением обосноваться здесь навсегда. Из Флоренции потянулись к нему те, кто дружил с ним или был к нему близок – живописцы, ваятели, философы, купцы. В частности, к нему переехал Микелоццо Микелоцци, тот самый, который построил базилику Сан-Марко и теперь возводил дворец для Медичи.

Если бы до Флоренции дошла весть о предстоящем нашествии сарацинов, она наделала бы меньше переполоха, чем слух о намерении Козимо забрать из города свои деньги. Даже самому глупому флорентийцу было ясно: случись это, торговую республику ожидает полный крах. Венеция не упустит такой возможности, чтобы разорить конкурента. Первыми это поняли ремесленники – без поддержки Козимо они долго не удержатся на плаву. Цехи подняли народ, и «тощий люд» снова, в который уже раз, взбунтовался; те, кто недавно требовал для Козимо смерти, теперь снова вышли на площадь, но уже с требованием вернуть его в город. В адрес Синьории сыпались недвусмысленные угрозы.

Мариано снова был вместе с народом и с неменьшим усердием требовал исправить ошибку правосудия. И опять Синьория подчинилась «воле народа»; в Венецию были отправлены гонцы с просьбой к Козимо простить проявленную в его отношении несправедливость и возвратиться в родной город. Медичи простил.

Прошло немного времени, и Флоренция встречала изгнанного ею «предателя» с таким ликованием, которое не снилось даже римским триумфаторам: разноцветные знамена цехов, ковры и бархатные ткани, свисающие с балконов нобилей, арки, перевитые лентами, зеленью и цветами, пышные праздничные одежды, сладкозвучная музыка и угодливо склоненные головы сенаторов, а в заключение – праздничный обед в палаццо Веккьо и накрытые столы для народа на соседней площади. Если бы в эти дни Козимо пожелал бы стать тираном, он бы им стал под приветственные крики толпы. Иностранцы говорили, что нет ничего более непостоянного в мире, чем характер флорентийцев, и они были правы. Однако Козимо остался и здесь верен своему принципу: ничего сверх меры. Своих противников – а он их знал наперечет – он мог бы стереть в порошок, но не тронул их и пальцем. Если же несколько человек и были изгнаны из Флоренции, то это случилось по инициативе властей, не знавших, как только угодить Козимо. С этих самых пор, с 1434 года, начался отсчет владычества Козимо деи Медичи, которое никто, по крайней мере явно, не осмеливался оспаривать.

Обо всех этих событиях, предшествовавших его рождению, Сандро узнал, когда повзрослел. Детство его прошло на улицах и площадях Флоренции – там же, где и у многих его сверстников. Именно здесь бурлила и била ключом та жизнь, которая всегда привлекает мальчишек. Здесь можно было увидеть и услышать немало интересного и занимательного, узнать новости, прислушиваясь к разговорам и перебранкам взрослых, собиравшихся для того, чтобы обсудить свежие слухи. Здесь же можно было пристроиться к процессиям и шествиям, в которых во Флоренции никогда не было недостатка, можно было проникнуть в многочисленные церкви и посмотреть какое-нибудь представление на тему из Библии. Да и мало ли занятий можно было найти на шумных флорентийских улицах! Центр города оставался запружен толпой до того времени, когда колокол на башне Джотто оповещал о наступлении ночи и городская стража с факелами в руках начинала обход Флоренции, возвещая гражданам, что пора гасить огни и отправляться спать.

В Италии недаром говорили: стоит сойтись двум флорентийцам, и любая беседа между ними обязательно сведется

к политике. А как же иначе? Ведь каждый из них имеет право прибежать по зову колокола на площадь Синьории на так называемый «парламенто» и подать свой голос за что-то или против чего-то. А потом отправиться домой в полной уверенности, что он что-то решил в судьбе своего города. Семейства нобилей, постоянно враждуя между собой, то и дело взывают к народу и просят о поддержке. Кому помогать – вопрос сложный, как уже показал пример с Козимо. Нужно все время держать ухо востро. Если спросить Мариано, помнит ли он хотя бы один год, когда во Флоренции жили бы в мире и согласии, ему бы пришлось надолго задуматься, но в итоге лишь отрицательно покачать головой. То, что при Козимо было сравнительно тихо, означало лишь, что в городе не случалось больших междоусобиц, кончавшихся побоищами. Один многомудрый человек объяснил это так: все раздоры происходят оттого, что, до того как городу стал покровительствовать святой Иоанн, его патроном был языческий бог войны Марс. Он так и не простил флорентийцам измены и поэтому натравливает их друг на друга. В результате в Италии о флорентийцах сложилось мнение как о народе не только богатом, но и вздорном, непредсказуемом в своих мыслях и действиях, готовом по любому пустячному поводу схватиться за меч или дубину – что подвернется под руку. Если в других городах для волнений есть одна причина, говорил современник, то во Флоренции их всегда отыщется десяток. В междоусобных стычках здесь погибло больше людей, чем во всех войнах, которые вела республика.

Сандро постепенно открывал и познавал этот крикливый, взбудораженный, шумный мир – мир площадей и церквей, хитросплетенных улочек, переулков, тупиков, где прохожему трудно было разминуться со всадником, не начистив ему, как говорил один из новеллистов, сапоги своим платьем, где запросто можно было угодить в сточную канаву или же быть облитым нечистотами, выплеснутыми из окна или с балкона; мир массивных, походящих на крепости, палаццо «жирных», как называли нобилей, и шатающихся под ветром развалюх «тощего народа». Этот мир медленно, но неуклонно отживал свой век. Когда была построена третья стена вокруг города, включившая и предместье Борго, где проживал Мариано, для Синьории открылась долгожданная возможность перепланировать сердцевину Флоренции. Площади там, где это было возможно, замостили каменными плитами; улицы выпрямляли и расширяли, снося старые дома или убирая пристройки к ним. Было запрещено без разрешения городских властей строить балконы и лоджии, заслоняющие солнце. Нобили стали переселяться ближе

к холмам, в так называемый Верхний город, или же на незастроенный южный берег Арно. Но бывшее предместье Борго пока еще было заселено не густо – летние испарения Арно не без оснований считались нездоровыми. Поэтому здесь еще можно было найти луга и небольшие рощицы – излюбленные места прогулок горожан, где они играли в мяч, танцевали, занимались флиртом. Здесь же разбивали свои палатки бродячие артисты. Луг перед церковью Оньисанти (Всех святых) особенно привлекал горожан, и Мариано со своим семейством охотно прогуливался здесь, благо отсюда было рукой подать от его дома.

Летом во Флоренции становилось невозможно жить. «Четвертая стена» – цепь пологих холмов, окружавших город со всех сторон – не давала рассеиваться испарениям Арно, которые, смешиваясь со смрадом мастерских и сточных канав, накрывали город душным пологом. Тогда нобили оставляли город и переселялись в загородные виллы, расположенные на склонах холмов. Оттуда они правили городом, там читали или писали в деревенской тиши, подражая древним, там же принимали гостей. Ремесленникам туда путь был заказан, если они не располагали достаточными средствами. Мариано был ими обделен, а после рождения Сандро и его младшего брата Симоне подобные мечтания вообще пришлось оставить – нужно было копить на покупку нового, более просторного дома в городе. С сильными мира сего не стоит состязаться – истину эту с годами Мариано усвоил хорошо.

Очень рано Сандро узнал, что его родная Флоренция – это «город цветов», краше и богаче которого нет во всем мире. Однако в самом городе цветов было мало – они если и росли, то во внутренних двориках, скрытых от посторонних глаз; их было много разве что в садах, окружающих богатые виллы, или на пригородных лугах. Поэтому название города долго удивляло его, пока ему не разъяснили, что дано оно было давным-давно – во времена Цезаря, когда здесь в море цветов был разбит римский военный лагерь. Это объяснение было скучным, и Сандро предпочитал ему другое, которое дал его знаменитый земляк Боккаччо. В стародавние времена, рассказывал он, когда еще не было христиан, языческие боги запросто спускались с небес на землю. Вот тогда в Италию вместе с троянским беглецом Энеем прибыл уроженец Фив Ахеменид, который, утомившись от походов и путешествий, решил основать для себя город на берегах Арно и поселиться в нем. Боги, к которым он обратился за советом, где ему обосноваться, сказали: там, где его боевой конь остановится перед жертвенником Марса и ударит копытом. Это и случилось в небольшом поселении на берегу Арно. Здесь

был основан город, названный Новыми Фивами. После смерти Ахеменида в городке вспыхнули раздоры, и боги, чтобы прекратить их, посоветовали сменить название.

Люди долго судили и рядили, но ничего путного придумать не могли. Тогда они вновь позвали на помощь богов, но и те долго не могли прийти к согласию. Наконец Юпитер приказал им: назовет город тот, кто принесет ему в подарок «самый похвальный предмет». Марс принес огонь, Юнона – золото, Минерва – богатые одежды, Венера – цветы, Вертумн – осла. Юпитер счел, что наиболее ценным является огонь, и предложил Марсу дать имя городу. Но тот, глядя на Венеру, ставшую еще прекраснее в окружении цветов, назвал город Фьоренцей и объявил себя его покровителем. Но сведущие люди говорили, что все это вранье и языческие бредни. Дело было иначе: город основала и дала ему название сама Пресвятая Дева, и она же взяла его под свое покровительство. А цветы в его названии – белые лилии, извечный символ чистоты и непорочности.

Каждый флорентиец с молоком матери впитывал любовь к родному городу, а потом на площадях – этих «ярмарках новостей» – от людей, объездивших свет, узнавал, что краше их города нет на белом свете. Недаром для истинного флорентийца не было худшего наказания, чем изгнание. Все знали, как тосковал великий Данте, до самой смерти лишенный возможности вернуться домой. Говорят, Рим великий город, но куда ему соревноваться с Флоренцией! Да, он был когда-то главой мира и повелевал им, но теперь он всего-навсего его хвост. Он только тем и хорош, что предоставляет флорентийским скульпторам и архитекторам возможность лазать по развалинам и учиться у древних тайнам высокого мастерства. Может быть, Венеция? Но какой флорентиец по собственной воле променяет зеленые леса и холмы Тосканы на заплесневелые лагуны? Милан? Здесь остается лишь махнуть рукой. О заальпийских городах и говорить не стоит: что путного могут создать варвары?

Мудрый Козимо как-то изрек: роскошь – это то, что человек собирает и тратит на себя, а богатство – то, что видят и чем пользуются все. Поэтому он тратил свое богатство на украшение Флоренции, а за ним тянулись другие: строили капеллы, обновляли церкви, воздвигали на свои средства общественные здания. Каждый старался перещеголять другого своими пожертвованиями и заслугами перед городом. Цехи не отставали от нобилей, а когда одному было не под силу осуществить задуманное, действовали сообща, в складчину, и партнеры всегда находились. Доделывали то, что оставили незавершенным предки, начинали новое, чтобы передать детям и внукам.

Архитекторы, скульпторы и живописцы, хотя их и считали по старинке ремесленниками, были в большом почете; им покровительствовали, их переманивали друг у друга, платя порой бешеные деньги. Чем знаменитее был мастер, тем больше было надежд, что имя его патрона не сотрется в веках.

В регламентах цехов было записано, что детей нужно воспитывать в страхе божием и давать им читать только «душеполезные книги». Мариано старался выполнять эти заповеди, однако не так просто это было сделать, ибо поэты и прочие философы настолько засорили мозги флорентийцев языческими бреднями, что даже простой люд клялся какими-то Юпитерами и Аполлонами. О молодежи и говорить не приходилось – Венеры, наяды и нимфы так и сыпались у них с языка. И сказки, которые няньки и приживалки рассказывали своим питомцам, были уже не те, что кожевник слышал в детстве. Раньше рассказывали об искусных ремесленниках, о королях и королевах, ну еще о лесных девах, живущих в тосканских урочищах, или о злобных стригах – ведьмах, которые пожирают непослушных детей. Сейчас же можно было услышать о фьезоланских нимфах и бог весть еще о ком – даже об охотниках, превращенных в оленей и волков. И где только эти бабки наслушались подобных бредней? Да что бабки – в церквях то же самое: не успеет проповедник взойти на кафедру и открыть рот, чтобы упомянуть имя Божие, как уже посыпались у него с языка Юпитеры и Зевсы, Юноны и Геры. Трудно иногда понять, на что он ссылается: то ли на Евангелие, то ли на писания какого-то Платона, которые наводнили Флоренцию благодаря философам из новоявленной академии, которую неизвестно ради чего поддерживает Козимо.

Филипепи не имеет ничего против философов как таковых – каждый зарабатывает свой хлеб, как может. Но ему не по душе, что они занимаются не Священным Писанием, а трудами каких-то язычников. Его коллеги этого увлечения тоже не одобряют: добром все это не кончится, быть беде. А беда уже идет – турки напирают с Востока. Во Флоренции появилось много греков, бежавших от нашествия мусульман, потерявших и родину, и имущество. Беженцы обвиняли христиан Европы, что они не приходят к ним на помощь, Что правда, то правда: разговоров на этот счет было много, но толку мало. Когда купцы принесли в 1453 году страшную новость, что османы овладели Константинополем, многие оправдывали свое бездействие тем, что греки сами виноваты – исказили истинную веру, вели непотребный образ жизни, погрязли в разврате и интригах. Но чувство вины не оставляло, поэтому грекам помогали, кто чем

мог.

Козимо был в числе первых, кто старался облегчить жизнь изгнанников: пожертвовал на их устройство средства, превышающие годовой расход Синьории на городские нужды, ходатайствовал за беженцев перед цехами, ибо чужеземцев в них не принимали, открыл двери своего дома для византийских ученых. Поговаривали, правда, что он за бесценок скупает у них старинные рукописи, но на то он и купец, чтобы не упустить своего. Безусловно, милосердие – богоугодное дело, но вместе с этими греками пришли в город взгляды, попахивающие ересью, и это Филипепи никак одобрить не мог. Один из беглецов, Гемист Плифон, уговорил Козимо основать собственную академию, где изучались не труды отцов церкви, а труды древнего язычника Платона. Попробуй тут воспитать детей в благочестии!

Нельзя было сказать, что Мариано был ретроградом, – у него на книжной полке рядом с Библией и «Комедией» Данте стояли рукописи, где подробно рассказывалось об этих языческих богах. Нечего греха таить, он частенько заглядывал в них – нельзя же ударить в грязь лицом в разговорах с коллегами! Однако он полагал, что в голове человека должен быть такой же порядок, как в доме или мастерской, где все на своем месте, всему свое время. За это и уважал Козимо: как бы тот ни был занят своими делами, какое бы покровительство ни оказывал бежавшим грекам, но никаким Юпитерам не поклонялся и Платоном не клялся, держался истинной веры, как его родители и пращуры.

И не только из-за вторжения чужих богов ребенку трудно привить католическое благочестие. Что он услышит или увидит в церкви? Хороших священников, таких, чтобы каждое их слово брало за душу, мало. Некоторые из них, получив место в флорентийских церквях, носа в них не казали, а нанимали неученых заместителей, которые в службах путались, толком двух слов связать не могли, а Евангелие если и знали когда-то, то основательно подзабыли. О их латыни лучше не говорить – даже человек знающий в ней ничего не поймет. Чему тут удивляться: Божьи храмы превратились во что угодно, но только не в святые места. Некоторые приходят сюда не Господу молиться, а обделывать свои дела и делишки: одни тайком встречаются с любимой, охраняемой строгими родителями, другие просто сплетничают или заключают сделки, благо и нотариусы расположились здесь же. Третьи учатся – обедневшие педагоги, не имея средств снять помещение, проводят свои занятия в церквях, откуда их никто не гонит: знания в глазах флорентийцев вещь полезная.

Однако теперь и самому можно было объяснить ребенку

истории из Священного Писания и житий святых. Мариано еще помнил те времена, когда стены храмов и капелл были голыми, лишенными украшений; теперь же благодаря стараниям городских властей, рвению приоров церквей и монастырей и пожертвованиям прихожан почти все они были украшены фресками и картинами. Переходя от одной стены к другой, от картины к картине, можно было узнать многое. Недаром говорили, что живопись – это книга для неграмотных. Когда выдавалось свободное время, Мариано водил Сандро по церквям и рассказывал о том, что мальчик видел перед собой. Были у него свои любимые сюжеты и святые. Он повествовал и о святом Джованни – Иоанне Крестителе, небесном покровителе города, – и о жизни Девы Марии, почитаемой в городе, пожалуй, превыше всех святых, ибо она не только покровительствовала Флоренции, но и, как верили, выступит на последнем Страшном суде заступницей за души горожан перед Христом.

Ты – состраданье, ты – благоволенье,
Ты – всяческая щедрость, ты одна —
Всех совершенств душевных совмещенье!

Так воспевал Пресвятую Деву Данте, так считали и все флорентийцы. Но у каждого из них был еще и собственный покровитель. Мариано, например, особо чтил святого Себастьяна, который, по поверьям, отводил чуму – эти стрелы божественного гнева, – и который когда-то во время очередного мора спас самого Филипепи от Черной смерти, не к добру навестившей Флоренцию. Были и другие библейские персонажи, о которых должен был обязательно знать флорентиец, к примеру Юдифь, отрубившая голову Олоферну и спасшая родной город от неприятеля. Она наряду с Давидом, победившим Голиафа, всегда приводилась в пример как образец гражданского мужества и любви к отечеству.

Чем больше подрастал Сандро, тем любознательнее становился. Его интересовало многое, но, как заметил Мариано, он ни на чем не мог сосредоточиться надолго. Для будущего ремесленника, которому нужны прежде всего терпение и выдержка, это было плохо. Зато все сказанное мальчик усваивал очень быстро. И еще одну особенность подметил Мариано – Сандро отталкивал вид крови и мучений, которым подвергались святые. Поэтому на том, чтобы он перенял у отца ремесло кожевника, можно было поставить крест. С годами страх перед физическими страданиями не проходил, а казалось, возрастал еще больше. Сандро боялся фресок, где изображались распятие

Христа или Страшный суд. Он не любил слушать рассказы о кознях дьявола, и не было большего наказания для него, когда за тот или иной проступок ему грозили муками ада. Тогда он забивался в угол и извлечь его оттуда стоило немалых трудов. Он тянулся к картинам светлым и радостным; особенно его привлекали изображения Богоматери, в чью защиту и покровительство мальчик уверовал. Он долго переживал рассказы о бедствиях, принесенных ураганом, который обрушился на Тоскану в августе 1456 года. Тогда смерч, обойдя Флоренцию, стер с лица земли целые деревни и рощи, повырывал с корнем виноградники и погубил десятки людей. В городе судачили о том, что это первое предупреждение Господа погрязшей в грехах Флоренции, предвестник Апокалипсиса. Как горячо тогда мальчик молился Богоматери, обращаясь к ней с просьбой отвести беду!

Скоро Сандро знал имена всех известных живописцев Флоренции – да и как их было не запомнить, если у фресок в церквях всегда толпились люди, обсуждавшие их достоинства и недостатки! В последнее время у флорентийцев появилась наряду с политикой еще одна страсть – искусство. Чуть ли не каждый второй горожанин считал себя его знатоком, и даже самый последний чесальщик шерсти мог порассуждать на досуге об архитектуре, скульптуре и живописи. А какие споры разгорались, когда тот или иной цех принимал решение пожертвовать собору алтарь или построить часовню! Ну прямо компания святого Луки, а не шелкоделы или сапожники! В этом сказывалось влияние нобилей, и Мариано подобных споров не одобрял: каждый должен заниматься своим делом. Однако сам кожевник нет-нет да и ввязывался в подобные диспуты.

Сандро слушал и запоминал. Фантазии, надо сказать, у него было много, и временами он удивлял отца. Что можно увидеть в потеках от дождя на стене или в пятнах плесени? А мальчик убеждал, что видит человеческое лицо, собаку, дерево. Ничего похожего не было, а он брал уголек и обводил контуры, и действительно, получалось точно то, что он говорил. У какого-то живописца – имя его Мариано запамятовал – была точно такая же способность, но говорили, что он немного не в себе, и получались у него, в отличие от Сандро, всегда какие-нибудь чудища. Знакомые Филипепи говорили, что у мальчишки есть способности к рисованию. Если их послушать, то все более или менее известные живописцы начинали с того, что пасли кто овец, а кто коров, рисовали их на камнях, а потом их обязательно заставал за этим занятием какой-нибудь синьор и отдавал в учение.

Сандро пока никто не замечал. А если заметит? По правде

говоря, Мариано не особенно желал, чтобы такое случилось. Как и всякий добросовестный ремесленник, он был предубежден относительно живописцев: народ они ненадежный, у каждого какая-нибудь странность, а вот чувства товарищества нет и в помине. Но если уж ничего путного из парня не получится, то на худой конец сойдет и живопись – какая-никакая, а профессия. Но пока до этого далеко. Это он так считает, а коллеги по цеху достаточно ясно намекают, а то и говорят открыто, что он балует ребенка, позволяет ему бездельничать, словно он сын нобиля, а не ремесленника. Пора его пристраивать к делу, чтобы он не шатался по городу. Они правы, вот только Мариано решил, что сына сначала надо отправить в школу – хороший ремесленник должен владеть письмом и счетом, тогда ему легче пробиться в жизни. Но все опять упиралось в выбор профессии – трудно выбрать школу для Сандро, не решив, какому ремеслу следует его обучать.

Если бы мальчик проявил склонность к чему-нибудь определенному, никаких трудностей не возникло бы. Но когда нелегко предугадать, какую судьбу он выберет, приходится ломать голову. Проще всего определить его в латинскую школу, какую в свое время посещал сам Мариано, как и большинство флорентийцев – полученных там знаний вполне хватало, чтобы более или менее успешно вести любое дело. В такой школе – подобные ей существовали повсюду – ученики обучались чтению, письму и основам латыни, чтобы разбираться в молитвах. Там их знакомили с библейской историей, а также с начатками других наук в зависимости от склонности и знаний преподавателя. Закончившие школу при достаточном усердии могли пробить себе дорогу в университет. Но таких было не так уж много; занятия наукой флорентинцев не особенно увлекали, для этого они были слишком практичны.

Однако во Флоренции существовали и другие школы – так называемые торговые. Иначе и не могло быть в городе, где ремесло, торговля и банковское дело шли рука об руку. В таких школах можно было получить те же знания, что и в латинской, но здесь на первом месте стояли арифметика и геометрия. Отсюда легче было попасть в обучение к купцу, банкиру, ростовщику; церкви тоже нуждались в подобных знаниях, ибо их торговые обороты временами не уступали купеческим. А дальше все зависело от прихоти какого-нибудь мецената, от собственных сил и способностей, ну и, конечно, от фортуны, которая, как известно, любит людей смелых и напористых. Но этих качеств Мариано в своем сыне не видел, а посему отдал его в латинскую школу.

Сандро учился охотно. Учителя могли пожаловаться разве

что на мелкие его шалости, но и они не могли определить склонностей своего ученика – его увлекало все, но только до тех пор, пока ему это было интересно. Схватывал он все быстро, на лету, но затем начинались бесконечные вопросы, которые выводили учителей из себя: почему так, а не иначе? Эти «зачем» и «почему» так и сыпались по любому поводу. Слишком любознателен, а это может довести до большой беды – таков был вывод. Когда же, изучая латынь, школьники перешли к отрывкам из древних поэтов, случилась новая беда: Сандро увлекся их выдумками. На свою беду, учитель пересказал ему несколько мифов, и в результате мальчик начал чрезмерно интересоваться древними богами и героями. Все происходило так, как и предостерегали святые отцы: языческие сказки могут увлечь слабый ум ребенка. Более того, он стал писать стихи.

Ничего грешного тут, конечно, нет: сейчас каждый мало-мальски грамотный флорентиец может облечь свои мысли в стихотворный наряд, но когда стихоплетство отвлекает от более важных дел, оно порождает бездельника, который всецело зависит от милости толстосумов-меценатов. Благо сейчас во Флоренции много тех, кто возомнил себя покровителями наук и искусств, но так будет не всегда, а без покровителей поэт – тот же нищий. Ко всему прочему Мариано считал, что после Данте в поэзии больше делать нечего; в его «Комедии», недаром получившей от потомков название Божественной, сказано все, что надо. Посему он не видел никакого величия в Петрарке и Боккаччо, – тоже его земляках. Беда, если Сандро увлечется стихоплетством всерьез: во Флоренции при покровительстве Козимо этих философов и поэтов и так развелось больше, чем надо. Но это их дело – плохо лишь, что они вытащили на свет божий давно преданных забвению Юпитеров, Марсов, Венер и прочих там нимф и кентавров. А Сандро начал интересоваться ими, пожалуй, больше, чем Евангелием. Коллеги вряд ли поймут его потворство сыну: в уставе цеха недвусмысленно говорится, что каждый входящий в него должен воспитывать из своих детей и учеников добрых христиан, преданных вере. Только Мариано собрался принять надлежащие меры, как и это увлечение у Сандро прошло. Слава богу!

За два года, проведенных в школе, Сандро взял из нее все, что можно было взять. И, как ни крути, снова встал вопрос, что же с ним делать дальше. Ему исполнялось четырнадцать лет, значит, он становился полноправным гражданином Флоренции и как сын ремесленника должен был заняться каким-нибудь определенным делом. В Синьории, когда Мариано заносил в реестр сведения о своем семейном и материальном положении, у него прямо

спросили, чем занимается его сын. Это было не просто любопытство, данные требовались, чтобы определить его доходы для взятия налогов. Пришлось прибегнуть к хитрости – сказать, что у Сандро слабое здоровье. Тем не менее он настоял, чтобы в реестр занесли фразу «учится читать и писать». Под этим подразумевалось, что его сын не бездельник и в ближайшем будущем вполне может найти себе занятие.

На этот раз господа из Синьории удовлетворились ответом, но надолго ли? Вечером пришлось собрать семейный совет – Мариано, его старший сын Джованни и кум Антонио. Джованни уже выучился ремеслу маклера и готовился открыть собственную контору. Всем видом он доказывал свою важность и, несмотря на молодость, отрастил такое брюхо, что остряки-горожане прозвали его Боттичелло – «бочонком». Позже это прозвище перешло и на младшего брата. Джованни сразу же выразил сомнение, что Сандро сможет пойти по его стопам. Какой из него маклер! Для этого нужно быть более расторопным, смотреть на вещи реально и не видеть рыцарей и драконов в каждом пятне плесени.

Антонио согласился с тем, что кожевника из парня не получится, но вот к какому ремеслу его приспособить, затруднялся сказать. Может быть, из него и выйдет живописец, но то, что он пытается рисовать, еще ни о чем не говорит. Беседовали долго, перебрали все возможные ремесла, но ни для одного из них Сандро не подходил. Конечно, вопрос можно было решить просто: Мариано мог приказать сыну заняться тем или иным делом, но он не хотел оказаться виноватым, если у Сандро что-нибудь не сложится. Опять проявил мягкотелость, за которую его порицали товарищи. Устав от споров, Антонио предложил взять крестника в свою мастерскую учеником. Где еще он может выработать терпение, упорство и усидчивость? Подумав, Мариано согласился.

Собственного мнения у Сандро не было – ему было приказано отправляться к крестному отцу обучаться на ювелира, он и пошел. Не потому, что был таким уж послушным, а просто сам еще не знал, в чем состоит его призвание. Ему еще повезло: не пришлось начинать учебу у незнакомых людей. Согласно традиции он должен был покинуть родной дом и переселиться к мастеру, войти в его семью и разделить с нею все ее хлопоты. На правах младшего Сандро приходилось вставать раньше всех и выполнять поручения, не имевшие к учебе никакого отношения, – колоть дрова, носить воду, делать другие дела, которые всегда найдутся в доме, где живут большая семья мастера и с десяток учеников. В мастерской тоже должен быть порядок, пол выметен или вымыт, инструменты разложены по своим местам. В остальное время

нужно сопровождать хозяйку на рынок, бегать по городу, выполняя поручения мастера, или же следить за работой, слушая объяснения, как называется тот или иной инструмент, для чего он нужен, как правильно держать его в руках. Таков был порядок, сложившийся в веках, и никто не собирался его менять.

Хорошо было уже то, что на правах почти что родственника Сандро не получал подзатыльников, но насмешек он вынес довольно, научился и сам огрызаться. Само учение началось лишь через год – другим приходилось ждать еще дольше, но для Сандро было сделано исключение. Теперь его учили обращаться с инструментами, но главным было рисование. Рисунок, говорил Антонио, есть альфа и омега всего; невелика цена архитектору или скульптору, если он не может изобразить задуманного на бумаге. Золотых дел мастеру рисунок необходим не меньше. То, что Сандро рисовал до сих пор, ему следует забыть и начать все заново.

Это был кропотливый труд – проводить ровные линии так, чтобы они находились на равном расстоянии друг от друга, чертить окружности без циркуля, увеличивать и уменьшать фигуры в определенных пропорциях, рисовать завитки и прочие загогулины. Но Сандро выполнял все эти упражнения с куда большей охотой, чем работу с металлом. Там у него дело не клеилось. Антонио докапывался до причин, но определить их никак не мог. Может быть, слабоваты руки? У мастера они должны быть жилистыми, ухватистыми. А у нового ученика не пальцы, а какие-то подушечки, которые и резца-то как следует не удержат. Сколько потешались над ним и хозяин, и другие ученики!

Но больше всего Антонио раздражала медлительность его нового подопечного. Стоило отправить его с каким-нибудь пустяковым поручением, как он пропадал на целые часы, а то и на весь день. Не раз он приводил хозяйку в неописуемый гнев, когда она не могла дождаться его с рынка или из лавки, до которой всего-то шагов десять. Секрет этих долгих отлучек ученики скоро раскрыли: Сандро пропадал в церквях. Нет, он не молился и не слушал проповеди – просто стоял перед алтарями и фресками и глазел на них. У него появилась мечта нарисовать Мадонну – раз это могут другие, почему не удастся ему? Ведь есть же поговорка, которую часто повторяет отец, когда наставляет на путь истинный: флорентийцы ни перед чем рогов не опускают! Ученики сразу же сообщили об этой странности своего товарища мастеру, ибо хорошо знали о его отношении к Сандро. Так уж ведется: кого недолюбливает хозяин, того клюют слуги.

Новость переполнила чашу терпения Антонио. Он отправился

к Филипепи и со всей откровенностью сказал, чтобы тот не тратил понапрасну своих денег. Совесть не позволит ему обирать кума: никакого золотых дел мастера из Сандро не выйдет, да и вряд ли из такого лодыря может получиться что-либо путное. Для Мариано это был удар в самое сердце. Так опозориться на всю Флоренцию! Теперь все будут показывать на него пальцем: не воспитал у сына трудолюбия, а еще других берется обучать ремеслу!

Опять собрался семейный совет. Что же делать? Потеряно целых два года, Сандро уже шестнадцать; в эти годы некоторые уже ученичество заканчивают, переходят в подмастерья, и не за них платят, а они сами помогают семье. На сей раз Сандро, наконец, открыл рот и высказал свое желание: он хочет быть живописцем, причем учиться будет только у фра Филиппо Липпи. Валаамова ослица вдруг заговорила, но сказала такую глупость, что всех повергла в изумление. Юнец поистине родился под несчастливой звездой – может, действительно прав ювелир, что он бездельник и лодырь? Учиться живописи! Это же сколько времени придется ждать? В последнее время здоровье Филипепи сильно пошатнулось, и он надеялся, что ему удастся пристроить Сандро хоть к какому-нибудь делу. А теперь ему, видно, не дожить до того времени, когда сын встанет на ноги.

Учиться живописи начинают с семи – девяти лет. У этих живописцев все не как у людей – они считают, что, для того чтобы освоить их драгоценное ремесло, нужно учиться не три – пять, как в других профессиях, а целых тринадцать лет! Он не с потолка это взял – собственными ушами слышал от художников из компании святого Луки. Сейчас Сандро пятнадцать лет. Лишь в двадцать восемь он сможет стать мастером, а до этого ему придется быть на побегушках у других. Нет, не дождаться отцу, когда сын достигнет этого звания! Да и возьмется ли кто из известных художников обучать такого переростка? Нет, пятидесяти дукатов в год за его учебу, одежду, еду и спальное место у мастера ему не жалко. Он их найдет – был бы толк. Но вот в этом-то после разговора с ювелиром Мариано уже сомневался. Только после долгих раздумий он решился предпринять последнюю попытку.

Согласие Филипепи отнюдь не означало, что он изменил свое прежнее мнение о живописцах. Несмотря на то что работы у них во Флоренции хватает, живут они бедно. Два года назад, когда Мариано вместе с живописцем Андреа Верроккьо заполнял в магистрате декларацию о налогах, тот сказал ему, что в своей мастерской он не зарабатывает даже на приличные штаны. Художников, что могут безбедно прожить на заработки, во

Флоренции можно по пальцам пересчитать. Остальная мелкота даже мастерской снять не может. Объединяются по пять – семь человек, чтобы наскрести денег на помещение, грызут друг друга, словно волки, за мало-мальски выгодный заказ. Разве это дело? Но попробуй объясни все это Сандро – он знай стоит на своем. Господи, за что же такое наказание?

Еще больше, чем бедность живописцев, Филипепи беспокоит их безбожие. То, что они выполняют заказы для церквей и монастырей, ни о чем не говорит. Посмотрите на их алтари – никакой святости. Почти каждый норовит уместить на свои картины побольше изображений богачей и меценатов. Это у них называется «приблизиться к натуре». Какая там натура, просто рассчитывают на благодарность своих покровителей. А верующему человеку что делать? Теперь уж не поймешь, кому молишься в церкви: Богородице или супруге купца Пьетро с соседней улицы. Ладно, раз святые отцы такое безобразие приемлют, то Бог с ним, хотя это и непорядок. А вот с другим примириться никак нельзя: чересчур уж флорентийские живописцы стали увлекаться разными там древностями.

Началось все с архитекторов: при попустительстве Козимо они, словно одержимые, бросились рыскать по руинам в поисках каких-то идеальных пропорций. Потом эта чума заразила и живописцев. Только и слышишь: ах, какая грация в этих греческих статуях! Ах, как это изящно! Еще недавно никакой грации в помине не было, слова такого не знали, а теперь его слышишь на каждом углу. Раньше, если землепашец находил на своем поле мраморного или бронзового идола, то он знал, как с ним нужно поступать: мрамор в яму для обжига извести, бронзу – в тигель. Огонь все очистит. А сейчас? Крестьянин сломя голову несется в город и ищет покупателя, зная, что за такого идола ему дадут большие деньги. Потом вокруг такой находки собираются «знатоки», и опять только и слышно: о, красота! о, грация! Ну ладно, пускай красота. Но Мариано с детства усвоил: все красивое – это западня, приманка дьявола, соблазн и искушение. Плохо придется Сандро, если и он попадет в эту компанию почитателей грации. А ведь это вполне возможно: нравы во Флоренции портятся с каждым днем. Заветы стариков ни во что не ставят.

И потом – надо же додуматься идти в обучение к фра Филиппо! Уже одна мысль о том, что ему придется обратиться к этому человеку с просьбой принять в обучение его сына, приводила Мариано в уныние. У добропорядочных флорентийцев Филиппо Липпи пользовался дурной славой, и их особенно удивляло то, что Козимо покровительствует этому художнику. В

городе были известны слова, которые сказал старый Медичи в ответ на упреки, что он защищает этого бывшего монаха: «Фра Филиппо и ему подобные – редкие и высокие таланты, вдохновленные свыше, а не вьючные ослы». Пойди поспорь против этого! Слов нет, конечно, Липпи стоит в ряду первых живописцев Флоренции, но его образ жизни в понимании таких приверженцев старины, как Мариано, оставляет желать лучшего. Возможно, что в рассказах о его любовных похождениях много преувеличений. Но все-таки правдой, как ни верти, остается то, что он любвеобилен сверх меры. Даже спустя десятилетия о его победах над прекрасным полом рассказывали такие истории, перед которыми меркли повествования Боккаччо. Новеллист Маттео Банделло, например, писал следующее: «Художник был выше всякой меры сластолюбив и большой охотник до женщин. Если он встречал женщину, которая ему нравилась, он не останавливался ни перед чем, чтобы овладеть ею. Когда на него находила такая блажь, он или совсем не рисовал, или рисовал очень мало. Однажды фра Филиппо писал картину для Козимо Медичи, которую тот собирался преподнести папе Евгению IV. Козимо заметил, что художник частенько бросает работу и пропадает у женщин, и он велел привести его домой и запереть в большой комнате, чтобы он попусту не тратил времени. Но тот с трудом просидел три дня, а ночью взял ножницы, нарезал из простыни полосы и таким образом вылез из окна, проведя несколько дней в свое удовольствие».

Но даже не это было главным, что смущало Филипе пи. В его глазах истинного католика бывший монах фра Филиппо был и оставался богоотступником. Дело в том, что, находясь в городке Прато, где он вместе со своим учеником фра Диаманте расписывал местный собор, Филиппо соблазнил молодую монахиню Лукрецию Бути, которую святые отцы предоставили в его распоряжение, чтобы он написал с нее Деву Марию. В одно прекрасное утро в Прато не обнаружили ни фра Филиппо, ни монахини – они бежали во Флоренцию. Назревал невиданный скандал. Дело нельзя было замять, так как в него вмешались родственники Лукреции, требовавшие самых суровых мер. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Козимо не добился от папы Пия II освобождения фра Филиппо и его монашки от данного ими обета. Они поженились, и в 1457 году у них родился сын, которого назвали Филиппино.

Несмотря на благополучный исход всей этой авантюры, в глазах верующих фра Филиппо так и не восстановил своей репутации. Он был отнесен к числу тех людей, от общения с которыми обыватели предпочитали воздерживаться. И Филипепи

в числе многих считал, что именно такие, с позволения сказать, священнослужители подрывают устои церкви и превращают ее слуг в посмешище. Недаром ведь авторитет церкви пал так низко, что дальше некуда – над ней открыто издеваются не только модные литераторы вроде того же Боккаччо, но и бродячие комедианты. Поведение таких монахов достойно самого сурового осуждения. Да и чего еще можно ожидать, если многие во Флоренции сбиты с толку рассуждениями о свободе! Не то было раньше, когда свято соблюдались традиции отцов, когда боялись греха и дорожили добродетелями. В том мире, в котором жил Мариано, пока еще не растеряли прежних моральных принципов. И как только могла прийти Сандро такая сумасбродная мысль? Мариано, как мог, оберегал сына от соприкосновения с этим развратным миром, и имеет ли он теперь право собственными руками толкать его в ловушку, расставленную дьяволом?

Между тем мысль учиться именно у фра Филиппо пришла Сандро в голову совсем недавно и совершенно случайно. Выполняя поручение своего мастера, ему пришлось посетить монастырь Мурате – «замурованных монахинь». Не торопясь возвращаться в опостылевшую мастерскую, он стал рассматривать картины. Вот тогда-то он и увидел Мадонну, поразившую его необыкновенной красотой. От нее словно струилось тепло, согревающее его. Этого он не мог объяснить: в картине было много голубой и белой краски, а из разговоров с художниками он уже знал, что это холодные цвета. Он так погрузился в разгадку непонятного для него явления, что не заметил, как к нему подошла послушница, которая будто догадалась, над чем он задумался, и объяснила, что эту картину написал великий фра Филиппо. Бог вдохновил его, и прекраснее этого алтаря нет во всей Флоренции. Видимо, за высокие монастырские стены еще не дошли слухи о развратном образе жизни бывшего монаха. Как пылко повествовала она о том, что в эту картину художник вложил всю свою душу! Вот тогда-то у Сандро окончательно окрепло желание стать живописцем, чтобы и о нем говорили так же восторженно, как о фра Филиппо. И его учителем мог быть только этот художник – он как будто дал этот обет перед его картиной, и теперь уже ничто не могло свернуть его с избранного пути.

Согласившись в душе с желанием сына – ведь надо его хоть как-то пристроить, – Мариано продолжал колебаться относительно наставника, которого он избрал себе. Ладно, пусть себе рисует Мадонн и расписывает лари и сундуки, пусть прозябает в бедности, но выберет себе другого учителя. Нога его не ступит в мастерскую этого богоотступника! Но Сандро

настаивал на своем… В конце концов скрепя сердце Филипепи отправился к Липпи, питая в душе надежду, что тот откажется принять в свою мастерскую нового ученика. А может, он и вовсе уехал из города и ко времени его возвращения желание Сандро изменится. Несмотря на конфликт из-за Лукреции, Липпи все-таки продолжал работу над фресками в соборе Прато. Другой мастер не смог бы завершить их, поэтому декан капитула сменил гнев на милость и вызвал фра Филиппо из Флоренции, обещая забыть прошлые «недоразумения». Но забыть их он так и не смог. Вновь и вновь между ним и художником возникали разногласия, Липпи складывал свои кисти и краски на повозку и возвращался в родной город до следующего приглашения декана.

Надежды Филипепи не оправдались: Липпи снова был в ссоре с деканом, сидел в своей мастерской и писал очередную Мадонну. Он был в благодушном настроении и не заставил себя уговаривать: да, он берет Сандро в ученики. Плата за обучение вперед, жить парень будет у него, как это и положено, и вместе с ним будет выполнять заказы вне города. Ему непонятно желание уважаемого Мариано, чтобы его сын не покидал Флоренции. Где же он тогда научится писать фрески? У него, Филиппо, таких заказов во Флоренции нет и не предвидится. И здесь Мариано не повезло – он хотел, чтобы Сандро все-таки оставался под его присмотром. Бог явно был не на его стороне!

Глава вторая
В мастерской фра Филиппо

Так Сандро в 1462 году стал учеником Филиппо Липпи. Ему предстояло оставаться в этом звании тринадцать, в лучшем случае десять лет, и быть даровой рабочей силой, которая должна выполнять любое задание мастера. Если Липпи будет в точности придерживаться правил, Сандро придется долго ждать часа, когда ему будет разрешено писать картины, которые будут считаться принадлежащими ему, а не его учителю. Правила предписывали: обучение следует начинать с освоения рисунка. Для этого у каждого порядочного живописца всегда был под рукой набор всевозможных рисунков – в основном собственных, но многие не гнушались и чужими. Их ученик должен был усердно копировать, пока не достигалось наибольшее сходство. На это иногда уходили годы. В течение семи первых лет ученик должен был научиться готовить краски, варить клей, составлять лаки, замешивать штукатурку для фресок и накладывать грунт на доски – то есть постигнуть все хитрости живописного ремесла, которые были известны его мастеру. К серьезной работе его не допускали. Если что он и мог делать, так это грунтовать холсты, разрисовывать древки штандартов – ну, может быть, если мастер не был чересчур строг, расписать одеяние какой-нибудь второстепенной фигуры на картине.

Настоящая учеба начиналась лишь на восьмой год. Тогда юношу учили писать фигуры и передавать движение с помощью расположения складок на одеждах, соответствующих поз и жестов. И здесь он во всем должен был слепо следовать манере мастера. Свободы поиска у него не было – он обретал ее лишь тогда, когда сам становился мастером. Но это удавалось немногим. Большинство до конца своей жизни так и не могли преодолеть тех навыков, которые им привили в годы ученичества. Это были именно те живописцы, бедственным положением которых Филипепи пугал своего сына.

Сандро повезло в том смысле, что Липпи ни в грош не ставил все эти правила. У него были свои взгляды на обучение – недаром же его ученик Диаманте вместе с ним расписывал фрески в Прато. Очень скоро фра Филиппо убедился в том, что его новый ученик отлично владеет линией. Во флорентийской живописи такое умение ценилось весьма высоко. Четкость контура – таково было основное требование. К великому изумлению Липпи, Сандро проявил в этом мастерство, недоступное многим зрелым

художникам. И учить его здесь чему-либо было бы пустой тратой времени. Липпи только сообщил, что есть и другой метод, когда нужный эффект достигается не посредством рисунка, а с помощью умелого сочетания красок – предположение, высказанное великим Мазаччо, но не проверенное им на практике.

После этого фра Филиппо сразу же перешел к другим этапам обучения. С каждым днем он все больше проникался уважением к своему ученику: недаром говорили, что он схватывает все на лету. Фра Филиппо как-то сразу уверовал в то, в чем сомневался Мариано: из Сандро получится незаурядный художник, и это случится гораздо раньше, чем закончится срок его ученичества. Сандро стал его любимцем. Если уж так хочет его отец, пускай он живет дома, но в Прато все-таки поедет вместе с ним. Здесь Липпи оставался непреклонным.

Став почти что членом семьи Липпи, Сандро очень скоро убедился, что далеко не все слухи и сплетни о ней, что ходили по Флоренции, соответствуют действительности. Изменился ли сам Липпи или же это превращение стало следствием пожилого возраста, но бывший герой-любовник остепенился, и ничего предосудительного в его поведении Сандро не заметил. В то время фра Филиппо было уже пятьдесят три года – он родился в 1406 году или, как говорил сам, «в те благодатные дни, когда Флоренция вышла наконец к морю». Как и всякий истинный флорентиец, Липпи радовался, когда случались события, приносившие городу величие и богатство. Временами казалось, что и творит он ради того, чтобы приумножить величие Флоренции и ее живописцев. Он со смехом рассказывал о том, что астрологи напророчили ему счастье и славу. Ну, славы он, положим, достиг, но вот в том, что он счастлив, всегда сомневался. Сомнения эти казались странными для Сандро. Чего человеку не хватает? Лукреция чуть ли не молилась на него, и он любил ее так же нежно. Во многих Мадоннах, написанных Липпи, Сандро узнавал черты его супруги, а младенец Христос, без сомнения, был списан с Филиппино. Может быть, именно поэтому фра Филиппо с большим искусством, чем другим живописцам, передавал и радость материнства, и ту нежность, которая связывает мать и ребенка. Сколько ему ни пытались подражать, но никому не удавалось передать это чувство.

Но, как убедился вскоре Сандро, у Липпи все же были причины жаловаться на свою судьбу. Будь он постарше, он бы многое понял и в поведении учителя, ставшего во Флоренции притчей во языцех. Лишь после многих рассказов мастера и людей, хорошо знавших его, Сандро узнал о фра Филиппо правду.

Будущий живописец родился в семье зажиточного мясника, и ничто не предвещало тех испытаний, которые выпали на его долю впоследствии. Когда ему исполнилось восемь лет, умер отец, а мачеха, чтобы избавиться от лишнего рта, отдала его в монастырь кармелитов. Это был лучший способ решать все проблемы. В монастырь отдавали тех, от кого хотели избавиться или же избавить от грозящей нужды. Отдавали девушек, если не могли дать за ними приданое, и юношей, чтобы не дробить нажитое семейное добро. Когда Филиппо заточили в монастырь, ему показалось, что жизнь его кончилась. Он не мог смириться с потерей свободы, и если у него и оставались какие-либо желания, то это была мечта вырваться за пределы ненавистных стен. Тогда-то у него и родились жажда свободы, которая не угасала всю жизнь, и понимание того, что нельзя ограничивать свободу других. Но в то время ему пришлось смириться – ведь выхода все равно не было.

В пятнадцать лет, по истечении срока послушничества, он был пострижен в монахи, получил право называться «фра», что значит «брат», и потерял право на какие-либо мирские радости. Оставалось одно увлечение – живопись, которая скрашивала ему жизнь. В монастыре занятие ею не возбранялось и даже поощрялось – какая обитель со времен фра Анджелико не стремилась обзавестись собственным живописцем? Фра Филиппо хвалили за его мастерство, хотя он ни у кого не учился, а до всего доходил собственным умом. И тогда его посетила гордыня – самый страшный из грехов, который уступает лишь корыстолюбию. Так рассказывал сам Липпи, но в его рассказе и до сих пор звучала гордость. Но, видимо, продолжал Липпи, Господь не желал его превращения в грешника и дал ему урок, который он запомнил на всю жизнь.

В один прекрасный день в монастыре появились – нет, не ангелы Господни, а два художника: Мазолино и Мазаччо. Они получили заказ расписать одну из капелл фресками, повествующими о событиях, описанных в книге «Исход», и о жизни апостола Петра. Заказчик, видимо, был очень богат, иначе никогда в жизни ему, Липпи, не удалось бы увидеть сразу двух великих мастеров. Теперь фра Филиппо считает, что лишь по милости Божьей его отрядили помогать этим живописцам, а тогда он воспринял приказ декана как великое унижение: его поставили в положение ученика, растирающего краски и подающего кисти заезжим мастерам. Он знал, что ему надлежит смириться, но все его существо восставало против этого. Волю Господню он распознал много позже.

Его удивило то, что мастера почти не разговаривают друг с

другом. Сначала он думал, что они боятся разглашать перед посторонним тайны своего мастерства, но очень скоро понял, что здесь кроются совершенно иные причины: Мазолино завидовал Мазаччо! Все беды на свете – в этом Липпи был твердо уверен – происходят от зависти. На сей раз ученик обогнал в мастерстве учителя, и Мазолино болезненно переживал это. Тогда он подумал, что рано или поздно они должны будут расстаться. Так и случилось после того, как были закончены фрески «Грехопадение» и «Исцеление хромого». Мазолино внезапно прекратил работу в Санта-Марии дель Кармине и отправился искать счастья в Венгрию. По слухам, он очень скоро стал там придворным живописцем.

Мазаччо оставался в монастыре еще два года. Узнав, что Липпи тоже художник, он взялся учить его. На глазах у молодого монаха рождалось чудо, и ему казалось, что он всего лишь ничтожный червь в сравнении с таким мастером. Сколько бессонных ночей провел он в своей келье, моля Бога о прощении за свою непомерную гордыню и выпрашивая у него милости стать таким же живописцем, как Мазаччо! Всю свою оставшуюся жизнь он был готов прислуживать этому первому художнику Италии. Но его желанию не суждено было сбыться. В 1428 году Мазаччо отправился в Рим, чтобы повидать там вернувшегося из Венгрии Мазолино и вымолить у него прощение. За что? Этого Липпи не знал. Во Флоренцию его учитель так и не вернулся – он умер в Риме двадцати семи лет от роду. Липпи был твердо убежден в том, что его отравили, убили из зависти, будь она проклята! Переубедить фра Филиппо в этом его мнении было невозможно.

Несколько раз Сандро посещал с учителем эту капеллу, откуда начал свой путь первый живописец Флоренции Липпи. И каждый раз фра Филиппо опускался на колени перед фресками Мазаччо. Он молчал – то ли молился, то ли вспоминал свою юность. Однажды Сандро заметил, как по щекам учителя катятся слезы. Как сказал ему однажды Липпи, он почти каждый день после отъезда Мазаччо в Рим приходил в эту капеллу и молил Бога о его скором возвращении, но тот так и не вернулся. Когда стало известно о его таинственной скоропостижной смерти, декан предложил его молодому ученику завершить фрески. Но на такое кощунство у Филиппо не поднялась рука. Взамен он предложил написать фреску «Подтверждение статута ордена кармелитов». Сандро видел и ее – она ни в чем не уступала фрескам Мазаччо. Да, ответил Липпи, так считали многие. После ее завершения ему вновь предложили закончить работу его учителя, но он и на этот раз отказался. Только великий наглец или великий мастер сможет дерзнуть на это.

Еще несколько лет после этого он оставался в монастыре, писал Мадонн и изрядно обогатил казну своей обители, ибо его работы покупали охотно и платили не скупясь. За эти заслуги его возвели в сан дьякона. Он поблагодарил и тут же испросил разрешение покинуть монастырь, чтобы посмотреть свет и поучиться у других мастеров. Ему отказали. Может быть, он и до сих пор оставался бы за монастырскими стенами, если бы не помог случай. Посол венецианского дожа увидел его фрески и его Мадонн. Дож обратился с просьбой к Синьории направить фра Филиппо в Венецию. В те времена Флоренция искала примирения со своим извечным конкурентом и не посмела отказать. К тому же Синьории хотелось утереть нос «владычице морей» хотя бы мастерством своих живописцев.

В родной город фра Филиппо возвратился лишь в 1437 году после многих невероятных приключений. О них Сандро знал из рассказов старших, но что в них было правдой, а что ложью, определить не мог. Сам Липпи пока ничего об этом не рассказывал. Фра Филиппо действительно был великим художником. Недаром во Флоренции считали, что он соединил в своих картинах небесно-нежную красоту фра Анджелико, строгие линии Мазаччо и объемную телесность Донателло. Можно было подумать, что Липпи подражает им, но это было далеко не так. Фра Филиппо выработал собственный стиль или манеру, как тогда было принято говорить. Ценя свободу личной жизни, он и в своем творчестве не стремился следовать никаким образцам, ничьим канонам. Главным для него было передать красоту человека, а как это будет достигнуто, для него не имело никакого значения, хотя он в совершенстве владел всеми тайнами живописи – старой и новой. Он спокойно мог пренебречь перспективой, перегородив свою картину каменной стеной, лишающей ее глубины, только потому, что ему пришла в голову мысль отработать какое-то новое хитросплетение линий и контуров. В моду входил фон с изображением ландшафта, и здесь Липпи достиг большого мастерства, но все-таки предпочитал всем этим деревьям, кустам и беседкам четкие линии величавых строений, большей частью порожденных его фантазией и вряд ли могущих существовать на самом деле. Сандро очень быстро усвоил основное правило, которого придерживался Липпи: художник должен быть свободен в выборе манеры и изобразительных средств для воплощения своей цели.

Ремесло живописца Сандро постигал на удивление легко и быстро. Фра Филиппо оказался на редкость талантливым учителем. В отличие от большинства живописцев он не считал, что ученик должен слепо копировать творения мастера. Много ли

приобретет Флоренция, если получит второго Липпи? И разве стал бы Мазаччо великим, если бы ни на шаг не отходил от манеры прежних мастеров? Каждый живописец должен быть готов к тому, чтобы стать основоположником собственной школы. Так говорил Липпи. Ограничивать фантазию Сандро он не собирался – ученик должен идти собственным путем, только тогда из него выйдет толк.

Он учил его другому: как располагать складки на одеждах изображаемых фигур, чтобы передать объем или движение, как правильно сочетать краски, какие основные правила существуют для передачи перспективы, столь ценимой флорентийскими художниками, что такое правильные пропорции. И это было далеко не все, что нужно было знать живописцу. Картина, конечно, должна радовать глаз, но не в этом ее главное предназначение – она заставляет смотрящего на нее задумываться. Для этого существуют различные символы и особые приемы. Взять, например, Мадонну. Если художник хочет изобразить ее как владычицу неба, то ее нужно одеть в красное платье и голубой плащ. Если же необходимо подчеркнуть ее девственность, то живописец рисует ее в белых одеждах. В том же белом одеянии, только с золотом, Дева Мария должна быть при короновании. И еще одна важная деталь: согласно легендам, Мария уже при рождении Христа знала его судьбу, и это должно быть отражено на ее изображениях – рядом с ними часто помещаются символы распятия. Художник здесь волен проявить свою фантазию; главное, чтобы эти символы были понятны даже непосвященному.

То же самое относится и к изображениям святых. Зритель должен сразу видеть, кто перед ним: святой Георгий изображается непременно с драконом, святой Себастьян – со стрелами, Эразм – с воротом, которым из него вытягивали кишки, Варвара – с башней, куда ее заключили, Иероним – со львом, который прислуживал ему в пустыне. Все это художник должен знать как «Отче наш», хотя в последнее время понаизобретали таких символов, что сами художники их не понимают. Если у живописца выдастся свободная минута, он должен читать или беседовать со знающими людьми. А то сейчас не только неграмотные священники появились, но и неграмотные живописцы. Так дело не пойдет!

Липпи считал, что картина не хуже священных книг должна поучать и наставлять в вопросах веры. Библию живописец обязан знать лучше епископа – правда, епископы сейчас пошли такие, что и молитв толком не помнят, но не об этом речь. Многие заказчики стремятся увековечить свои деяния, но пока еще

испытывают страх перед таким грехом, как гордыня, поэтому для выполнения их желания нужно подобрать соответствующий сюжет из Библии. Тут главное – не ошибиться, не попасть впросак. Уже не раз дело кончалось большим скандалом, и некоторые живописцы серьезно пострадали, ибо по своей темноте избрали не тот сюжет, что нужно, а доказать свою правоту не могли по незнанию. Липпи хорошо – он бывший монах и во всей этой символике и иносказаниях чувствует себя как рыба в воде.

Но и это еще не все, что обязан знать живописец. Верхом совершенства считается, если он знает, какой сюжет Ветхого Завета имеет параллель в Новом. С этим справляются лишь единицы. Чтобы не быть обвиненным в ереси, лучше не полагаться на себя, а обращаться к опытным теологам. С удивлением Сандро узнал, что в первой части Библии содержатся совершенно прозрачные намеки на то, о чем рассказывается во второй. Подвиг Юдифи, убившей полководца Олоферна и освободившей свой народ от грозящего истребления – это, оказывается, намек на Деву Марию, родившую Христа ради спасения человечества. Вот почему сейчас многие заказывают картины с этим сюжетом. Разве такое осилишь – здесь нужны годы и годы! А знать все это надо – ведь церковь остается главным заказчиком. Выслушивая все эти поучения учителя, Сандро приходил в отчаяние: нет, не стать ему знаменитым живописцем! Разве все это запомнишь? Он думал, что знает и Библию, и жития святых, а на деле выходит, что ничего-то толком не постиг.

Высшим видом искусства фра Филиппо, как и многие другие флорентийские живописцы, считал фрески. Какой радостью загорались его глаза, когда капитул собора в Прато менял гнев на милость и присылал во Флоренцию послушника с предложением, чтобы Липпи не гневил Господа и закончил, наконец, свою работу! Фра Филиппо горячился, перечислял нанесенные ему обиды, выдвигал условия и требовал гарантий. Посланец же, смиренно склонив голову, говорил, что ему поручено сказать только то, что он сказал. Об остальном же он ничего не ведает. День-другой Липпи ходил будто бы в раздумье, но Диаманте знал, что он обязательно поедет, бросив все. Так бывало уже не раз.

Потом художник начинал готовиться к отъезду. Упаковывались картоны, срочно закупались краски, обновлялся запас кистей, ибо не дай бог, если во время работы у Липпи под рукой не окажется исправного инструмента! Все это вместе со ступками, кастрюлями, сковородками, одеялами грузилось на повозку, и рано утром они трогались в путь. Фра Филиппо

неизменно отказывался от лошадей – он предпочитал всю дорогу шагать за повозкой и долго молчать, обдумывая свои новые замыслы. Так иногда продолжалось час или два, потом Липпи удовлетворенно хмыкал, и это означало, что сейчас он начнет беседу. Как много такие беседы дали Сандро! Мастер делился своим немалым опытом, посвящал учеников в тайны ремесла, на примере своих коллег предостерегал от возможных ошибок. Вспоминал Мазаччо и его уроки, а иногда под настроение рассказывал о занятных случаях из своей жизни. Знал фра Филиппо много. Хотя Сандро весьма редко видел учителя с трактатами о живописи или архитектуре – а их за последнее время появилось великое множество, – он рассказывал о их содержании столь подробно, как будто бы самым тщательным образом изучил их.

В одной из таких поездок Сандро, наконец, услышал из уст Липпи историю о том, что произошло в те далекие времена, когда он возвращался из Венеции во Флоренцию. Эту историю Банделло изложил следующим образом, слегка приукрасив детали, но на то он и писатель: «Как-то Филиппо был в Марке Анконской и отправился со своими друзьями покататься на лодке по морю. Внезапно появились галеры Абдул Маумена, великого берберийского корсара того времени, и наш добрый фра Филиппо вместе со своими друзьями был захвачен в плен, закован в цепи и отвезен в Бербер иго, где в тяжелом положении находились они года полтора, и Филиппо пришлось держать в руке вместо кисти весло. Но как-то раз, когда из-за непогоды нельзя было выйти в море, его заставили рыть и разрыхлять землю в саду. Нередко приходилось ему видеть там Абдул Маумена, своего господина, и вот однажды пришла ему фантазия нарисовать его на стене в мавританской одежде, и это ему удалось так хорошо, что тот вышел совсем как живой. Всем маврам это показалось каким-то чудом, потому что в этих краях не принято ни рисовать, ни писать красками. Тогда корсар велел освободить художника и стал обращаться с ним как с другом, а из почтения к нему поступил так же с другими пленниками. Много еще написал красками прекрасных картин фра Филиппо для своего господина, который из уважения к его таланту одарил его всякими вещами, в том числе и серебряными вазами, и приказал доставить его вместе с его земляками целыми и невредимыми в Неаполь».

Прибыв в Прато, Липпи сразу же отправлялся в собор и подолгу рассматривал то, что было сделано им раньше. Этот осмотр оканчивался по-разному. Если мастер выходил из собора молча, значит, все было в порядке, если же он что-то бормотал себе под нос, то наутро Диаманте готовил зубило и молоток. И он

почти никогда не ошибался – к ужасу декана, Липпи приказывал сбить какую-нибудь из ранее написанных фресок, чтобы переписать ее заново. И вот тогда начиналось! Декан и сопровождавшие его священники хватались за голову: зная характер Липпи, они отнюдь не были уверены, что он восстановит уже написанное. Гипс летел во все стороны, пыль поднималась столбом. Фра Филиппо казалось, что работа продвигается медленно, и тогда на помощников градом сыпались отборные проклятия. И это в святом месте, где хранилась величайшая святыня Тосканы – пояс Девы Марии! Согласно легенде, неверующий Фома усомнился и в том, что Мадонна вознеслась на небо; тогда-то в доказательство этого события к его ногам и упал этот пояс. Но фра Филиппо, когда он свирепел, не было дела ни до чего, в том числе и до святынь. Декан, чтобы не слышать словоизлияний Липпи, покидал его. Спорить с живописцем было опасно – того и гляди, опять свернет работу и отправится во Флоренцию.

Придя в себя, мастер объяснял свою вспыльчивость тем, что не может поступить иначе. Работать нужно со всем тщанием, чтобы не было стыдно перед потомками. Ведь фрески вечны, как вечны и сами соборы. Походило на то, что и Липпи, этот страстный обличитель гордыни, не избежал общего поветрия. В последнее время во Флоренции, видимо, под влиянием греческих философов, пригретых Козимо, слишком уж часто стали задумываться над тем, какая слава останется от человека после его смерти. Такого раньше не бывало. Фра Филиппо трудился над своими фресками как одержимый, словно это была его последняя работа. Но потом снова вступал в споры с деканом, которые обычно кончались одним и тем же: все снова укладывалось на повозку и они возвращались во Флоренцию – ждать нового примирения.

С каждым годом обучения у Липпи Сандро убеждался в том, что художнику недостаточно знать лишь свое ремесло. Если во Флоренции говорили, что именно с них, живописцев, началось то изменение нравов и взглядов, которым столь недовольны приверженцы старины, то в этом заключалась изрядная доля истины. Философы из Византии явились позже. Над изменением существующего первыми задумались художники – с них начался отказ от прежних устоявшихся догм, и они первыми пустились в экспериментаторство, подвергая все сомнению. Фра Филиппо, вспоминая времена своей молодости, не раз говорил Сандро о том, что Гиберти, воспитавший не одного скульптора и живописца, требовал от своих учеников, чтобы они знали грамматику, арифметику, геометрию, астрономию, историю,

медицину, анатомию. Все это пригодится, все нужно.

Сам Липпи, конечно, таких знаний дать не мог, но заставлял Сандро, Диаманте и других учеников постоянно читать, рисовать, наблюдать окружающий мир. Истинный художник должен иметь собственную библиотеку. Библия, конечно, не в счет, без нее живописец как без рук. Полезно также приобрести Данте, Боккаччо, жития Богородицы, святого Иеронима и святого Августина, а поскольку сейчас появилось много любителей старины, то неплохо бы обзавестись и «Декадами» Тита Ливия. Говорить легко, а вот осуществить трудно: книги стоят недешево, как могут купить их те, у кого и на мастерскую денег не хватает?

Сейчас, правда, стало немного полегче: лет двадцать тому назад немцы завезли в Италию книгопечатание. Но печатных книг мало, и приходится по-прежнему приобретать рукописи. Во Флоренции это сделать сравнительно легко: здесь есть мастерские, где работает по сотне и больше переписчиков. Но чаще приходится прислушиваться к мнению знающих людей, посещать проповеди, заводить знакомства среди монахов, у которых тоже можно узнать немало полезного. Можно, конечно, за умеренную мзду нанять какого-нибудь студента потолковее, чтобы он посвятил в тайны наук. Но и это не так-то легко, ибо студиозы считали ремесленников за людей второго сорта и не очень-то общались с ними. А как-то изворачиваться нужно: чем грамотнее становилось население Флоренции, тем разнообразнее были сюжеты картин, которые заказывались живописцам. Грешили горожане все больше, поэтому на всякий случай старались обеспечить себе покровительство не одного святого, а сразу многих. Поэтому настольной книгой живописцев стала «Золотая легенда» – средневековый сборник историй о деяниях святых.

Читал ее и Сандро, но гораздо больше ему давали беседы между живописцами, собиравшимися время от времени в мастерской Липпи. Его дом всегда был открыт для них – от кого же еще, как не от своих коллег, он мог услышать нелицеприятное мнение! Были и другие поводы, чтобы наносить визиты друг другу: обменяться опытом, услышать последние новости, а то и перехватить у приятеля какой-нибудь заказ – бывало и такое. В последнее время распространился обычай выставлять некоторые свои работы в мастерской сотоварища. Это давало возможность привлечь новых клиентов или продать картину. Ведь бывает, что манера одного мастера не нравится заказчику, а тут под рукой оказываются другие картины, которые, может быть, привлекут внимание. К этому частенько прибегали молодые живописцы, которые только еще начинали свой путь.

Что касается Липпи, то он неохотно брал в свою мастерскую чужие картины – не любил хвалить или порицать работы других, хотя для некоторых все-таки делал исключение. Сам фра Филиппо предпочитал относить свои картины в лавку Бартоломео Серральи. Там выставлялись не только полотна, которые он писал для себя. Иногда у заказчика не оказывалось денег, чтобы оплатить работу, или же он вдруг предъявлял претензии, что мастер не исполнил в точности его волю. В последнем случае можно было, конечно, пригласить представителей мастера и заказчика, которые бы и решили вместе, кто прав, а кто виноват. Но фра Филиппо считал ниже своего достоинства прибегать к такой процедуре и предпочитал лавку Серральи – покупатели на его картины всегда находились.

Однажды, когда Сандро выполнял его поручение и принес к Серральи пару залежавшихся картин Липпи, он встретил в лавке хорошо одетого пожилого человека, который беседовал с хозяином. Тот объяснял ему сюжет какой-то картины, и поскольку Сандро уже поднаторел в символике, он рискнул вставить несколько своих замечаний. Поскольку беседа велась на латыни, незнакомец заинтересовался учеником живописца, который здраво мыслит да еще и может излагать свои мысли на языке древних. Он поинтересовался, кто он таков, у кого обучается. Получив ответ, он сразу же покинул лавку. Это был Маттео Пальмьери, родственник Серральи и человек весьма богатый – с ним Сандро еще столкнется и с удивлением обнаружит, что Маттео запомнил его.

Много интересного услышал Сандро из бесед живописцев, собиравшихся у Липпи. Сюда приходили старые друзья художника и его ученики, ставшие самостоятельными мастерами. Являлись и мастера фресок, для которых был важен совет фра Филиппе Сандро не раз убеждался в правильности поговорки: сколько голов, столько и умов. Спорили жестоко, можно было подумать, что их больше увлекает теория, а не писание картин. И походило на то, что никто не доволен достигнутым, все чего-то ищут и все время спорят. Можно было предположить, что, согласившись с тем, что на картине все должно изображаться так, как в жизни, они наконец-то успокоятся и будут руководствоваться этим требованием, совершенствуя манеру письма. Но оказалось, что не так-то просто создать на плоской доске иллюзию жизни, к чему многие стремились, но предлагали различные пути. К тому же эта иллюзия, оказывается, нужна далеко не всем. Купцы и ремесленники предпочитали, чтобы для них писали картины, на которых бы все было, как в жизни… но только красивее. Аристократы же и те, кто стремился подражать

им, предпочитали картины, написанные в старинной манере – фигуры неестественно вытянуты, лица постные. По их мнению, такие картины, помещенные в доме или семейной капелле, создавали видимость благородной древности их рода. Другим нужны были яркие краски и сказочные сюжеты. И во всех случаях ссылались на то, что так пишут за Альпами, во Франции и Бургундии. И точное отображение жизни, и сказка – все идет оттуда, где художники якобы добились настоящего мастерства.

Вот и Козимо Медичи, когда стал расписывать капеллу в своем новом доме, пригласил не фра Филиппо, а Беноццо Гоццоли – его манера, оказывается, больше нравится хозяину Флоренции. Те, кто видел ее, говорили, что написанная им фреска, изображавшая шествие волхвов на поклонение младенцу Христу, больше походит на миниатюру из древней рукописи: краски яркие, так и режут глаз, портреты членов семейства Медичи изрядно приукрашены, и о реальной жизни в этой фреске ничего не напоминает. А все потому, что старый Козимо ничего не понимает в живописи. С него было достаточно того, что Гоццоли – ученик фра Анджелико, который остается для старика непререкаемым авторитетом. Известно же, что, когда Козимо предается благочестивым размышлениям, он удаляется в «свою» келью в монастыре Сан-Марко, расписанную фра Анджелико. Говорит, что эти фрески действуют на него успокаивающе. Выбором Козимо были недовольны не только Липпи, но и многие его коллеги. А может быть, причиной этого недовольства была всего лишь зависть? Ведь после росписи капеллы Медичи у Гоццоли отбоя не было от заказчиков.

Что же касается Сандро, то он, хоть и не был аристократом, все-таки стоял на стороне Гоццоли. И не только потому, что каждый живописец вправе писать, как ему нравится, но и потому, что ему самому больше нравится такая живопись. Ему по душе фигуры стройные или же, используя модное сейчас во Флоренции слово, грациозные. Некоторые мастера высказывают убеждение, что и безобразное можно изобразить так, что оно будет восприниматься как прекрасное. Но он твердо убежден, что толстый человек безобразен, и ничто его красивым не сделает. Все потешаются над его братом Джованни, который располнел до безобразия. Все уже забыли, что он Филипепи, и зовут его только Боттичелли – «бочонком». Сандро тоже начинают окликать этим прозвищем, и он с ужасом замечает, что действительно раздается в ширину – похоже, полнота в их роду дело наследственное. Теперь всем одеяниям он предпочитает плащ, скрывающий фигуру. Он завидует тем, у кого мускулистое, поджарое телосложение – это, по его мнению, действительно красиво.

Произведений Гоццоли он еще не видел – да и как их увидишь, ведь в дом Медичи он не вхож. Но по рассказам он уверен, что мастер, которому завидуют и при этом осуждают, действительно создал замечательную фреску.

Об этом он, конечно, вслух не говорит. Да никто и не интересуется его мнением – он всего лишь ученик и должен будто губка впитывать то, чему его учат многоопытные и мудрые мастера. Но не так легко разобраться, где же истина. Большинство гостей Липпи придерживаются мнения, что нечего потакать устаревшим вкусам аристократов, которых не так уж и много во Флоренции. Нужно в большей степени следовать натуре, изображать все так, как оно есть в действительности. Только в этом смысле можно поучиться у древних, а в остальном до всего нужно доходить собственным умом. Это и понятно – картин от римлян и греков не сохранилось, наставлений по живописи тоже. Одни скульптуры да надгробия, но этим пусть занимаются скульпторы. Приводится довод: раз природа создана Богом, то она прекрасна; изучая ее, можно понять божественный замысел.

Труды Леоне Баттисты Альберти по теории искусства читали почти все живописцы. Полезного в них, конечно, много – например призыв к познанию телесных пропорций. Но разве только они важны в живописи? У нее есть свои законы. Пропорциям придают чрезмерное значение те живописцы, которые получили знания от скульпторов – например Антонио Поллайоло, учившийся у Гиберти. От него только и можно услышать: живописец обязан знать анатомию. Об этом не устает твердить и его младший брат Пьетро – одногодок Сандро, эхом вторящий своему брату. Поговаривают, что они тайно режут трупы, чтобы понять строение человеческого тела. Сандро воспринимает это с ужасом. Не только потому, что это запрещено церковью – ибо куда же вернется душа в день Страшного суда? Перед его глазами вновь встают ободранные туши, которые ему в детстве показал на бойне отец, и уже от одного этого воспоминания становится не по себе. Липпи однажды сказал по этому поводу: самое прекрасное в человеке – это кожа. Сдери ее и, кроме крови, слизи и разной гадости, ничего не увидишь. И, пожалуй, учитель прав – разве нельзя понять строение человека по его внешнему виду?

И еще один ученик Гиберти иногда посещает мастерскую Липпи, но этот «сдвинулся» на другом – на перспективе. Это Паоло Уччелло, который старше их всех – он родился еще в прошлом веке. Позже его станут считать одним из основоположников флорентийской живописи, а сейчас воспринимают как чудаковатого старика. Он редко выходит из

дома, рисует мало, всем другим сюжетам предпочитая битвы. Сейчас, когда большинство живописцев стремятся к реальности, а многие из них и в самих битвах участвовали, они только пожимают плечами, глядя на его картины. Все в них неестественное; люди и кони походят на марионеток, которых дергают за ниточки. Может быть, он и добился своей цели, придал фигурам объемность, но иллюзии жизни в его творениях нет. Теперь он бьется над другой задачей: сидит у мольберта и размышляет о том, что такое перспектива. Как рассказывают, его несчастной жене с большим трудом удается оторвать супруга от этих размышлений, чтобы накормить его. Но и сидя перед тарелкой супа, он то и дело вскакивает из-за стола, носится по комнате и кому-то доказывает: «Это великая вещь – перспектива!» Но жена, конечно, не тот собеседник, который нужен Паоло. Вот поэтому он иногда и появляется в мастерских своих коллег. Спрашивать его мнение о картинах совершенно бесполезно. В голове у него была только одна перспектива, и о ней он мог говорить часами, не замечая, что во многом его коллеги уже опередили его: в светотени, в моделировании фигур да и в передаче той самой перспективы. Но слушать его было интересно и во многом поучительно, как всякого размышляющего над важными проблемами человека.

Как сожалел впоследствии Сандро, что в годы своего ученичества он не завел по примеру старших товарищей памятной книжки, в которую бы заносил самое полезное из услышанного! Он был молод и самоуверенно полагался на свою память – как потом оказалось, не столь уж блестящую. А ведь такие книжки он видел у многих живописцев, в том числе и у Липпи. Прочитать их, правда, непосвященному было невозможно, ибо писались они тайнописью, известной только хозяину. Каждый изобретал свой метод: или сдвигал на несколько порядков буквы алфавита, или же прибегал к крестикам и завитушкам – словом, у кого на что фантазии хватало. Эти книжки, как и наборы рисунков, передавались по наследству – сыну или племяннику, если они также избирали ремесло живописцев, или же любимому ученику, что нередко сопровождалось условием принять фамилию мастера.

Своим учеником Липпи мог быть доволен: уже за первые три года он постиг больше, чем другие усваивали за пять. У Сандро было то, что обычно называют даром Божьим. Он уже вполне освоил манеру фра Филиппо, и тот без всякой опаски привлекал его к изготовлению многочисленных Мадонн, которые он по тем или иным причинам не мог написать сам или просто не имел охоты работать над ними. Только знаток мог отличить работу

ученика от творения мастера. Даже Серральи иногда заблуждался, когда ему приносили на продажу Мадонн из мастерской Липпи. Впрочем, ему было важно лишь продать их, а не оценивать мастерство художников. Понемногу торговец богател, отправляя картины в другие города Италии и даже за Альпы. Серральи одним из первых распознал веяние времени – флорентийская живопись входила в моду.

Так Сандро достиг того, о чем когда-то мечтал – научился писать Мадонн. Он работал больше других, и вряд ли кто-либо мог теперь упрекнуть его в отсутствии усидчивости. Он постиг многие тайны живописи, но по-прежнему всем сюжетам предпочитал Мадонн, которых изображал с такой любовью и благоговением, словно это были портреты любимой. Неужели его не интересует ничто другое? Конечно, рисуя Мадонн, во Флоренции можно прожить: их любят помещать в семейных капеллах, и в богатых домах их изображения можно увидеть почти в каждой комнате. Мадонна явно потеснила святого Иоанна в качестве покровителя Флоренции. У нее просят заступничества и избавления от бед.

И все же Липпи удивлялся поведению своего ученика: похоже на то, что все забавы юности для него чужды. Женщин он сторонился, и этого фра Филиппо понять не мог. То ли он просто стеснялся, не зная, как к ним подойти, то ли поверил тому, что ему с детства вбивали в голову: женщина – это приманка Сатаны. Как бы там ни было, а для нынешней Флоренции его поведение было довольно странным. Вот кому пристало быть монахом, и Липпи недоумевает, почему эта мысль не приходит в голову Сандро.

Его упорство даже немного раздражает учителя. Напрасно говорят, что у Сандро покладистый характер – Липпи не раз убеждался, насколько его ученик упрям. Знает ведь все и о перспективе, и о пропорциях, но всякий раз норовит сделать по-своему. По его мнению, так красивее. Говорить с ним на эту тему – напрасно тратить время. Ответ один: разве он, Липпи, не учил его, что художник свободен в своем творчестве и в выборе средств? Что ж, так и есть. Филиппо и сам сейчас в поиске – вспомнил о раздумьях Мазаччо о роли красок в передаче объемности фигур и пытается проверить это на практике. У Сандро его опыты любопытства не вызывают. У него на этот счет собственное мнение: он приверженец четкой линии.

Впрочем, у Липпи сейчас собственных забот хватает и ему не до Сандро. Фрески в Прато он в конце концов завершил и теперь ищет новый заказ, чтобы он ни в чем не уступал исполненному, но таких заказов во Флоренции нет. Ко всему прочему, в 1464

году город вновь посетила чума. Здесь уже не до фресок; Мариано усердно молится святому Себастьяну, надеясь, что и на этот раз он отведет от родных «черную смерть». Город вновь охвачен великим страхом. Те, у кого есть возможность, покинули Флоренцию и живут в своих виллах, несмотря на то, что еще очень холодно и весна в свои права не вступила. Но на сей раз чума свирепствовала недолго – покатилась куда-то дальше. Как только все свободно вздохнули, разнесся новый тревожный слух: умирает Козимо Медичи.

Для Липпи это известие похуже, чем известие о чуме. Умрет Козимо – он лишится своего покровителя. Правда, в последние годы он старался пореже бывать в доме на виа Ларга. Причиной было то, что фра Филиппо, несмотря на все свои «шалости», все-таки оставался добрым католиком и всячески избегал компании, которая собиралась в доме Козимо, всех этих философов и беглых греков, которые, того и гляди, вовлекут в какую-нибудь ересь. Другим это, может быть, и сойдет с рук, а ему, снявшему с себя сутану, придется туго. На него и так все время показывали пальцем. Несмотря на все это, фра Филиппо был уверен, что всегда может рассчитывать на заступничество «Отца отечества»: он в обиду не даст, а если нужно, то и посодействует получить новый заказ или даст в долг денег до лучших времен, как это уже не раз бывало. Умрет Козимо, и никакое мастерство Липпи не поможет – его же собственные коллеги быстро сживут его со света с помощью дорогих сограждан. Если бы удалось найти заказ вне Флоренции, покинуть ее хотя бы ненадолго!

Не только фра Филиппо пребывал в беспокойстве: почти вся Флоренция была охвачена им. Смерть Козимо влекла с собой большие перемены. Каждое утро у дома Медичи собиралась толпа, чтобы узнать новости. Может быть, «Отцу отечества» стало лучше? Нет, изменений в лучшую сторону не наступало – Козимо все так же сидел в своем любимом кресле, закрыв глаза. Он почти не открывал их, говоря, что привыкает к той мгле, которая скоро окружит его. Болезнь пришла к нему еще в прошлом, 1463 году, когда умер его старший сын Джованни. С самого детства Козимо прочил его в свои преемники, упорно готовил на эту роль и был рад, что сын похож на него и деловой хваткой, и умом, гибким и хитрым. Но безжалостная смерть унесла Джованни, и теперь ему придется передать судьбу рода и Флоренции младшему сыну Пьеро, прозванного в народе 7/ *Gottoso* – «Подагриком».

Пьеро с детства был болезненным; кроме подагры, он страдал множеством других хворей. От одной из них у него странным образом раздулась шея, он не мог долго держать поднятыми веки, и его глаза были почти все время закрыты. Но если у его отца эти

полузакрытые глаза означали погружение в раздумье, – так его часто изображали художники, – то о Пьеро этого нельзя было сказать. Кроме того, он очень быстро уставал и явно не мог справиться с делами города, которые становились все сложнее и запутаннее, ибо в последнее время Козимо почти не занимался ими. Нет, такой человек, как Пьеро, никогда не сможет обрести авторитета и власти своего отца! Таково было всеобщее мнение, и предстоящая борьба за власть между богатыми семействами волновала флорентийцев. Мирно она еще никогда не кончалась. Уже объявился и первый претендент – Лука Питти, тот самый, который совсем недавно построил себе дом-дворец на склоне холма в Верхнем городе и во всеуслышание заявлял, что со смертью старейшины Медичи главенство Нижнего города кончится. Знал ли об этом Козимо, у которого повсюду были свои соглядатаи? Может быть, и знал, но у него уже не было сил, чтобы начать борьбу с Питти. Года два назад устранение претендента не составило бы для него труда, но теперь…

В конце июля в городе стало известно, что Козимо уже несколько раз призывал к своему ложу Пьеро и часами беседовал с ним. Он рассказывал сыну о своей жизни, подробно разъясняя, почему он в тех или иных случаях поступал так, а не иначе. Козимо, видимо, раскаивался, что прежде почти все свое внимание уделял старшему сыну, и теперь в оставшееся ему время торопился наставить младшего. Стало известно и то, что в советники Пьеро старый Козимо назначил Диотисальви Нерони. Это решение окончательно убедило флорентийцев в том, что могучий разум старого Медичи ослаб. Почти все в городе знали, что Нерони давно уже переметнулся на сторону Питти. Неужели «Отец отечества» не ведает этого? Почему он доверил и своего сына, и свое имущество этому человеку без чести и совести? Сандро не раз видел Нерони, и тот ему не нравился, как и многим во Флоренции. Удивлялись, что нашел в нем Козимо, отлично разбиравшийся в людях. Ведь вся натура этого человека была прямо-таки написана на его лице: на губах вечно играет ироническая улыбка, а в глазах глубоко затаились злоба и зависть – те качества, которые, по мнению Липпи, делают человека способным на самые бесчестные поступки.

1 августа 1464 года Козимо Медичи умер. Флоренция искренне скорбела о нем. Для нее он действительно был «Отцом отечества». Все обвинения были забыты. Говорили о том, как много он сделал для родного города, не жалея ни денег, ни сил. Вспоминали и о том, как он пожертвовал самым дорогим для него – драгоценной рукописью Тита Ливия, которую подарил Фердинанду Испанскому, избавив тем самым Флоренцию от

войны с Неаполем. Многое припоминали и многое теперь прощали старому Козимо. Филиппо Липпи с учениками был на похоронах своего благодетеля и вернулся оттуда мрачнее осенней тучи. Необходимость покинуть Флоренцию теперь стала для него более чем реальной. Ничего хорошего от Пьеро он не ожидал.

Сандро и предположить не мог, что происходящие в городе события уже в следующем году затронут его. Кто он был такой, чтобы судьбы сильных мира сего могли оказать воздействие на его судьбу? Всего-навсего ученик живописца, о самом существовании которого знали немногие. Суматоха, охватившая Флоренцию весной 1465 года, его вроде бы никак не касалась. Новый правитель Пьеро Медичи вдруг решил приумножить богатство своей семьи и начал скупать земельные участки вокруг Флоренции. Этот способ надежного помещения капиталов подсказал ему Нерони. Совет, данный Пьеро избранным его отцом-наставником по финансовым делам, на первый взгляд был разумен. Флоренция задыхалась в тесноте; многие богачи, да и не только они, приобретали землю вне городских стен. Там возводились виллы, разбивались парки и сады. Вошло в моду жить за городом, изображая из себя пастухов и пастушек. Поэты взахлеб воспевали прелести сельской жизни, а земля день ото дня поднималась в цене.

Лишь значительно позже открылось, что план привлечь внимание к земельным спекуляциям был разработан Нерони вместе с Лукой Питти и преследовал совершенно иную цель, чем приумножение богатства Медичи. Чтобы приобретать участки, требовались наличные деньги, причем немалые. Получить их можно было, только востребовав с должников кредиты, на которые был так щедр Козимо. И Пьеро сделал это, не задумываясь о последствиях. Началось массовое разорение мелких купцов и ремесленников. Мариано готов был рвать волосы на голове – даже он понимал, что Пьеро делает чудовищную глупость. Ни один здравомыслящий банкир не будет вкладывать все свои деньги в предприятие, которое, может быть, и принесет ему прибыль, но в отдаленном будущем. Дело кончится плохо, предрекал Филипепи, Пьеро не знает нрава флорентийцев. Своим требованием возвратить кредиты он только восстановит против себя сограждан. Мудрый Козимо, наверно, переворачивается в гробу!

Разорение коснулось и живописцев, особенно тех, кто не мог прожить своим ремеслом и в качестве подспорья открывал лавки или строительные конторы. Да и те, кто побогаче, также страдали от необдуманных действий Подагрика. Число заказов резко сократилось – денег на картины у горожан теперь не было.

Покинул город старый Паоло Уччелло, которому предложили перебраться в Урбино, и он с радостью согласился. За ним потянулись и другие: благо в Италии есть множество князей, которые стремятся, подражая королям и папам, окружить себя придворными поэтами, живописцами, архитекторами. Липпи предложили перебраться в Сполето, чтобы писать фрески в местном соборе. Он решил ехать – дальнейшее пребывание во Флоренции ничего ему не давало. Вот закончит очередную Мадонну и тронется в путь. Он предлагал и Сандро отправиться вместе с ним, но тот не пожелал оставлять Флоренцию. В самом деле, кому он, безвестный ученик, нужен на чужбине? К тому же он даже представить себе не мог, как будет жить вдали от родного города.

Недовольство Подагриком все больше росло. Флоренция бурлила. Нужно было совсем немного, чтобы это недовольство выплеснулось на улицы города, и тогда Пьеро несдобровать. Нерони успокаивал его: ничего не случится, разве он не знает своих сограждан? Поболтают и успокоятся, как не раз уже бывало. Но сомнения закрадывались в сердце Пьеро. Так ли это? Разве отец не предупреждал его, как опасно вызывать недовольство граждан Флоренции – очень быстро оно перерастает в ненависть. Поразмыслив над этим и посоветовавшись с друзьями, он отказался от своей затеи. Город немного поутих, но семена недоверия были уже посеяны и дали всходы. Липпи не был уверен в том, что Подагрик не совершит еще какой-нибудь глупости, и своего решения уехать в Сполето не изменил. Все, что он мог дать Сандро, он ему дал. Он не в обиде, что ученик покидает его – рано или поздно это должно было случиться. Главное, чтобы он шел дальше и подобрал себе учителя, который бы помог ему в этом.

Такого наставника Сандро уже присмотрел – это был Андреа дель Верроккьо. Сандро знал его еще по тем временам, когда он своим ремеслом не мог даже заработать на штаны. Может быть, именно по этой причине он брался за все. Талантом Верроккьо, безусловно, обладал, что признавал и Липпи, и это помогло ему достигнуть совершенства и в живописи, и в скульптуре, и в ювелирном деле. Живописью, впрочем, он занимался от случая к случаю, хотя и был превосходным рисовальщиком. В тот год, когда вся Флоренция была вне себя от поступка Подагрика, он завершил статую библейского героя Давида. Скульптура снискала всеобщую похвалу, и это способствовало тому, что когда в этом же 1465 году умер великий Донателло, Андреа был провозглашен первым скульптором Флоренции.

Слава, которой Верроккьо так долго ждал, наконец пришла к

нему. Он мог теперь расширить свою мастерскую, набрать побольше учеников и подмастерьев. Когда Липпи собрался покинуть Флоренцию, Сандро посетил Верроккьо и продемонстрировал ему свое незаурядное мастерство во владении линией. Верроккьо по достоинству оценил это умение и был не против того, чтобы Сандро перешел в его мастерскую. Возможно, он намеревался сделать из него не только художника, но и скульптора. Но возня с глиной и металлом мало привлекала Сандро. Что его влекло к Верроккьо, так это ходившая среди живописцев молва, что Андреа – непревзойденный мастер в передаче красками объемности фигур. Этому мастерству Сандро хотел научиться у него в первую очередь. Они договорились, что как только Липпи покинет Флоренцию, Сандро станет помощником Верроккьо.

Но отъезд Липпи задерживался. Фра Филиппо собирался уехать весной следующего, 1466 года и спешил завершить те немногие заказы, которые у него еще оставались – ведь из Сполето не так легко ездить во Флоренцию, как из Прато. Его мастерская почти обезлюдела, многие ученики и подмастерья ушли, но Сандро считал себя не вправе покидать учителя в это трудное для него время. Во Флоренции между тем было спокойно. Уже отпраздновали Рождество и ожидали праздника Пасхи. Сторонники Питти вроде бы притихли, Подагрик занимался устройством своих дел и восстановлением того доверия сограждан, которое он чуть было не разрушил. Теперь он вел себя более осторожно.

У Сандро было мало времени, чтобы вникать в городские дела. Напряженная работа в мастерской не давала ему возможности тратить время на беседы и встречи – а как еще узнаешь новости? Мариано болел и теперь больше размышлял о своей душе и о предстоящей продаже своей мастерской, чем о делах семейства Медичи и его соперников. Поэтому колокольный звон, донесшийся с площади Синьории, и топот толпы, бегущей на площадь с криком: «Парламенто! Парламенте!» – оказались для Сандро неожиданными, к его изрядному стыду: будь он настоящий флорентиец, заботившийся о судьбе родного города, он бы предвидел такое событие.

8 марта 1466 года скончался миланский герцог Франческо Сфорца. Сообщение об этой смерти Сандро пропустил мимо ушей, хотя во Флоренции о ней много говорили. Да и какое ему до этого дело? С герцогом он компании не водил и родственником его не был, поэтому не имел никаких причин сокрушаться по поводу его смерти. В Синьории, однако, разгорелись жаркие споры. Дело в том, что у Флоренции с

миланским герцогом был договор, обязывающий Милан приходить на помощь Флоренции в случае нападения на нее Венеции или Неаполя. За это обязательство Флоренция выплачивала ежегодно Сфорца значительную сумму. Теперь встал вопрос, платить ли эту сумму сыну покойного герцога Галеаццо Сфорца. Пьеро говорил: ради безопасности города это надо сделать. Питти был против: зачем платить, если Флоренции сейчас никто не угрожает?

К соглашению прийти никак не удавалось, и противник Подагрика увидел в этом благоприятный шанс свалить Пьеро. Нет ничего опаснее, чем покушение на кошельки сограждан – в прошлом году Подагрик уже смог убедиться в этом. По Флоренции снова поползли слухи, что Медичи стремятся разорить город. Деньги, которые собирались выплатить Милану, полезнее израсходовать на нужды Флоренции! Питти счел, что для него наконец-то настал благоприятный момент. Нужно обратиться к народу – созвать парламент. Страсти накалялись. Прошел слух, что на Пьеро готовится покушение, когда он будет возвращаться в город со своей загородной виллы. И вот тогда ударил колокол.

Площадь Синьории встретила Сандро бешеным гвалтом. Сейчас ему как полноправному гражданину в первый раз предстояло решать, как следует поступить Флоренции. Но разве можно что-либо разобрать в этом гаме и составить собственное мнение? В толпе шныряли агенты и Медичи, и Питти. Одни убеждали: незачем бросать деньги на ветер, другие пугали: Венеция вооружается и не сегодня, так завтра нападет на Флоренцию, если та останется без союзника. Прав Питти – нет, прав Медичи! Все больше на площади тех, кто считает, что Питти и его сторонники хотят выдать Флоренцию Венеции. Нет, не бывать такому! Смерть предателям и изменникам! Свобода Флоренции дороже денег! Наиболее ретивые уже бросились к городским воротам, чтобы закрыть их и не дать улизнуть тем, на которых сейчас обрушится народный гнев. Голосов тех, кто все еще поддерживает Питти, почти не слышно – они тонут в приветствиях Подагрику, патриоту родного города. В дверях Синьории появляется Пьеро, поднимая высоко над головой ключи от городских ворот. Он победил: судьба Питти и тех, кто выступал вместе с ним, передана народом в его руки, и он может делать с ними, что захочет. Достаточно одного его слова, и от них не останется и мокрого места.

Но Пьеро верен девизу Медичи: ничего сверх меры. Пусть решает суд! И площадь постепенно пустеет. Некоторые уходят разочарованными: Подагрик слишком мягок, разве так нужно

поступать со своими врагами? У него ведь сегодня был шанс разом покончить с ними. Слабость властителя рождает противников так же, как падаль родит мух! Суд выносит свой приговор: ближайшие сторонники Питти и зачинщики смуты, в том числе и вероломный Нерони, изгоняются из Флоренции на двадцать лет. Сам Питти, поскольку за него просил Пьеро, остается в городе, но должен оплатить весь ущерб, который причинен республике смутьянами. И здесь Подагрик верен завету отца: сегодняшний враг может завтра стать твоим другом!

Глава третья
Академия праздных людей

Жизнь во Флоренции входит в нормальное русло, о происках Питти постепенно забывают. Да и что о нем говорить: штраф, наложенный на богатея судом, конечно, не разорил его окончательно, но значительно подорвал его могущество. Он теперь будет долго молчать. Липпи окончательно подготовился в дальнюю дорогу. Все его пожитки уложены на повозки, дом и мастерская проданы, и он наносит прощальные визиты коллегам и знакомым. Все они выражают сожаление, что такой великий мастер покидает город. Верный Диаманте изъявил готовность следовать за учителем. Фра Филиппо еще раз предлагает Сандро поехать с ним, но тот решительно отказывается. Его ученичество закончилось.

На следующий день после отъезда Липпи Сандро уже был в мастерской Верроккьо на положении подмастерья. Андреа был всего на девять лет старше Сандро и принадлежал к тому поколению живописцев, которые видели свою цель в создании нового искусства. В его доме мало говорили о символике церковной живописи, о параллелях между Ветхим и Новым Заветом. Это не слишком занимало молодых. И хотя и здесь весьма чтили Мазаччо и Липпи, но считали, что всё, что те могли, они уже сделали. Нужно идти дальше. Перспектива, пропорции, композиция, объемность фигур, способы передачи света и тени, изучение натуры… Все эти требования – соблюдать перспективу, знать анатомическое строение человеческого тела, овладеть мастерством композиции – Сандро воспринимал как стремление ограничить его свободу живописца. В этом подозрении таилось противоречие, которое позже развело двух мастеров в разные стороны. Сандро быстро усваивал все, что было новым в живописи, но часто это новое не устраивало его. Споры между учителем и учеником принимали все более ожесточенный характер.

Мастерская Верроккьо всегда была полна народу. Здесь обсуждали городские новости, спорили о мастерстве, перемывали кости собратьям живописцам. В этих спорах принимал участие и только что появившийся в мастерской ученик Леонардо, пришедший во Флоренцию из городка Винчи. В свои 13 лет он еще ничего не сделал в живописи, но уже рискует вступать в разговоры взрослых и высказывать свое мнение о вещах, в которых мало смыслит. Леонардо раздражал Боттичелли своим

нахальством, но чего у него нельзя было отнять, так это любознательности, способности схватывать все на лету, вникать в самые сложные вопросы. Этот неисправимый спорщик вечно пытался докопаться до истины. Он был слишком большого мнения о себе и не скрывал своего стремления стать знаменитым художником, выше их всех. Но самым удивительным в этом мальчишке было то, что его стремление могло сбыться и почти никто не сомневался в этом. Бывают люди, излучающие какой-то флюид гениальности, и Леонардо принадлежал к их числу. В его талант как-то сразу поверил обычно недоверчивый Верроккьо. Да и Сандро, несмотря на всю свою неприязнь к заносчивому мальчишке, чувствовал, что рано или поздно тот действительно обгонит их всех. Быть может, он принадлежит к числу тех избранных, которым суждено разрывать оковы традиций. И Липпи, и даже Верроккьо обременены опытом прошлого, который всегда оказывается сильнее их, и они сворачивают на уже проторенный путь.

Здесь часто звучали споры и о том, что такое красота и насколько красиво то, что существует в действительности. Для Верроккьо это было само собой разумеющимся, для Сандро – нет. Он продолжал отстаивать свои взгляды и в пылу спора произнес фразу, которая надолго запомнилась молодому Леонардо, запала в память настолько, что спустя несколько лет он воспроизвел ее в записных книжках: «Если живописец не владеет в равной степени всеми элементами живописи, то он не является многосторонним художником; если он, например, не ценит ландшафтов и придает им лишь второстепенное значение, как наш Боттичелли, когда он говорит, что изучение ландшафтов – это пустая трата времени, поскольку прекрасный ландшафт можно увидеть уже в пятне, которое возникает на стене, если в нее бросить губку, смоченную различными красками». Да, Сандро продолжал считать: чтобы стать живописцем, недостаточно просто копировать все, что попадается на глаза, даже если делать это с величайшим искусством.

Работа в мастерской Верроккьо не могла продолжаться долго – это Сандро давно понял. Он горел желанием прокладывать собственные пути в живописи, но их было не так-то легко найти. Казалось, флорентийские живописцы уже исчерпали все возможности, все открыли и все предусмотрели. Сандро ищет нового у всех, кого он только встречает. Он легко сходится с самыми различными художниками и так же легко расходится с ними. То его видят у братьев Поллайоло, то он выслушивает поучения Уччелло о божественной перспективе. Перспектива сейчас, пожалуй, главное, что занимает живописцев Флоренции –

одни ее признают, другие отвергают. В этих спорах невозможно понять, кто прав, а кто проповедует ложный путь.

Сандро пытается разобраться во всем сам, не следуя слепо наставлениям других. Бывают времена, когда он целыми днями не выходит из дома, запоем читая различные трактаты, которые появляются в огромном количестве, переписываются, расходятся по рукам. Пишут их в основном не живописцы – тем писать некогда, они работают. Общепризнанным теоретиком считается архитектор Леоне Баггиста Альберти. Он сейчас во Флоренции, заканчивает фасад церкви Санта-Мария Новелла. Сандро может в любое время встретиться и поговорить с ним, но он этой встречи избегает, предпочитая читать труды Альберти. В них он находит много полезного об архитектуре, которой начинает увлекаться, но со всем, что касается живописи, готов поспорить с автором. Впрочем, против многих постулатов Альберти трудно возражать. Как, например, возразить против такого тезиса: «Как низкие звуки лютни или лиры в совокупности с высокими и средними тонами образуют приятную для уха гармонию, так и в других областях, особенно в произведениях архитектуры, необходим ритм. Если они построены правильно и с хорошими пропорциями, то они привлекают к себе взоры и восхищают тех, кто их рассматривает».

Говорят, что на взгляды Альберти тоже повлияли знатоки греческого искусства. Хотя Подагрик уделяет мало внимания живописи и архитектуре, их развитие не остановилось: продолжают строить здания, начатые при Козимо, по-прежнему ищут рецепты идеальной красоты. Но каждый понимает ее по-разному: одни видят красоту в совершенных пропорциях, другие – в перспективе, третьи – в точном копировании действительности. И каждый из них считает, что он прав, а всем остальным надлежит следовать открытым им правилам. Все, что не подходило под их мерки, подвергалось поруганию и осмеянию. С этим разум Сандро не мог примириться – он продолжал отстаивать право на собственное понимание красоты. Верроккьо до седьмого пота доказывал ему, что в жизни нет и не может быть таких удлиненных фигур и лиц, что нигде он не увидит таких непропорциональных по длине рук и ног и вряд ли встретит людей с такими неестественно высокими талиями. Сандро продолжал рисовать так, как ему нравилось и как он понимал красоту.

На эту тему у него неоднократно заходили споры с братьями Поллайоло, которые придавали важное значение именно точному изображению человеческого тела. Они тоже не могли взять в толк, что заставляет молодого годами Сандро так упрямо придерживаться старины, которую они считали давно ушедшей.

Антонио Поллайоло как раз бился над тем, чтобы достигнуть совершенства в изображении человеческого тела в различных ракурсах. Сандро присутствовал при этих его опытах и даже старался следовать за Антонио – в этом проявилась его способность быстро усваивать уроки, и если бы у него было желание, он ни в чем бы не уступил своему учителю. Но желания кого-либо копировать у него по-прежнему не было. Впрочем, встречи с братьями не прошли напрасно, ибо именно у них он перенял стремление глубже познавать человека. И хотя Мадонны по-прежнему были для него мерилом всего живописного искусства, он начинал понимать, почему Липпи в последние годы старался придать им более земное выражение.

Все эти новые веяния – и интерес к человеку, и стремление как можно достовернее передать его повседневный быт – шли от тех философов и литераторов, которых собрал вокруг себя старый Козимо. Хоть и ценя превыше всего живопись фра Анджелико, покойный правитель Флоренции тем не менее был открыт для всех новых веяний. От этих людей исходило и еще одно новшество: увлечение античной древностью. Этому увлечению не так-то просто было пробить себе дорогу, ибо в городе на него смотрели с недоверием, по привычке воспринимая как что-то недозволенное, греховное. Братья Поллайоло и от этого поветрия не остались в стороне, но Сандро стремился избегать разговоров с ними о нимфах, кентаврах, горгонах и прочих сказочных существах. Увлечения ими он не одобрял, ибо, как убежденный католик, считал, что нельзя предавать истинную веру ради языческих богов. Разве в Библии мало более достойных героев для живописца?

Все эти споры и дискуссии, конечно, давали ему много, но необходимо было уже думать и о самостоятельном заработке. Наступали трудные времена, и осложнения начались гораздо раньше, чем предполагали горожане. В 1467 году изгнанные заговорщики решили вернуться в город, опираясь на помощь Венеции, которая получила благоприятную возможность поставить давнего соперника на колени. Если во главе города будут стоять люди, всецело обязанные Венецианской республике, с процветанием Флоренции можно проститься. В распоряжение бунтовщиков Венеция предоставила самого лучшего своего кондотьера Бартоломео Коллеони, и войско выступило в поход. Во Флоренции сразу же возникла паника: мало кто верил в полководческие и дипломатические способности Подагрика. Стали опять поговаривать о том, что зря в прошлом году положились на его доводы, зря не выгнали его вон. Тем временем город нужно было спасать. Флорентийское ополчение выступило

в поход без всякой уверенности, что сможет одержать победу над закаленными в боях наемниками. Но, видимо, у Пьеро Медичи в крови была способность принимать неожиданные решения, позволяющие добиться успеха. Быстро разослав послов, он договорился о союзе с Миланом и Неаполем.

Войска противников остановились друг против друга, не решаясь вступить в сражение. Коллеони постреливал из своих спрингард – «плевательниц», то есть легких полевых пушек, которые совсем недавно вошли в военный обиход; до этого артиллерия использовалась только при осаде крепостей. Думая привести врага в замешательство, бравый кондотьер добился совсем другого эффекта. Пушечные обстрелы вызвали возмущение во всей Италии: это не по-рыцарски, это недостойно такого полководца, как Коллеони! Во Флоренции возмущались больше всех. В церквях молились о ниспослании победы защитникам города, и Бог оказался на стороне флорентийцев. 23 июля 1467 года в битве при Монтефельро доселе непобедимый Коллеони потерпел поражение. Флоренция ликовала. Для встречи победителей срочно сооружались триумфальные арки, украшались стены домов – всем живописцам нашлось дело, никто не был обижен. А чтобы изгнанным заговорщикам впредь было неповадно плести интриги против родного города, срок их изгнания продлили еще на десять лет. Подагрик был прощен – победителей не судят, – и в городе воцарился мир.

Сандро с завидным упорством продолжал трудиться над своими Мадоннами. Все знающие его сходились на том, что ему не суждено умереть от избытка фантазии – похоже, что, кроме Мадонн, у него в голове ничего нет. Одна из его Мадонн стояла в мастерской Верроккьо, и он работал над ней, когда выпадало свободное время. Картина изображала Богоматерь с младенцем Христом и Иоанном Крестителем. Еще одна Мадонна с двумя ангелами находилась у Сандро дома. Над ними он трудился просто так, для себя, надеясь потом продать.

Мадонны по-прежнему были в цене, и он мог бы писать их еще больше. Тем более что его уже стали признавать как живописца, который мог выполнить заказ не хуже любого другого художника. То, что он был учеником прославленного Липпи, тоже шло ему на пользу. Однако он не торопился разрабатывать эту золотую жилу. Во Флоренции его хвалили за старание, а некоторые даже прочили безбедное будущее, но все-таки многое в его поведении вызывало удивление и не укладывалось в обычные представления о подмастерье. О нем говорили как о «юноше ищущего разума». Это пошло от его коллег-живописцев, которые никак не могли взять в толк, чего, собственно говоря, ему нужно:

он в совершенстве овладел почти всеми секретами мастерства, но все еще продолжал учиться, появляясь в мастерских то одного, то другого художника. При этом он исполнял любую работу, не гнушаясь и такой, как роспись кассоне – больших ларей для одежды и домашней утвари, – филенок шкафов и спинок стульев. Такая декоративная живопись была в большой моде во Флоренции, но ею занимались живописцы второго разряда. Уважающие себя художники брались за такие заказы с неохотой, но Сандро формально все еще пребывал в подмастерьях, и поэтому не считалось зазорным обращаться к нему с подобными просьбами.

Мариано старел, все время говорил о приближающейся смерти и высказывал желание увидеть, наконец, Сандро надежно устроенным, женатым, обзаведшимся собственным домом. Но для его сына существовали только Мадонны. Можно было подумать, что он уподобился стародавним рыцарям, которые давали обет пожизненного служения Деве Марии, или тем сумасбродным поэтам, которые признавали лишь сказочных возлюбленных. Одним словом, Сандро был совершенно безразличен к прекрасному полу. А ведь красотой его Господь не обидел: белокурый, высокий, хоть и полноват, но вполне соразмерен. Ясные, немного задумчивые глаза, припухлые, словно у ребенка, губы, гладкий чистый лоб, нос с небольшой горбинкой. Правда подбородок немножечко тяжеловат, но, как говорят, это признак сильной воли. В последнем Филипепи, правда, сомневался, но и отец может ошибаться. Словом, найти для Сандро невесту не составило бы большого труда. Дело было за малым: он должен стать мастером. Подмастерья по традиции не имели права жениться. Но Сандро не торопился: в 22 года он все еще учился, и было похоже, что этому учению не будет конца.

Не порывая окончательно с Верроккьо, он все больше сходился с братьями Поллайоло. Мастер Андреа, хорошо знающий их увлекающуюся натуру, предрекал, что ничего путного из этой дружбы не выйдет. Особенно если Сандро попадет под влияние Антонио, который из кожи вон лезет, чтобы найти способы передачи движения человека, стремясь переплюнуть своих предшественников, по привычке решающих эту задачу при помощи размещения складок на одежде. Этого старшему Поллайоло мало, он все время ищет чего-то нового. Не исключено, что уже завтра он начнет постигать искусство гравюры, утверждая, что это искусство будущего. Сомнительно – разве когда-нибудь двуцветная гравюра заменит многообразие красок? Но таков уж Антонио, и своими идеями он увлекает и своего брата Пьетро, и Сандро. Они носятся с мыслью создать

целую серию гравюр, посвященных подвигам Геркулеса, любимого героя Антонио. Он видит здесь возможность показать во всей полноте красоту человеческого тела.

Но Сандро очень скоро остывает. Во-первых, он не собирается стать гравером, хотя Антонио убеждает его, что для такого рисовальщика, как он, это самое что ни на есть подходящее занятие. Во-вторых, он все еще опасается нарушить христианские заповеди, прославляя идолов. Ведь на Страшном суде его будет судить не Юпитер, а Господь, который может строго спросить с него за такое кощунство. Но Антонио и сам очень быстро остыл и больше на участии Сандро в своем предприятии не настаивал.

Этот период исканий имел ту положительную сторону, что Сандро все больше и больше входил в среду своих коллег-живописцев. Еще не став мастером, он уже был принят как свой в компании святого Луки, где знакомился с людьми других профессий. Согласно флорентийским традициям, у художников не было собственной гильдии и они со стародавних времен входили в цех врачей и аптекарей. Кто знает, чем было вызвано это странное сближение – может быть, тем, что краски и различные снадобья для живописи продавались в аптеках. А самой известной во Флоренции аптекой была та, что принадлежала Маттео Пальмьери, человеку необыкновенному во всех отношениях. Он не только прекрасно разбирался в своем ремесле, но и был весьма сведущ в литературе, знал толк в живописи и ко всему прочему был писателем и философом. Вот почему в его заведении, в которое стал частенько наведываться Сандро, можно было встретить не только тех, кто жаждал исцеления, но и тех, кто приходил сюда поговорить о материях более возвышенных, чем несварение желудка иди подагра.

Маттео принадлежал к числу страстных поклонников латыни и, как утверждали, владел ею в совершенстве. А это значило, что ему всегда был открыт вход в дом на виа Ларга, где ценили таких людей. Правда, после смерти Козимо эти посещения стали реже, но лишь до поры до времени, пока сын Подагрика Лоренцо не загорелся идеей возродить былые традиции. И тогда за огромным столом в доме Медичи снова стали устраиваться обеды для философов, поэтов и просто тех, кто чем-либо привлек внимание друзей молодого Лоренцо – а у Маттео был талант открывать людей незаурядных, выдающихся по знаниям и талантам. Он нередко приводил на виа Ларга тех, кто заинтересовал его и, по его мнению, мог заинтересовать Лоренцо и его единомышленников. Поэтому знакомство с Маттео было выгодно во всех отношениях. Главным было произвести на него впечатление, ибо он привечал далеко не всех. Для многих,

стремившихся сблизиться с Медичи, путь в их дом начинался и заканчивался в аптеке Пальмьери. Если ее хозяин вежливо советовал гостю совершенствовать свои знания, это значило, что тот еще не дорос до чести занять место за столом его покровителя. Многим была известна часто повторяемая фраза аптекаря: «Каждый ныне живущий разумный человек должен благодарить Бога за то, что он родился в это время, когда расцвели столь блестящие умы, которые не появлялись вот уже тысячу лет».

Маттео долго приглядывался к Сандро, беседовал с ним о живописи и не только о ней, говорил на тосканском наречии и по-латыни, словно пробуя золотой на зуб. Видимо, ему понравился незаурядный ищущий ум молодого живописца, и Сандро с честью выдержал пробу, ибо Маттео счел уместным ввести его в дом на виа Ларга. Правда, Боттичелли не удостоился чести быть посаженным по правую руку Лоренцо – это место занимали только люди, подающие большие надежды, – но он сидел за столом наравне с другими, прислушиваясь к беседам и стараясь понять мудрые мысли, порхающие над столом, за которым возрождалась Платоновская академия Козимо.

Все для него было новым и интересным. Он сразу же отметил, что стол не ломится от изобильных яств, о которых столь много толковали во Флоренции, упрекая Лоренцо в роскошестве и чревоугодии, да и высказываемые мысли не содержат никакого кощунства. Правда, часто он их не понимал – слишком мало он читал античных классиков, на которых то и дело ссылались собравшиеся. Но это дело наживное, как предполагал он в своей молодой самонадеянности – стоит лишь прочитать несколько книг, взятых у того же Маттео. Гораздо труднее ему приходилось, когда к нему вдруг обращались по-гречески, а он не понимал сказанного. Конечно, это могло уронить его в глазах собравшихся, ибо во Флоренции сейчас греческий язык был в моде: он знал, что некоторые зажиточные флорентийцы даже своих дочерей обучали болтать по-гречески, благо после падения Константинополя недостатка в учителях не было. Тут же на виа Ларга он дал себе клятву осилить этот язык, чтобы не выглядеть невеждой. Кстати сказать, эту клятву он впоследствии сдержал, ибо не в его правилах было отступать от задуманного.

Он не стал завсегдатаем в доме Медичи, но после этого достопамятного обеда попал в поле зрения братьев Лоренцо и Джулиано, а это уже давало многое. Без этого его, конечно, не привлекли бы к участию в оформлении улиц по случаю устроенного весной 1468 года турнира – тоже большого новшества во Флоренции, будто бы ей не хватало ежегодных

карнавалов. Но братья Медичи горели желанием возродить времена рыцарской галантности и настояли на своем. Вообще в последнее время старикам было о чем поворчать, ибо беспокойные братья решительно вторгались в давние традиции, стремясь все перекроить на свой манер. Где это видано, чтобы в исконном флорентийском карнавале вдруг появились языческие боги, бросающие в толпу искусственные цветы и сладости! А тут еще эти турниры. Во Флоренции, городе ремесленном и торговом, никаких рыцарей давно уже не было, и вдруг они появились.

Конечно, в турнире победителями оказались братья Медичи, а потом начались всеобщие гулянья и веселье. Лоренцо и Джулиано не поскупились – угощался всякий проходящий мимо, и пьяных было не меньше, чем во время карнавала. Но все это было как-то иначе, не так, как раньше. Особенно смутило флорентийцев данное под занавес представление, где фигурировали не только языческие боги, но и девы-нимфы в совершенно прозрачных одеждах. Стыд и срам, и попрание всяческих приличий! После этого Мариано ворчал, пожалуй, целую неделю. Но самым страшным для него было то, что во всем этом разнузданном бесстыдстве участвовал и его сын. Пришлось наставлять его на путь истинный, напоминать о морали и Господних заповедях и требовать, чтобы он немедленно исповедовался и получил отпущение грехов.

Однако неприятности, пережитые Сандро в связи с турниром, скоро были забыты. Ему сейчас было не до них – перед ним во весь рост встала задача получить звание мастера и выйти наконец на самостоятельную дорогу, чтобы на него перестали смотреть как на способного, но все-таки ученика. На радость Мариано он теперь почти все время проводил дома, в своей мастерской, которую оборудовал для него чадолюбивый отец. Там он работал над очередной Мадонной, которую ему заказал Воспитательный дом. Конечно, этот заказчик мог найти живописца по маститее, но его привлекла смехотворная цена, за которую Сандро согласился выполнить заказ. Здесь сказалась та странность, которая уже неоднократно наблюдалась среди художников: в беседах и спорах со своими коллегами-живописцами Сандро неистово ратовал за новое искусство, но когда он приступил к выполнению своего первого официального заказа, он, по сути дела, по памяти стал копировать одну из Мадонн Липпи. Правда, кое-что поправил на свой вкус – исчезли, например, чуть вздернутый нос и по-детски припухлые губы, а короткие пухлые пальцы Мадонны фра Филиппо уступили место изящным удлиненным перстам.

Все, что в картине Липпи напоминало обыкновенную флорентийскую горожанку – вероятнее всего, супругу

художника, – было безжалостно изгнано, ибо это не соответствовало идеалам красоты, взлелеянным Сандро. Одежду, которую обычно носили флорентийки и которая была детально изображена на картине Липпи, он заменил фантастическим плащом, необычным и неудобным по крою, но зато дающим возможность украсить его всевозможными складками и продемонстрировать свое умение владеть линией.

Мадонна Боттичелли погружена в глубокое размышление. О чем она думает? О своей собственной судьбе, о будущей страшной смерти своего ребенка? Нет, это уже была не Мадонна Липпи, это была Мадонна Сандро Боттичелли с ее замкнутым внутренним миром, недоступным другим. Этого он достиг, изобразив Деву Марию с полузакрытыми глазами, отрешенной от земных забот и находящейся в углубленном размышлении. Тот же прием Сандро повторит множество раз в своих творениях. Эти полузакрытые глаза будут придавать его картинам налет таинственности, какой-то меланхолии, свойственной только ему, Сандро – он будто бы демонстрировал, что у каждого человека есть скрытый от других внутренний мир. Первым среди художников Возрождения он сделал шаг в направлении создания психологического портрета, но вряд ли сознавал это. Конечно, Уччелло мог бы упрекнуть его в нарушении законов перспективы: следуя советам своего учителя, Сандро рассек фон каменной стеной. Верроккьо поворчал бы насчет того, что Сандро исказил законы пропорции и оказался совершенно неспособен создать совершенную композицию. Одним словом, в своей картине он допустил массу отступлений от законов живописи, но заказчика она удовлетворила.

Эта работа понравилась и Липпи, который на короткое время приехал во Флоренцию, чтобы приобрести необходимые ему краски – в захолустном Сполето их было не сыскать. За это время учитель очень изменился – постарел и, казалось, помрачнел. Было заметно, что он тоскует по Флоренции, но тем не менее не собирается возвращаться в родной город. Он рассказывал, что и в Сполето натолкнулся на подозрения, почти ненависть. Оказалось, что в городе проживают родственники его супруги Лукреции, которые распространяют о нем и о ней злостные слухи, обвиняя их во всех смертных грехах. Он снова звал с собою Сандро – они ведь сработались, и по последней работе юноши видно, что он усвоил его манеру. Сейчас ему помогает в росписи собора сын Филиппино – у него оказались хорошие задатки живописца, и со временем он может стать не последним в ряду художников. Если с ним, Филиппо, что-либо случится, он хочет, чтобы Сандро продолжил обучение его сына. Их стили настолько близки, что

мальчику не нужно будет переучиваться.

Ехать в Сполето Сандро наотрез отказался. Там он, конечно, многому мог бы научиться – Липпи писал фрески на темы из жизни Богоматери, что не могло не привлекать Сандро. Однако ему предстояло снова взяться за выполнение заказа для Медичи – Подагрик женил своего сына Лоренцо, и за остающийся до свадьбы год необходимо было подготовить торжества, которые должны были затмить пышностью все предыдущие. Все флорентийские живописцы надеялись на участие в их подготовке, в том числе и Сандро – для него это был важный этап в карьере, экзамен на роль полноправного мастера. Липпи не удалось уговорить его. Он уехал один, подарив Сандро на прощание инструменты для изготовления фресок и кисти для написания картин, словно назначая его в свои преемники. Но если разобраться по существу, он дал ему гораздо больше – мастерство живописца, умение писать непревзойденных по красоте Мадонн, а также знания, необходимые для создания картин на исторические, то есть библейские темы. Прощаясь с учителем, Сандро обещал исполнить его просьбу относительно Филиппино. Он и предположить не мог, что это обещание ему придется выполнить уже в ближайшее время.

После завершения «Мадонны Воспитательного дома» его признают как художника. У него нет недостатка в заказах – правда, все его клиенты пока что люди не особенно состоятельные, и в Сандро их привлекает то, что за свои картины он берет в два, а то и в три раза дешевле, чем его маститые коллеги. И дело не только в том, что он все еще подмастерье и не может требовать той же платы, что и мастера, но и в том, что он, похоже, не знает цену деньгам, не умеет торговаться и набивать себе цену. В этом он не похож на истинного флорентийца, который всегда знает, где можно найти выгоду.

Мариано ворчит; в сыне ему не нравится многое – и его неумение пробиваться в жизни, и легкомысленное отношение к деньгам, и эти появившиеся в последние время связи с домом Медичи. Мариано знает, что без поддержки сильных многого достигнуть нельзя, ведь недаром говорят: сильный – это та же скала, к которой можно прислониться, отбиваясь от врагов. Но Сандро по своему слабоволию наверняка будет втянут в ту порочную жизнь, которую ведут молодые Медичи, не обретя при этом ни влияния, ни авторитета. Мариано предпочел бы всему этому, чтобы Сандро, наконец, получил звание мастера и вступил бы в компанию святого Луки. Вот там он найдет и истинных друзей, и помощь, когда столкнется с трудностями. Члены цехов крепко держатся друг за дружку и не дают своих коллег в обиду.

Это он не раз испытал в собственной жизни. Но похоже, что сын его, преклоняясь перед какой-то призрачной свободой, и здесь не собирается чем-либо ограничивать ее. Он все тянет со своим вступлением в гильдию, и никакие уговоры на него не действуют.

Сандро работает поразительно много: Мадонны с младенцами выходят из-под его кисти одна за другой, не принося ему, однако, ни особых заработков, ни почета среди коллег. Да и какой может быть почет, если все эти Мадонны, как сестры, походят на Мадонн Липпи? Иногда даже трудно различить, где работа фра Филиппо, а где творение Сандро. Заказчики не валили к нему валом, но и на их отсутствие не приходилось жаловаться – флорентийцам пришлись по душе его нежные и хрупкие Мадонны, напоминавшие замотанным делами купцам и ремесленникам о неописуемом небесном блаженстве. Сандро брал дешево, работал быстро, не утруждая себя поисками чего-то из ряда вон выходящего. Удавшихся ему однажды Мадонн он беззастенчиво множил, а если и вносил изменения, то по мелочам: либо менял символы, намекающие на предстоящие муки Христа, либо удлинял овал лица, либо набрасывал на голову Мадонны вуаль, и тогда тратил основное время на то, чтобы довести до совершенства эффект ее прозрачности и невесомости. На судьбу он не сетовал: в многочисленном клане флорентийских живописцев было немного всеми признанных, дорогостоящих мастеров, к которым было боязно подступиться. Большинство соглашались на все, не гнушаясь мелкими заработками, и корифеи смотрели на них свысока. На их фоне Сандро выглядел вполне достойно.

Благодаря отцу Сандро был избавлен от необходимости зарабатывать на жизнь. Деньги, полученные от заказчиков, текли как сквозь пальцы – на наряды, ибо он не желал отставать от флорентийских щеголей, на угощение друзей, которых у него было немало, на разные разности, которые обходились недешево. Похоже, он собирался остаться в холостяках, несмотря на все увещевания, а иногда и требования отца. И здесь он тоже следовал моде – многие его сверстники не спешили связывать себя узами брака, благо во Флоренции доступных женщин хватало, а со времен Боккаччо нравы стали еще менее строгими. Но молодой живописец вряд ли мог привести себе в оправдание довод, которым пользовались прославленные мужи; они-де хотят быть независимыми и ничем не обязанными, дабы посвятить себя всецело наукам или вольным искусствам.

По мнению Мариано, сын просто блажил – ничего не поделаешь, такое уж ныне поветрие во Флоренции. Недаром шумную компанию молодых художников полушутливо-

полузавистливо прозвали «Академией праздных людей». Чего стоили их издевательские шутки в духе Боккаччо! Например, Сандро ополчился на соседа-ткача, шум станков которого мешал ему работать. С помощью друзей он взгромоздил на стену между двумя домовладениями громадный камень «чуть не с воз размером», который при малейшем сотрясении грозил рухнуть на крышу бедного ткача. Когда тот попросил убрать камень, Сандро гордо ответил: «У себя дома я делаю все, что мне нравится». Такими же словами встретил его сам ткач, когда он просил его стучать потише. Насладившись испугом соседа, художник убрал камень. И таким выходкам не было конца – дерзкая молодежь открыто насмехалась над старыми порядками, а заодно и над теми, кто их защищал и поддерживал.

Астрологи прогнозировали на 1469 год большие перемены, но вряд ли к лучшему. Мелкие неурядицы во флорентийских владениях в расчет не брались – они всегда были и, видимо, будут, пока мир стоит. Беды грозили с другой стороны: Подагрику оставалось жить недолго, об этом в городе знали все. Его смерть могла изменить многое – к Пьеро уже привыкли, никто его не трогал, и он никому хлопот не доставлял. Конечно, его поругивали за плохое управление, но во Флоренции и не могло быть иначе. Медичи к этому относился спокойно: в меру своих способностей и здоровья он обеспечивал, следуя совету Козимо, мир и спокойствие, и город не утратил ни своего богатства, ни влияния; Милан и Венеция не раз прибегали к его посредничеству, а о более мелких соседях не стоило и говорить.

Время его правления, возможно, так бы и закончилось бесцветно, если бы он не задумал женить своего старшего сына Лоренцо на римской аристократке Клариссе Орсини. Чем руководствовался умирающий Пьеро, делая свой выбор, для флорентийцев осталось тайной, но, приняв его, он нарушил традицию семейства Медичи родниться только с согражданами. К титулам во Флоренции никогда не питали почтения, а здесь ко всему прочему невесту брали из Рима, из семьи Орсини, пользующейся там немалым влиянием. Не стоят ли за этим хитроумные папские планы, не кроется ли тут измена? К Риму во Флоренции всегда относились с подозрением – побаивались, но смотрели свысока. Попрошайки с берегов Тибра, любящие пускать пыль в глаза, не останавливающиеся перед любым коварством – такими были римляне в глазах флорентийцев. Вдруг они совьют гнездо в их городе – ведь ясно, что за семейством Орсини, будто тараканы, учуявшие поживу, потянутся другие, и тогда их уже не изведешь.

И опять поползли слухи и сплетни, в том числе стародавние –

о тяге Медичи к почестям, о их любви к титулам и склонности к тиранству. Масла в огонь подливали и льстецы, окружавшие молодого Лоренцо и вздумавшие доказывать, что в его жилах течет голубая кровь, хотя до сих пор не было сомнений, что родоначальником семейства был простой лекарь. Если верить россказням усердных в лести поэтов и любителей копошиться в полуистлевших актах, на самом деле предок Медичи – славный рыцарь Аверардо, прибывший в свите Карла Великого во Флоренцию, когда в ее окрестностях буйствовал страшный великан, который громил все вокруг древесным стволом с привязанными к нему шестью стальными шарами. Аверардо вызвался сразиться с монстром, чтобы освободить город, и одержал победу. В бою великан ударил по щиту рыцаря своим оружием, и на нем осталось шесть вмятин. Вот откуда герб Медичи – золотые шары на красном поле, и это вовсе не пилюли в лавке аптекаря, и не монеты на вывеске менялы, как утверждали злопыхатели. В легенде все было пригнано к месту: и якобы благородное происхождение Медичи, и спасение ими города, а главное то, что выдуманный Аверардо очень походил на библейского Давида, издавна почитаемого во Флоренции.

Доброхоты, конечно, доносили Пьеро обо всем, что творилось в городе, и ворчание сограждан вызывало у него тревогу – не за себя, ему уже многое было безразлично, а за Лоренцо. Как бы ни выгодно было породниться с Орсини, потеря доверия горожан в его планы не входила. Боязнь этого вошла в плоть и кровь всех Медичи. Старый Козимо перед смертью наставлял его: богатство без власти и влияния – ничто. Завет деда Пьеро передал и Лоренцо. Как могло повернуться в дальнейшем, предугадать никто не брался, но пока это от него зависело, Пьеро бросился спасать положение. Семейное торжество он превратил в городское, государственное. Если Подагрик что и усвоил из древней истории, так это умение римских императоров ублажать свой народ церемониями, празднествами и зрелищами.

К приезду его будущей невестки готовился весь город – предстоял праздник, которого еще не бывало во Флоренции. Пьеро не жалел денег: пусть сограждане видят, что главная его забота – доставить им радость. В программе было все – и торжественный въезд Клариссы на белой лошади, и пышное бракосочетание в соборе, и бал-маскарад, и небывалый пир на площадях города. Все, кто принимал когда-либо участие в организации карнавалов, торжественных шествий и встреч знатных гостей, были вовлечены в подготовку празднества, которая заняла несколько месяцев. Много денег уплатил Пьеро из своей кассы, не трогая государственной казны, чтобы завоевать

для Лоренцо любовь народа.

На живописцев был особый спрос – им предстояло украсить путь, по которому будет проезжать невеста со свитой, декорировать собор, придать праздничный вид площадям, выдумать оригинальные костюмы для сотен кавалеров и дам. Поэты напрягали всю свою фантазию, чтобы поразить римлян небывалыми доселе эпиграммами, а их выдумки тоже должны были воплотить художники. Здесь было все: Венеры и Марс, амуры и наяды, гроты и горы – все, что понавыдумывали древние и что сейчас вновь было извлечено на свет божий. Не обошли и Сандро – ему пришлось размалевывать штандарты и полотнища, которым надлежало свешиваться с балконов и из окон, расписывать триумфальные арки. Даже те, у кого были имена погромче, чем у него, не гнушались такой работой, к тому же Медичи щедро платил за каждый пустяк: все понимали, что это плата не за мастерство, а за преданность.

В отличие от отца и Липпи, Сандро не был страстным поклонником Медичи, его память не обременяли воспоминания о славных делах Козимо. Его мечтой было не возвращение золотого века, якобы существовавшего при «Отце отечества», а приобретение известности – а как этого достичь, не имея поддержки щедрого и влиятельного покровителя? Среди молодежи, с которой Сандро водил дружбу, почтения к Подагрику не было, да и о Лоренцо говорили снисходительно: конечно, у него есть достоинства, но крепко держать город в руках он вряд ли сможет, в чем, кстати, и сам признавался. Ему больше по душе вести праздную жизнь, чем копаться в городских дрязгах. Если кто и достоин внимания, так это Томмазо Содерини; он-то и приберет власть к рукам, как только умрет Подагрик, и Верхний город подомнет под себя Нижний. Вот тогда Томмазо сочтется за своего брата, изгнанного из Флоренции вместе со сторонниками Пацци.

Сандро не слишком сокрушался по этому поводу. Подагрик ничего не смыслил в живописи, да и Лоренцо, несмотря на его общепризнанный отменный вкус, особого интереса к ней не проявлял. Вот стихи он писал, некоторые из них даже стали песнями. Чтил философов, собирал разные безделушки, но носиться с живописцами, как Козимо с Липпи, явно не собирался. Стало быть, никакой пользы Сандро от него не было, поэтому возможная смена власти в городе его мало беспокоила.

В июне Кларисса прибыла во Флоренцию. Пьеро встретил ее у стен города и присутствовал на бракосочетании в соборе, но на свадебном пиршестве не появился. Слухи подтверждались: жизнь уходила из его измученного болезнями тела. В тратториях и на

площадях, где пили за его счет, ему желали выздоровления, а его дому благополучия, в душе сомневаясь и в том, и в другом. Имя Томмазо все чаще произносилось в застольных беседах, и многие уже бросились искать его благосклонности. Сандро тоже удостоился чести быть представленным ему. Говорить он был мастер и обратил на себя внимание Содерини. Не бог весть что, но все-таки приятно, когда будущий правитель знает тебя в лицо.

Как ни странно, но и строгий Мариано уверовал в Содерини. По крайней мере, на него можно положиться, у него достаточно опыта, чтобы править Флоренцией. А если она достанется юному Лоренцо, тогда городу и впрямь грозят беды. Больше всего Филипепи боялся распрей и неурядиц; в молодости он нахлебался их досыта, и теперь ему хотелось покоя. Он окончательно решил расстаться с мастерской, купить дом на виа Нуова – уже присмотрел и почти сговорился с владельцем, – и дожить жизнь, избавившись от всех хлопот.

Как большинство флорентийцев, вдоволь нагрешив в юности, Мариано с годами все больше обращался к Богу и проникался убеждением, что раньше все было не только строже, но и лучше. Виноваты, конечно, они, старики, обеспечившие детям беззаботную жизнь и потакавшие их прихотям, как он Сандро. О тех, кто побогаче, как Медичи, и говорить не приходится. Отсюда разврат и непочтение ко всему, даже к вере – появились разные философы, которые даже Евангелие толкуют на свой лад. А поэтов, которых Мариано больше знал понаслышке, ибо как истинный флорентиец чтил только Данте, было бы полезнее и вовсе истребить – самое ядовитое племя, самого Господа называют Юпитером и забивают головы добропорядочных христиан музами, грациями, нимфами и прочей нечистью. Нет, после того как он узнал, что Лоренцо не только ведет разгульную жизнь, но еще вдобавок и поэт, он слова в его защиту не скажет! Если его призовут на площадь Синьории, он первым отдаст свой голос за Содерини. Но пока никого никуда не звали.

Подагрик упорно цеплялся за жизнь. Конец лета и осень прошли в тревожном ожидании: вот-вот что-то должно случиться. Но развязка все оттягивалась. Город лихорадило, и когда во Флоренцию пришла весть, что 9 октября в Сполето внезапно скончался Филиппо Липпи, даже живописцы пропустили ее мимо ушей – и их обуяла высокая политика. Возможно, лишь скорбь Сандро была искренней: фра Филиппо, несмотря на их разногласия, оставался для него любимым наставником. Многое приходило на память, но особенно то, что в свою последнюю поездку в Сполето Липпи отправлялся с большой неохотой. Сколько раз, наезжая во Флоренцию, он клялся бросить эти

проклятые фрески и восклицал, что его ноги не будет в городе, где не уважают его и не ценят его искусство.

В чем была причина этого недовольства – так никто и не выяснил. Излив очередную порцию злости, Липпи снова отправлялся в Сполето, как бы подтверждая слова, сказанные Верроккьо: истинный живописец никогда не бросит свое творение, не доведя его до конца, оно для него, что ребенок для матери. Как всякая скоропостижная смерть, кончина фра Филиппо вскоре стала обрастать домыслами: якобы он начал в споре с приором монастыря богохульствовать и Господь покарал этого грешника и развратника. Однако большинство придерживалось более земной версии – Липпи был отравлен. Вопрос только: кем? Не было большой тайной, что и в Сполето бывший монах вел далеко не постную жизнь; говорили, что там он умудрился соблазнить какую-то знатную даму и ее родственники спровадили его на тот свет. Другие же придерживались иного мнения: ничего подобного, это старый Бути наконец-то свел счеты с обидчиком, отомстив ему за поруганную честь дочери Лукреции.

Но как бы там ни было, фра Филиппо не стало, и Сандро оказался перед необходимостью выполнить данное им некогда обещание – позаботиться о судьбе Филиппино, помочь ему овладеть живописью и вывести в мастера. Клятвы давать легко, но выполнять не так просто: прежде всего потому, что сам он еще ходил в подмастерьях, а следовательно, не имел права набирать учеников. То, что у него была мастерская, которую он открыл в доме отца, ничего не значило – просто цеховые власти, благоволя старому Филипепи, пока смотрели сквозь пальцы на это вопиющее нарушение правил. Сандро с трепетом ожидал появления во Флоренции сына Липпи, но тот явно не спешил. Как потом выяснилось, он остался в Сполето и вместе с учеником Липпи фра Диаманте завершал начатое отцом. Кроме того, Сандро стало известно, что в свои двенадцать лет Филиппино уже изрядно преуспел в живописи, далеко обогнав своих сверстников, так что учить его будет непросто.

Жизнь тем временем шла своим чередом, и наступил день, которого одни ожидали с тревогой, другие с туманными надеждами: 8 декабря скончался Пьеро Подагрик. Усопшему были возданы все положенные почести, и Флоренция затихла в ожидании: когда же ударит колокол на площади Синьории, созывая граждан на парламент? Но ничего не случилось, все обошлось на редкость мирно; с удивлением флорентийцы узнали, что Томмазо Содерини, которого считали непримиримым противником Медичи, собрал представителей шестисот

влиятельных семейств и неожиданно предложил им просить Лоренцо взять на себя защиту интересов города. Такого оборота никто не предвидел, поэтому возражений не последовало: о других кандидатах заранее не подумали. Томмазо действовал без промедления; в тот же день во главе представительной депутации флорентийских граждан он посетил дом на виа Ларга и сообщил его новому хозяину о «решении города». Позже Лоренцо писал: «На второй день после смерти моего отца, хотя я и был очень молод, то есть мне был всего лишь 21 год, в наш дом пришли наиболее знатные люди города и государства, чтобы выразить сочувствие по поводу нашей потери и просить меня взять на себя заботу о городе и государстве, как это делали мой дед и отец. Я согласился, но с большой неохотой, поскольку, принимая во внимание мой возраст, задача защищать наших друзей и наши владения была тяжела и опасна, но богатым, которые не правят, во Флоренции приходится очень плохо».

Далеко не все флорентийцы были довольны таким решением, однако страсти поутихли. Вряд ли те, кто до этого хулил Лоренцо, изменили свое мнение, но теперь им было благоразумнее придержать язык. На смену им пришли льстецы, благодаря которым у молодого Медичи недостатков с каждым днем становилось меньше, а достоинств больше. Слушая некоторых, можно было подумать, что Лоренцо с самого рождения избран Богом, чтобы править Флоренцией. Иные упрекали его в склонности к тиранству, но «это же безумие, – восклицал Маттео Пальмьери в своей аптеке, – когда сапожник начет разъяснять, как следует применять гражданские законы, управлять республикой и вести войны!». Лоренцо с юных лет готовился к правлению: он присутствовал на всех приемах иностранных послов, он представлял больного отца на разных торжествах в других государствах, причем нигде не осрамился и не уронил чести республики. Да, он молод, но больше иных старцев знает, что творится в Италии, и достаточно умен, чтобы вести флорентийский корабль по этому неспокойному морю.

Но для таких, как Маттео, главным было даже не это, а то, что Лоренцо блистал своей ученостью. Он знал в совершенстве латынь и греческий, любил книги, мог свободно беседовать с политиками и теологами, историками и философами, да к тому же сам был поэтом и новеллистом. Но это уже не было заслугой Подагрика: мудрый Козимо еще при своей жизни избрал в наставники внуку грека Аргирокуполо и итальянца Марсилио Фичино, людей выдающейся учености. Поэтому следовало ожидать, что Лоренцо продолжит дело «Отца отечества» и золотой век во Флоренции все-таки возродится.

В принципе, Сандро было все равно, вернется или нет золотой век. Если его что-либо и волновало, так это разговоры среди живописцев о равнодушии Лоренцо к их ремеслу. Хотя если он, как и его дед, будет в изобилии строить и украшать здания, работа найдется и для художников. Но сколько времени этого придется ждать?

Однако перемены в жизни Сандро начались быстро и неожиданно для него. Томмазо Содерини, который, как казалось, был всецело занят упрочением правления Лоренцо, вспомнил о молодом живописце. Умудренный житейским опытом глава купеческой гильдии понимал: чтобы владеть таким городом, как Флоренция, мало иметь деньги и способности – нужно еще быть воспетым пером и кистью. Так поступали многие князья, так действовал и «мудрый яко змий» Козимо, водя дружбу с архитекторами и живописцами, даря виллы философам и раздавая нищенствующим поэтам деньги для учебы в университете. Они-то и сделали его «Отцом отечества». Для простого люда, не особенно разбирающегося в героических одах и поэмах, но приученного церковью понимать язык живописи, кисть, вероятно, предпочтительнее пера. По здравому размышлению, Сандро вполне подходил для того, чтобы стать придворным живописцем Медичи. Побеседовав с ним, Томмазо уловил плохо скрываемое стремление стать первым, а такие люди, по его мнению, подобны воску, из которого умелые руки политика могут вылепить желаемое. Убедить Лоренцо приручить ученика Липпи, пользовавшегося когда-то покровительством Козимо, видимо, не составит труда.

Содерини не особенно разбирался в тонкостях живописи, но о Сандро уже говорили в городе как о подающем большие надежды художнике – его многочисленные Мадонны сделали свое дело. Это еще больше укрепило Томмазо в его намерении, и он начал действовать. Прежде всего, было желательно добиться для Сандро звания мастера. Какой-либо официальный заказ, означающий признание властями таланта живописца, значительно облегчал решение этой задачи. Здесь Томмазо мог посодействовать ему: купеческая гильдия решила украсить большой зал Торгового суда, где среди прочего предстояло изобразить четыре добродетели, столь ценимые флорентийскими купцами – Мудрость, Умеренность, Справедливость и Силу.

Это был почетный, хорошо оплачиваемый заказ. Исполнив его, можно было сразу подавать прошение о приеме в компанию святого Луки. Было, однако, серьезное препятствие: заказ этот уже отдали Пьетро Поллайоло. Но разве это могло остановить Томмазо? Он и помыслить не мог, что какой-то живописец

рискнет восстать против его воли. До сих пор его гильдия вершила все дела в городе, а в ней он был первым человеком. Ведь даже когда решался вопрос о Лоренцо, почти никто не посмел перечить ему, а врагов у Медичи среди собравшихся шестисот нобилей было немало. А тут какой-то Пьетро заупрямился – со всей решимостью заявил, что не намерен уступать, ведь договор уже подписан. Флорентийцы всегда считали делом чести держать данное ими слово. Неужели нравы пали так низко, что теперь уже ничто не свято? Впрочем, и Томмазо имел все основания жаловаться на падение нравов. Ишь распустились: каждый богомаз заявляет о своих правах! Однако младший Поллайоло нашел поддержку не только среди коллег-художников. Спор разгорался; к нему подключились и те, кто не имел никакого отношения к живописи. Речь ведь шла о принципе. Стоит только раз отступиться от правила, по которому договоры должны соблюдаться, и лавину уже не остановишь. Так Сандро, сам того не желая, оказался втянутым в конфликт, который, принимая во внимание темперамент флорентийцев, мог кончиться для него плачевно. Он уже готов был отступиться, но и Томмазо, и Пьетро закусили удила.

Но при всем своем всесилии Содерини все-таки не мог не прислушиваться к голосу народа, а в этом споре флорентийцы явно были не на его стороне. Им представился благоприятный повод доказать «жирным» свою силу, и они не преминули воспользоваться им. Томмазо пришлось отступить – после долгих переговоров с Пьетро он договорился с ним, что живописцы разделят заказ поровну. Боттичелли не получил бы и этого, если бы Антонио не уговорил брата проявить сговорчивость: ведь он имеет дело с самим Содерини, не стоит портить с ним отношения.

Казалось, теперь все были довольно. Томмазо вручил Сандро и Пьетро гравюры с изображением Сивилл, которые художники должны были использовать при написании своих аллегорий. Тем не менее Сандро понимал, что его положение не столь уж блестяще. Хотя он и был знаком со стилем, в котором работали братья Поллайоло, ему приходилось лишь догадываться, как Пьетро будет рисовать свои картины, – отныне вход в мастерскую соперника был для него закрыт. Конечно, можно было бы пойти на поклон, помириться, урегулировать ссору, но гордость ему не позволяла. Поэтому над доставшейся ему «Силой» он должен был работать, не видя, что же создает его соперник.

Но, пожалуй, не это было главным, что омрачало сейчас его жизнь: главным стало то, что прежние дружеские отношения с братьями-живописцами были бесповоротно разрушены. Хотя у

него и в мыслях не было отнимать у Пьетро заказ, но кто теперь этому поверит? В глазах у всех он оставался виновником затеянной ссоры. Более того, он восстановил против себя почти всех флорентийских живописцев, вставших на сторону младшего Поллайоло, а стало быть, его вступление в компанию святого Луки отодвигалось на неопределенное время. Быть же вне ее, полагаться лишь на свои собственные силы становилось все труднее; цехи и гильдии для того и создаются, чтобы отстаивать интересы и права своих членов, помогать им в трудных ситуациях. А здесь, как ни верти, он пошел против правил компании. Оставалось одно: работой доказать свое мастерство. Задача почти неразрешимая, ибо после случившегося ничего, кроме хулы, от своих будущих коллег он услышать не надеялся.

Ко всему прочему, теперь он не мог рассчитывать и на поддержку своего покровителя. Мир во Флоренции продолжался недолго. Весна 1470 года разрушила хрупкое спокойствие: зашевелились изгнанные противники Медичи. Бернардо Нарди, выступивший четыре года тому назад вместе с Никколо Содерини и Нерони против Подагрика, поднял восстание в Прато. Это было почти под боком – над Флоренцией нависла серьезная угроза, ибо повстанцам было достаточно одного-двух дней, чтобы появиться под ее стенами. А в городе у них было немало сторонников. Томмазо Содерини понимал, в каком опасном и двусмысленном положении он оказался. В начавшейся междоусобице он мог потерять не только состояние, но и жизнь. Дошли вести и о том, что Нерони собрал большое войско, чтобы поддержать Нарди, а потом вместе с ним идти на Флоренцию. Те, кто еще совсем недавно поддерживали Томмазо, на всякий случай отошли в сторону. И Сандро, поддавшись общим настроениям, счел за благо отказаться в пользу Пьетро от написания второй из своих аллегорий.

Он явно поторопился. Вскоре пришло сообщение от подесты (городского головы) Прато: он собственными силами разгромил восставших еще до прихода флорентийского войска. Теперь подеста спрашивал, что делать с попавшими в его руки заговорщиками. Лоренцо рекомендовал их повесить, и более сорока человек было предано смерти. И хотя в это время жестокостью мало кого можно было удивить, флорентийцы осудили действия своего правителя. Говорили о том, что распоряжение Лоренцо было вызвано страхом, впитанным им еще в детстве, когда семья Медичи была постоянно вынуждена опасаться того, что в ее дом вломятся многочисленные враги. Но большинство придерживалось иного мнения, и, может быть, они были правы: Лоренцо руководил не страх за свою жизнь, а

желание внушить его другим. Так поступали все тираны, и юный Лоренцо, начитавшись исторических хроник, взял из них не то, как древние отстаивали республику, а то, как враги демократии губили ее.

Выступление сторонников Содерини внесло охлаждение в отношения между Лоренцо и Томмазо. Похоже было, что Медичи усомнился в его преданности. Теперь Сандро был почти рад, что отказался продолжать работу для Торгового суда – не хватало еще попасть между двух жерновов! Для борьбы и интриг он не был создан и хотел только, чтобы его оставили в покое. Но «Силу» он все-таки закончил и сдал заказчику. Героиня картины восседала на резном троне с высокими подлокотниками, выписанном не менее тщательно, чем сама фигура – здесь сказывалось влияние Верроккьо с его суховатой точностью. Внутреннее напряжение Силы, нервность ее тонких рук, сжимающих меч, отражали уроки Антонио Поллайоло, а простоватое румяное лицо напоминало Мадонн Липпи. Даже золотых дел мастер Антонио виден в искусной отделке оружия синей эмалью, в передаче игры света на металле. Но нежно-печальная улыбка, изящный полуоборот тела, едва заметная отрешенность выражения – все это принадлежало Сандро и только ему.

Когда все четыре добродетели выставили в зале суда, стало ясно, что его аллегория выпадает из общего ряда. Не так чтобы очень, но все-таки она отличалась от работ младшего Поллайоло. И дело было не только в том, что живописцы писали свои работы, не общаясь друг с другом – просто Сандро в своем мастерстве обогнал Пьетро. Он стремился к этому и доказал, что в честной борьбе превзошел своего соперника. Можно было не кривя душой восторгаться этой величественной женщиной, восседающей на троне, ее гордо поднятой головой, прихотливой игрой света и тени. От фигуры исходили достоинство и уверенность в себе. Гравюры Сивилл, откровенно говоря, были здесь ни при чем: Сандро не следовал им так покорно, как это сделал Пьетро.

Но случилось то, что и следовало ожидать. Флорентийские живописцы не были на его стороне и не сказали о картине ни одного доброго слова. Пропорции явно не соблюдены – разве это Сила! Это же просто флорентийская девка, взгромоздившаяся на чужой трон! Почему эта идиотка держит скипетр на коленях? Это ведь все-таки не шутовская погремушка! И это были не самые худшие упреки, которые дошли до ушей Сандро. Зато коллеги сверх всякой меры хвалили аллегории Поллайоло. Ко всему прочему был пущен слух, что своей картиной Сандро стремился выслужиться перед Лоренцо, увековечив таким образом его

победу в Прато. Если и так, в этом не было ничего предосудительного: не он один поступал таким образом. Но Сандро, сам того не желая, нарушил корпоративную этику и теперь расплачивался за это. О приеме в компанию святого Луки пока что нечего было и мечтать.

Больше всех был опечален Мариано: такого поворота событий он не ожидал. Даже если его сын и прославил Лоренцо, то разве тем самым он совершил преступление? Ведь покровителей ищут все, без этого ремесленнику не прожить, будь он даже семи пядей во лбу. И что же это за коллеги, которые готовы перегрызть горло более удачливому собрату? Такого у них, кожевников, никогда не случалось. Всякое бывало, но в трудный час каждый мог рассчитывать на помощь и поддержку коллег. Делать, однако, нечего, нужно пережидать несчастливую полосу.

Как бы то ни было, старшины купеческой гильдии и приглашенные ими граждане, которые, по общему признанию, знали толк в живописи, высказались за то, чтобы принять и оплатить работу Сандро: выполнена она добротно, все требования соблюдены. Впервые он получил такие деньги. Но важнее золотых флоринов для него было приглашение братьев Медичи посетить их дом на виа Ларга. Двери палаццо правителей Флоренции, в принципе, были открыты для всех, но далеко не все удостаивались чести быть приглашенными во внутренние покои, в которых, как говорили в городе, собраны сказочные сокровища.

Во Флоренции не существовало живописца, который бы не мечтал увидеть знаменитые «доски Брунеллески». Не так давно умерший архитектор считался первооткрывателем линейной перспективы. «Доски» – две картины, одна из которых изображала площадь Синьории с дворцом и лоджией, а вторая – собор Сан-Джованни, служили для демонстрации его открытия. В них были отверстия, и если смотреть сквозь них на отражение «досок» в зеркале, то создавалась полная иллюзия реальности. Кроме того, Сандро надеялся, что ему покажут и работы его учителя Липпи. Да мало ли чего можно увидеть, будучи гостем Медичи!

Ему действительно показали «доски», – причем он был удивлен тем, что им не нашлось лучшего места, чем комната прислуги, – и картины фра Филиппо, и «Рождество» Гоццолли, и даже несколько старинных рукописей с миниатюрами. Слов нет, здесь было собрано все, что могло радовать глаз. Иначе и быть не могло: изысканный вкус хозяев был хорошо известен в городе, и ему безуспешно пытались подражать многие. Их потуги окружить себя подобием роскоши теперь казались Сандро жалкими, ибо эта роскошь походила на ту, в которую он сейчас окунулся, как Мадонна третьеразрядного живописца на творение Липпи. За

знаменитый стол Медичи, за которым собирались политики, философы и поэты, он на сей раз не был приглашен, так что не мог подтвердить, что у богатейших людей Флоренции в обычные дни подают самую простую пищу и дешевое вино, от которых отвернулся бы любой купец. Расположение Лоренцо и его брата Джулиано к молодому живописцу пока не простиралось столь далеко.

Они ограничились кратким разговором с ним о разных мелочах; так разговаривают с людьми, уступающими по уму и положению. Видя обоих братьев рядом, Сандро удивился прихоти природы, произведшей от одного корня столь несхожие ростки. Здесь он не был одинок в своих наблюдениях: это несходство поражало многих. В Лоренцо не было ничего от классической красоты: жидкие иссиня-черные волосы, тонкая верхняя губа, нависающий над ней ястребиный нос и темно-оливковое лицо. Он постоянно щурил глаза, ибо был близорук и при этом начисто лишен обоняния, от чего, пожалуй, страдал больше, чем из-за плохого зрения. Голос у него был неприятным, визгливым, режущим слух. Во всяком случае, он нисколько не походил на сына Солнца, то есть Аполлона, как назвал его однажды Фичино.

Полную противоположность брату являл Джулиано. По словам Полициано, «он был высокого роста, плотного телосложения с широкой и выдающейся вперед грудью; имел руки сильные и мускулистые, с крепкими суставами, поджарый живот, сильные бедра, немного полноватые икры ног, живые глаза черного цвета, острое зрение. Огромная копна черных длинных волос откидывалась со лба на затылок. Он был сведущ во всадническом деле и стрельбе, искусен в прыжках и гимнастике, просто обожал охоту». Но когда речь заходила о других достоинствах, то здесь Лоренцо во всем превосходил брата. Пусть природа обделила его красивой внешностью, одарив ею Джулиано, но взамен дала тактичность Козимо, осторожность Пьеро, ум Платона, стихотворный талант Петрарки. Древнегреческий мудрец будто о нем сказал: он походит на сосуд в форме сатира – снаружи безобразие, внутри благовоние.

Младший Медичи, похоже, не переоценивал своих способностей. Хотя он тоже писал стихи, умел красиво говорить, был учтивым и человечным, но политика ему претила. Как рассказывали люди, хорошо знавшие братьев, Лоренцо, согласно воле отца, предлагал Джулиано разделить с ним власть, но тот наотрез отказался: его-де больше влекут к себе радости Флоренции, а не ее заботы. С него довольно и того, что к нему тянется молодежь, а не умудренные опытом старцы, что он пользуется успехом у дам, а не у сенаторов, что его стихи читают

в кругу избранных, а не распевают всякий раз на карнавалах.

Мир нынешних владельцев палаццо на виа Ларга мало походил на тот, что окружал Сандро с детства. В нем было нечто манящее и вместе с тем внушающее страх – как бы не впасть в соблазн, не совершить непростительный грех. Наверное, то же чувствовал Адам, когда Ева протянула ему яблоко с древа познания. Сегодня этот мир не оттолкнул его, но и не подпустил близко. У кого просить совета, что делать дальше? Обращаться к отцу вряд ли имело смысл: если он станет рассуждать как ремесленник, то можно только радоваться, что такие влиятельные люди обратили на него внимание; стало быть, будут покровительствовать ему – огородят от невзгод и обеспечат заказами. Чего еще желать? Так сказал бы Мариано, будь он помоложе. Но сейчас, предавшись благочестивым размышлениям, он станет рассуждать: подобает ли христианину, готовящемуся предстать перед Всевышним, толкать отпрыска в омут пороков, где он наверняка погубит свою душу? Ведь за это с него, как с отца, сурово спросится.

Мариано смотрел на жизнь просто и доверял тому, что видел собственными глазами. Пусть толкуют, что у братьев Медичи больше достоинств, чем недостатков; мало ли кто увлекается сейчас язычеством, даже любимый Филипепи Боккаччо написал немало книг, где прославляет и невидимых богов, и нимф, и прочую нечисть. Став правителями города, Медичи обязательно принесут покаяние в прежних грехах, и все наладится. Только все это чепуха – им не дадут сделать это те, кто их окружает. Достаточно вспомнить о таком, с позволения сказать, наставнике, как Марсилио Фичино. Вот где корень всех зол! Надо же было проницательному Козимо откопать его в свое время в Болонье! Именно там «Отец отечества» встретил нищего студента, учившегося на врача и поразившего его острым умом, цепкой памятью и завидной логикой. Тогда-то он и уговорил его перебраться во Флоренцию и заняться философией. Было бы счастьем для города, если бы на этом все и кончилось. Так нет же, болонец будто околдовал Козимо: стал вхож в его семью и получил от него в подарок виллу Кареджи за стенами города, где можно было спокойно и без помех размышлять над тайнами бытия. Утверждали, что он знает наизусть всех языческих философов, считает христианскую веру несовершенной и советует дополнить ее учением Платона. Многие пытались с ним спорить – напрасно, ибо он был изворотлив, как змей, и столь же мудр и хитер, посему победить его в диспуте или в простом споре было невозможно. Но полагали, что разум его не от Бога, да и внешний его облик говорил за это: горбат, хром на правую ногу,

лицом безобразен. При встречах с ним Мариано на всякий случай шептал молитву против нечистой силы.

Под стать ему и другой друг Лоренцо, поэт Анджело Полициано – еще один пришелец, только не из Болоньи, а из Монтепульчано, что близ Сиены. Его тоже откопал Козимо: мальчишка привлек его тем, что играючи перевел несколько песен Гомеровой «Илиады» латинскими виршами. Он забрал его с собой во Флоренцию и оплатил его учебу. Полициано был самым младшим среди друзей Лоренцо – ему едва минуло шестнадцать лет. Чем больше перебирал в своей памяти Мариано рассказы, которых он наслушался об обитателях дома на виа Ларга, – достоверные или приукрашенные молвой, – тем больше не лежала его душа к тому, чтобы его сына втянули в эту компанию. Но, как кажется, Сандро был не прочь испытать новые ощущения.

Возможно, Мариано удержал бы его от искушений, но в это время он был занят переездом в новый, все-таки купленный им дом на виа Нуова (Новой улице). Приобрел он его скорее для сыновей, чем для себя, ибо не пристало им, добившимся более высокого положения, ютиться в квартале кожевников, среди всей этой вони и грязи. Сандро получил в доме мастерскую, просторную и светлую – отец все-таки надеялся, что он станет мастером. Но когда это случится, было трудно сказать: Сандро явно не торопился, его как будто устраивало положение подручного. Вроде бы он и не в воскресенье родился, как говорили во Флоренции, намекая на то, что тому или иному человеку не мешало бы быть порасторопнее и поумнее. У рожденных в этот день, по поверью, не хватало в мозгах соли, так как ею в воскресные дни не торговали, и поэтому они не блистали умом.

Но теперь все могло измениться. Во Флоренции любая, даже пустяшная новость, будто на крыльях, быстро облетает весь город, обрастая в большинстве случаев досужими домыслами. Подумаешь, событие – начинающий живописец посетил дом на виа Ларга и перебросился несколькими словами с его хозяевами! Но ведь это были Медичи, которые просто так ничего не делают. Значит, они положили глаз на новичка, собираются оказать ему покровительство; ведь их отменный вкус ко всему прекрасному был мерилом для прочих, ему следовали, его копировали. И к Сандро потянулись заказчики. Мадонны, сундуки-кассоне, спинки кроватей, дверцы шкафов – он ни от чего не отказывался.

Появлялись и новые пожелания. Из Нидерландов, например, пришла мода на портреты. Хотя там и жили варвары, но это новшество было воспринято Флоренцией благодаря своему удобству. Некоторые сумасброды и раньше, впадая в грех

гордыни, украшали стены своими изображениями на память потомкам. Потом они богатели или разорялись, покидая родовые гнезда; фрески со стен никуда не увозились, а новым владельцам они были ни к чему, и их благополучно сбивали. А вот если запечатлеть облик человека на доске, то ее можно и увезти, и передать в наследство, и подарить. Беда в том, что не каждый флорентийский живописец брался за такую работу – велик риск потратить зря время и материал. Ведь человек тщеславен и всегда желает выглядеть красивее и мудрее, чем он есть. К тому же одному нужно, чтобы его окружал пейзаж, другому дороже его домашнее убранство. Не угодишь – останешься с испорченной доской и без денег. Мало того, ославят как бездарного мазилу, ни на что не годного. Похоже, Сандро на возможные последствия было наплевать: цену себе он определял сам, и всякие там наветы его не страшили. Что же касается возможного безденежья, то отец всегда выручит – благо жили они по-прежнему вместе.

Надоедает рисовать одно и то же, пусть это и Мадонны, а здесь ему предлагалось нечто новое, где можно попробовать свои силы. Заказчики, правда, иногда попадались странные, с необычными желаниями. Молодой человек, обратившийся к нему по рекомендации Джулиано Медичи, захотел, например, чтобы по его изображению сразу было видно, что он искренний друг семейства Медичи. Поэту не стоило бы труда удовлетворить подобную причуду – слов для этого предостаточно, а живописцу приходится изрядно поломать голову, ведь красками душу не опишешь. Можно, конечно, изобразить благосостояние, буде такое желание высказано, или наделить красотой того, кто ею не блещет. Но чувства – любовь там или ненависть – это пока что превыше сил художника. Хотя некоторые пытались выразить их, заставляя нарисованные фигуры усердно жестикулировать, однако для портретов это не подходило. Своих Мадонн Сандро в последнее время писал в основном с полузакрытыми глазами. Каждому понятно: Дева Мария погрузилась в думы о будущих муках сына, она ведь знала, что ему предстоит, с самого момента его рождения.

На сей раз Сандро вышел из положения, вручив почитателю Медичи огромную медаль с изображением старого Козимо. Для этого пришлось отойти от уже сложившейся традиции – не выставлять напоказ руки портретируемого. Персонаж картины одет в темный бархатный плащ и красную шапочку, у него длинные кудри по моде флорентийской «золотой молодежи». Взгляд у него сосредоточенный, твердый, но черты лица чересчур женственны – скорее всего, художник поневоле смягчил их, повинуясь своей манере. Об этом говорит и «фирменная»

боттичеллиевская улыбка, играющая на губах поклонника Медичи. Уступкой школе «подражания природе» кажется тщательно выписанный пейзаж с зелеными лугами и извилистым течением Арно.

Писание портретов приносило дополнительный заработок, а времени занимало мало. Попадались, правда, заказчики, которые, гоняясь за модой, требовали изображать их на фоне чуть ли не райских кущей. Подобных «любителей природы» Сандро не особенно жаловал – слишком много хлопот со всеми этими листочками, цветочками, кустиками. Портьера, голая стена, а то и просто зачерненная доска – этого вполне достаточно; по его мнению, важнее всего лицо, а все остальное вряд ли нужно любящим родственникам или друзьям.

Удивительно, сколько тайных и явных друзей обретают те, кто добился власти! Не успел он закончить портрет юного почитателя Козимо, как к нему обратились монахини-августинки из монастыря Святой Елизаветы. Им срочно потребовалась Мадонна с изображениями Козьмы, то есть Козимо, и Дамиана, а также прочих святых по его выбору. Как и положено, за Деву Марию и этих двух святых цена была особая, уже сложившаяся. Что касается других праведников, то здесь пришлось поторговаться. Монахини упирали на то, что монастырь их бедный – устав не позволяет им стяжать богатства. Для кого эти сказки? Монастырь находится под покровительством Медичи, и именно они будут оплачивать заказ. Поломавшись для виду, Сандро согласился: в конечном счете важны не деньги, а известность. Конечно, обязательно найдутся такие, что разнесут его творения в пух и прах: конкурентов и завистников во Флоренции всегда хватает.

Если несколько Мадонн и портрет приверженца Медичи особых усилий от него не потребовали, то над алтарем для августинок ему пришлось поработать как следует – слишком большие надежды он возлагал на него и слишком уж хотел угодить изысканным вкусам своих сограждан. Тем, кто выше всего ставил «природу», алтарь должен был понравиться: фигуры выходили словно живые, как будто бы он списал их с реальных людей. Все должно быть как в жизни! Это требование, как казалось, становилось сейчас основным девизом флорентийских живописцев, и, стремясь завоевать себе место среди них, Сандро следовал или по крайней мере стремился следовать ему. На его картинах этого периода Мадонны все больше начинают походить на реальных женщин, которых он встречал на улицах Флоренции, а младенцы, которых они держали на руках, приобретали черты уличных сорванцов. На этот путь когда-то встал и Липпи, и все-

таки он предпочел бы больше полагаться на свою фантазию – только она в его понимании могла открыть путь к совершенной красоте, недостижимой цели всех живописцев. А пока приходилось смирять себя, зато у него не было недостатка в заказах.

Алтарь он отделывал со всей тщательностью, то целыми днями просиживая перед ним, то оставляя на некоторое время в покое, чтобы еще раз все хорошенько продумать и затем подправить уже сделанное. Но вскоре работу пришлось прервать на более длительное время. Весной 1471 года ожидался визит во Флоренцию миланского герцога Галеаццо Марии Сфорца и его супруги Боны Савойской. Вновь, как и всегда до этого, лучшие ремесленники города, в том числе и живописцы, были привлечены к украшению города по случаю столь знаменательного события. А здесь еще и случай был особенный: молодой герцог славился своим чрезмерным тщеславием, любил прихвастнуть богатством, и Флоренция не должна была ударить в грязь лицом. Принаряжалась Синьория, готовился к встрече Лоренцо, которому было поручено принимать высоких гостей от имени города. В трех церквях должны были состояться праздничные представления – моралите на темы Священного Писания, для которых требовались декорации и костюмы. Работы, одним словом, хватало на всех. Сандро тоже не остался без дела и был рад этому, ибо как истинный флорентиец не желал, чтобы его родной город в чем-либо уступил заносчивому Милану.

Приезда Галеаццо ожидали во время карнавальных празднеств, но он в силу каких-то причин все тянул со своим визитом и в результате появился в самый разгар Великого поста. Пожалуй, вся Флоренция собралась встречать его. Действительно, было на что посмотреть. Галеаццо прибыл в сопровождении огромной свиты: шеренга за шеренгой шествовали советники, придворные, вассалы, украшенные массивными золотыми цепями. Промаршировали ловчие и сокольничьи с собаками и обученными птицами. За ними следовало сто рыцарей, а уж пешего воинства никто не мог сосчитать. Да, недешево обойдется Флоренции этот визит! А ведь еще надо разместить две тысячи лошадей и сто мулов, позаботиться о том, чтобы двенадцать любовниц Сфорца, доставленных в обитых золотой парчой носилках, ни в чем не испытывали неудобства. Не дай бог прогневить их!

Синьория взяла на себя все расходы по приему этой орды, совершившей нашествие на город. А Лоренцо несколько месяцев занимался перестановками в своем дворце, расставляя накопленные его родом сокровища так, чтобы они обязательно

попались на глаза герцогской чете. Из кладовых извлекались скульптуры и картины, вазы и рукописи, драгоценные камни. Пусть миланцы увидят все это великолепие! Сандро несколько раз привлекали для совета, но всем распоряжался Верроккьо, вошедший в доверие к братьям Медичи. Андреа в отличие от многих других живописцев сохранил расположение к Боттичелли и после инцидента с росписью Торгового суда – им-то делить было нечего. При разборе картин Андреа обнаружил несколько работ фра Филиппо, но их нужно было подновить. А кто это еще мог сделать, кроме Сандро? Лоренцо, конечно, было не до живописцев, но все-таки Сандро удалось несколько раз переговорить с ним относительно убранства отдельных комнат палаццо. Из этих бесед Боттичелли вынес впечатление, что вкус правителя безупречен, и пожалел о том, что живопись так мало интересует его. Но главное, конечно, было в том, что у Медичи на него обратили внимание.

Внимание вниманием, но на сами торжества он допущен не был. Оставалось, как и большинству флорентийцев, лишь ловить вести, проникающие за стены дома на виа Ларга. Горожанам очень понравилось то, что Галеаццо был поражен тем богатством, которое предстало перед его глазами – Лоренцо добился своего и не посрамил чести Флоренции. Дошла до них и оценка увиденного, данная Сфорца: все его золото и парча – дерьмо по сравнению с такой роскошью… Так что было чем гордиться. Все восхваляли Лоренцо. И вдруг новость, которая обескуражила всех. Она была ужасной: несмотря на пост, в доме на виа Ларга подавали мясные блюда! Такого святотатства во Флоренции еще не бывало. Только больные по рецепту врача и с разрешения священника могли в пост вкушать мясной бульон. А здесь почти в открытую, на виду у всего города совершается страшный грех!

С церковных кафедр священники порицали Лоренцо и предсказывали всевозможные небесные кары. И возмездие не заставило себя долго ждать. Во время мистерии «Нисхождение Святого духа», которая разыгрывалась в церкви Санто-Спирито, от зажженных светильников возник пожар. В панике перед Божьим гневом миланские гости и допущенные на представление зрители разбежались в разные стороны. Ужас был столь велик, что никто не решился тушить огонь – Санто-Спирито сгорела дотла. Следствием этого стало недовольство против Лоренцо: эти Медичи доведут город до гибели! Галеаццо покинул Флоренцию раздосадованный: так хорошо все начиналось и так неудачно закончилось!

Эти настроения флорентийских граждан, конечно, очень скоро стали известны Лоренцо – ведь недаром же он содержал

десятки платных соглядатаев, которые докладывали ему обо всем происходящем и услышанном. Докладывали и о том, что его советники, которых он приглашал для обсуждения городских дел, недовольны его обхождением с ними: он беседует с ними, они ему излагают свое мнение, но очень редко он поступает так, как они предлагают, все делает по-своему. От советников, выражавших недовольство, правитель, как правило, избавлялся, отдалял от себя, посылал с какими-нибудь поручениями в другие города и страны, тем самым укрепляя в городе молву, что он стремится узурпировать власть.

Несмотря на всю свою молодость, Лоренцо понимал, как опасно такое убеждение; в истории его семьи было немало примеров, когда достаточно было малой искры, чтобы вызвать большие потрясения. А тут еще этот инцидент во время Великого поста! Все лето Лоренцо вместе с Томмазо Содерини был занят тем, чтобы основательно перетряхнуть городской совет, поставив на решающие посты верных ему людей. Когда же это ему удалось, он отправил и самого Содерини прочь с дипломатическим поручением. Теперь Лоренцо крепко держал в руках бразды правления в городе. Неожиданно для многих он проявил себя как искусный политик, достойный внук старого Козимо. Именно тогда его стали называть 7/ *Magnifico* – Великолепным, и скоро это прозвище почти вытеснило имя.

Поскольку все это время Лоренцо было не до живописи и поэзии, Сандро никто не тревожил, и он был доволен этим, без спешки завершив работу над алтарем для монастыря августинок. На сей раз он заслужил похвалы и одобрение коллег. «Мадонна с Козьмой и Дамианом» была выдержана в лучших традициях флорентийской школы: четкие контуры, придававшие картине вид барельефа, удачная композиция, фигуры, почти списанные с натуры. Святые Козьма и Дамиан в красных мантиях преклонили колени перед Мадонной, образуя вместе с ней треугольник – центр композиции. Слева от них стоит святая Мария Магдалина, держащая сосуд для благовоний, из которого она омывала ноги Христу. Справа – святая Екатерина Александрийская, которая опирается на колесо с шипами, орудие своего мученичества. Тут же помещены святые Иоанн Креститель и Франциск Ассизский – покровитель нищенствующих орденов, к которым относился и орден монахинь-августинок.

Всецело занятый своей работой, Сандро и внимания не обратил на событие, которое взволновало Флоренцию: 26 июля 1471 года умер папа Павел П. На площадях и в тавернах обсуждалась эта новость и высказывались самые различные предположения, кто же займет его место. Для Флоренции это

имело большое значение. Как сложатся отношения с новым папой? Если придет такой, который будет рассматривать Флоренцию как соперницу, городу грозят осложнения. Это была извечная проблема, которую всегда приходилось решать республике, если у соседей менялось правление. Только Медичи удавалось как-то улаживать все эти вопросы. И теперь надежды возлагались на Лоренцо. Но справится ли он? Его брат Джулиано как раз поехал в Милан с ответным визитом. Лоренцо же отправился в Пизу под предлогом открытия там университета, на деле же ради того, чтобы предотвратить ожидаемые волнения – пизанцы так и не смирились с зависимостью от Флоренции, и смена папы показалась им удобным случаем вернуть былую свободу.

Джулиано в Милане был устроен пышный торжественный прием, но возвратился он несколько озадаченный: несмотря на все дружелюбие, продемонстрированное Сфорца, он почувствовал неискренность и наигранность. Объяснял он это тем, что Лоренцо перестарался, когда принимал Галеаццо в своем доме. Теперь миланца терзает зависть, вызванная той роскошью, которую он увидел во Флоренции. Правда, герцог не выражал это прямо, но для Джулиано было вполне достаточно намеков. Теперь ко всему этому добавилась еще и смена папы. Возможно, что Милан и Рим объединятся против Флоренции. Папой стал 57-летний Франческо делла Ровере, принявший имя Сикста IV. На этот раз уже сам Лоренцо отправился в Рим на торжества по случаю его избрания. Вернулся он довольный: папа принял его благосклонно и даже поручил вести его финансовые дела. Что ни говори, а это большое доверие. Флорентийцы с облегчением вздохнули. Знать бы им всем, что произойдет через несколько лет!..

Конечно, Сандро был далек от всех этих тонких ходов политики. И если бы его спросили, что он об этом всем думает, он ответил бы, что всецело полагается на Синьорию и Лоренцо. Что же касается его, то он, как и большинство его сограждан, был занят собственными делами. Тем не менее тревога, витавшая в воздухе, передавалась и ему. Начали вспоминать Давида, одолевшего Голиафа, и Юдифь, сразившую Олоферна – любимых героев Флоренции. Видимо, не было ничего удивительного в том, что Сандро получил заказ написать картину, изображавшую подвиг Юдифи. А может быть, неизвестный заказчик преследовал и другую цель: подчеркнуть свое тираноборство, свою неприязнь к самоуверенному поведению Лоренцо. Во всяком случае, это была не икона, на которую можно молиться. Картина имела сокровенный смысл – это было ясно. Но Сандро не стремился проникнуть в эту тайну. Впервые он писал не Мадонну и не

святых, а историческую картину. Пусть те, кто разбирается в политике, ищут в этой картине потаенный смысл – для него важно доказать, что он заслужил право называться живописцем. Жаль только, что заказчик пожелал иметь картину малого размера, но Боттичелли удалось уговорить его на две картины, две дощечки небольшого размера – почти миниатюры для рукописи.

Эти небольшие картины отняли у Сандро гораздо больше времени, чем он ожидал. На одной из них он изобразил группу придворных, входящих в шатер и обнаруживающих там труп своего повелителя. Здесь он дал волю фантазии, нарядив персонажей в пышные восточные костюмы, и тем самым сделал шаг вперед в развитии живописи. До сих пор живописцы рисовали героев из любой страны и эпохи в тех же одеждах и с теми же чертами лица, что видели у своих современников. Боттичелли рассудил иначе, решив, что если уж придерживаться реальности, то героев нужно рядить в костюмы, соответствующие той эпохе, о которой ведется рассказ. Впоследствии это требование еще станет предметом ожесточенных споров. Будут приводиться доводы за и против, но победит его точка зрения.

Вторым значительным шагом вперед стала его попытка передать состояние людей, столкнувшихся с каким-то явлением. Правда, ужас, который он хотел изобразить на лицах соратников Олоферна, получился больше похожим на удивление, но не все дается сразу. Новым для Сандро было и то, что ему пришлось изображать обнаженное тело. Уроки, полученные у Верроккьо и братьев Поллайоло, не пропали даром, – анатомическое строение тела более или менее выдержано. Не нарушил он и законов перспективы: более того, усложнил себе задачу, развернув труп Олоферна под углом к зрителю. Лишь в одном он погрешил против истины: вряд ли такая небольшая лужица крови могла вытечь из перерубленной шеи. Но вида крови Сандро не переносил – это еще не раз отразится в его работах. Безусловно, этой картиной Боттичелли доказал, что он действительно стал большим мастером, прекрасно усвоившим достижения флорентийской живописи.

Во второй картине – «Возвращение Юдифи» – это удалось в меньшей степени. Юдифь, возвращающаяся в родной город вместе со служанкой, которая несет отрубленную голову Олоферна, все-таки очень смахивает на всех Мадонн, которых он рисовал до сих пор. Здесь Сандро ставил перед собою задачу передать человеческое тело в движении – ведь женщины должны бежать, опасаясь погони. Кое-как ему удалось изобразить это, и все-таки получилось, что Юдифь и ее служанка как бы парят над

землей. Для святых это еще подходило, но для простых смертных никак не годилось. Кроме того, ища способ передать движение, Сандро отсек одну из ног служанки краем картины. Эта одноногая служанка еще долго была предметом издевок со стороны его коллег. Вышел конфуз и с пропорциями: ноги и руки Юдифи оказались чрезмерно длинными, а талия расположена чересчур высоко. При всех достоинствах картина выглядела так, словно Сандро списал ее с миниатюры в какой-то старинной рукописи. И здесь уже не могли помочь ни умело выписанный пейзаж, будто подсмотренный им с вершины холмов, окружавших Флоренцию, ни причудливая игра солнечных бликов на одеждах девушек. Однако две эти картины свидетельствовали о том, что Сандро упорно искал свои собственные пути в живописи и уже нащупывал их. Авторитет старых мастеров был слишком велик, чтобы через него можно было с легкостью перешагнуть, но Сандро впервые заявил о себе как о «юноше ищущего ума», как позже охарактеризовал его Вазари.

Глава четвертая
Содружество сердца и разума

Обстановка во Флоренции тем временем складывалась так, что «Юдифь» Боттичелли действительно могла быть воспринята как призыв к борьбе против тирана. Лоренцо последовательно и беззастенчиво укреплял свою власть, практически отстранив от дел Синьорию. Почему-то все жребии на ответственные посты доставались его сторонникам. Поговаривали, что дело здесь нечисто и кто-то уж очень усердно помогает слепой Фортуне. Медичи приблизил к себе советников из людей незнатных и, следовательно, всецело преданных и лезших из кожи вон, чтобы угодить ему. Он плотно занялся делами города; те, кто надеялся, что дела принадлежащих ему банков и мастерских будут отвлекать его, жестоко ошиблись. Наняв толковых управляющих, Лоренцо развязал себе руки. Все чаще он принимал решения сам, подобно монарху, и особого восторга у флорентийцев такое поведение не вызывало. К тому же назревал новый конфликт, который непосредственно затрагивал братьев Медичи.

В 1470 году несколько флорентийских граждан добились у города Вольтерры лицензии на разработку квасцов, столь необходимых для производства кож. Но власти городка скоро смекнули, что, отдав столь богатый денежный источник в чужие руки, они совершили крупную ошибку. Договор их не устраивал, и они его аннулировали. Поскольку Вольтерра считалась владением Флоренции, обиженные купцы обратились в Синьорию с жалобой. Естественно, дело было решено в их пользу, ибо всем было прекрасно известно, что на самом деле лицензия принадлежит Медичи. Но при этом была сделана существенная оговорка: решение может вступить в силу лишь после утверждения его Лоренцо. Было ясно, что кто-то поставил его в весьма неудобное положение, но кто это сделал, осталось неизвестным. В результате граждане Вольтерры воспротивились тому, чтобы их спор с флорентийцами решал Медичи – ведь они тоже прекрасно знали, кто в действительности стоит за всем этим предприятием.

Все кончилось восстанием горожан против Флоренции. Два флорентийских гражданина погибли, дело принимало серьезный оборот. Городским властям, однако, удалось справиться с беспорядками, и они срочно отправили делегацию к Лоренцо с сообщением об этом, а также с заверением, что город сохраняет верность Синьории. Казалось, что дело урегулировано. Но

Лоренцо рассудил иначе: за непослушание Вольтерра должна быть наказана. Он настоял на том, чтобы в город были направлены войска. Командовал карательным отрядом кондотьер Федериго да Монтефельтро. Вольтерра была подвергнута осаде и 18 июня 1472 года взята штурмом по всем правилам военного искусства. На этом можно было бы и поставить точку, но Монтефельтро отдал город на поток и разграбление, как было принято поступать с побежденным противником. Это совершенно не входило в планы ни Синьории, ни Лоренцо, на которого теперь падало подозрение, что именно он отдал это распоряжение.

Положение было не из приятных. Лоренцо поспешил в Вольтерру, в которой уже несколько дней шли резня и грабежи. Ему удалось остановить их, после чего он из собственных средств возместил ущерб, нанесенный городу. Но это мало что изменило в создавшемся положении: он так и остался в памяти горожан как организатор и непосредственный виновник разыгравшейся трагедии. Эти события в глазах многих подтвердили подозрение, что Медичи, несмотря на все его заверения, действует не в интересах города, а в своих собственных, что он – тиран, вполне способный покуситься на республику. Именно Вольтерра была началом последующих грозных событий, их фундаментом.

Все эти события Сандро никоим образом не задели; каких-либо интересов в Вольтерре у него не было и быть не могло. Желания воспевать эту победу и славить Флоренцию у него также не появилось. Все понимали, что это не тот «подвиг», который мог вызвать восторг сограждан. Правда, Анджело Полициано собрался было писать поэму, воспевающую это событие, но вовремя опомнился. Встреча Лоренцо, возвратившегося из Вольтерры, была более чем прохладной. Правитель еще раз мог убедиться, как легко можно потерять завоеванное с трудом доверие. Теперь все оборачивалось не в его пользу. Что можно ожидать от человека, который вместе со своими друзьями-философами доказывает, что человек свободен в своих поступках и вправе поступать по собственному разумению? Вот и поступил! Не отсюда ли то беспутство, которое теперь процветает во Флоренции? Каждый творит то, что ему вздумается. А разве не к этому призывает сам Лоренцо в своих стихах – например, в этой «Вакхической песне», которую стали распевать не только во время карнавалов?

Ждать до завтра – заблужденье,
Не лишай себя отрад:
Днесь изведать наслажденье
Торопись и стар и млад.

Пусть, лаская слух и взгляд,
Праздник длится бесконечно:
В день грядущий веры нет…[4]

Чего после таких призывов можно ожидать? Они вели к тому, что вразумления старших не оказывали никакого воздействия. Над древними обычаями насмехались. Решения Синьории ни во что не ставились – ведь она сама склонилась перед волей Лоренцо. Цехи? Но и здесь происходило то же самое. Тот, кто разбогател, стремился обойтись без них, и это сходило с рук. С ужасом приверженцы освященных веками традиций и обычаев, устоявшегося образа жизни видели, как в город вторгаются новые и непонятные явления. Раньше люди стеснялись хвалиться своим благосостоянием, теперь же выставляли напоказ всю роскошь, растранжиривали богатства, нажитые целыми поколениями. Появились новоявленные богачи, которые, как казалось, видели смысл всей своей жизни в том, чтобы соревноваться в расточительстве с королями, князьями, герцогами. Пала мораль: дамы теперь появлялись в обществе в нарядах, выставлявших напоказ все их прелести, а юноши стали щеголять в рейтузах, скорее обнажавших, чем прикрывавших срам. На древние статуи чуть ли не молились, и Лоренцо радовался, словно несмышленое дитя, получая в подарок извлеченных из земли идолов. Он выставлял их в саду своего палаццо, чтобы все могли поглазеть на это бесстыдство.

Стоит ли после всего этого удивляться, что ежегодно 7 ноября в доме на виа Ларга отмечали «день Платона» и новоявленные язычники, собравшись за столом, читали «Пир» этого философа, в котором, как поговаривали в городе, прославлялись мужеложство и прочие непотребности? А некоторые живописцы под большим секретом рассказывали друзьям, что им предлагали – разумеется, за большие деньги, – рисовать в голом виде именитых гражданок. Попойки и драки стали обычным явлением. Переняв у богачей лозунг «все дозволено», простые горожане норовили доказать свою правоту кулаками. А что сделаешь, если городские власти не прилагали никаких усилий для наведения порядка? Видимо, действительно близилась последняя черта. Флоренция катилась к пропасти, но тем, кто собирался во дворце Медичи, и горя было мало. Проповеди уже не помогали – дьявол и его приспешники в городе были куда сильнее их. Наступали тревожные времена. Вольтерра, по-видимому, была лишь предтечей грядущих смут, ибо добром все это кончиться не могло.

Не только Сандро охватывало смятение чувств, не он один метался между старым, правильным, внушенным с детства и тем смутным, непонятным, неуклонно надвигающимся. Он то впадал в отчаяние, то истово молился о спасении своей заблудшей души. Каялся в не совершенных им грехах, а затем набрасывался на книги древних безбожников, стремясь понять тот мир, в который ему приоткрыли дверь. Его Мадонны становились все отрешеннее от этого мира; они так же, как и он, уходили в свои тайные думы. А спрос на них все рос, ибо они казались последней надеждой на спасение. Даже на церковь сейчас невозможно было положиться. Из Рима приходили малоутешительные вести – сам первосвященник все больше утопал в грехах. Он открыто занимался стяжательством, беззастенчиво торговал должностями, выгодно пристраивал своих многочисленных родственников. Подобно темным и неразумным мирянам, не ведающим, что творят, он тоже бросился собирать картины и статуи, тратя на это деньги, собранные для нужд церкви. Сикст IV все было мало, он требовал больше, неотвратимо погружаясь в трясину греха сам и увлекая за собою всю церковь. Так что Мадонны действительно были нужны, но способны ли они спасти погрязший в грехе мир?

Издавна во Флоренции в Божьей Матери видели заступницу человечества. Никто не мог сказать, как и когда родилась эта вера, кто решил, что Христос будет жестоким судьей на последнем страшном судилище, сторицей воздавая людям за те мучения, которые они ему причинили. Спастись можно было, только прибегнув к покровительству Пречистой Девы. Люди ждали от нее милосердия, нежности, доброты. Недаром Мадонны Липпи походили на нежных заботливых матерей, стремящихся любой ценой оградить свое чадо от тягот жизни. Фра Филиппо понимал дух времени и знал цену участия в этом суровом мире. Свое умение и веру он передал ученику. За свою жизнь Сандро успел написать около сотни Мадонн, совершенствуясь в мастерстве от одной картины к другой. Христос – грозный судия, – казалось, мало интересовал художника; его властно притягивали нежность, всепрощение, вечная женственность.

Написанная в это жестокое время «Мадонна с причастием» не напоминает прежних его Мадонн. На этой картине ангел подносит Марии пучок колосьев и гроздь винограда – тело и кровь Христову. Все действующие лица поглощены этим страшным даром, их глаза прикованы к нему, их мысли заняты им. Никому нет дела до зрителей: все изображенные всецело захвачены грозным предзнаменованием. Сандро усиливает символику картины, укутав младенца Христа в простынку, намекающую на саван. Да, это совершенно другая Мадонна,

непохожая на тех, что были написаны им ранее. Она тоже в смятении, она так же одинока в этом мире.

Картины, написанные Сандро в этот период, все меньше подвергаются критике со стороны его коллег; конфликт с Пьетро Поллайоло, кажется, уже забыт. Во Флоренции Сандро приобретает известность. В заказах у него нет недостатка, однако он по-прежнему не заламывает за свои картины большие суммы. Похоже, он не знает цену деньгам, они не интересуют его. Может быть, это боязнь того, что его могут обвинить в корыстолюбии – грехе, которого он боится столь же сильно, как и гордыни. А может быть, просто потому, что он все еще живет у отца и Мариано по-прежнему считает сына непрактичным, не от мира сего, и прощает ему многое, чего не простил бы никому другому. Он предоставил ему мастерскую в своем доме и в трудные времена поддерживает своими средствами.

Но Мариано уже стар. Все больше он задумывается над тем, как будет жить Сандро, если он умрет. Единственный выход он видит в том, чтобы сын вступил в гильдию живописцев. Пусть эта гильдия не столь могущественна и богата, как другие, но все-таки поможет в трудную минуту. Человек старого закала, Мариано все еще свято верит в дух коллегиальности и взаимопомощи, который характеризовал цехи его молодости. Он заинтересован в этом еще и потому, что уверен: Сандро никогда не накопит денег, чтобы иметь сносную жизнь в старости. В этом он уже убедился. Но Сандро остается глух к его советам и увещеваниям: он не желает никому подчиняться, хочет быть свободным. Его тоже коснулись те изменения, которые произошли во Флоренции. Но желание – это одно, а жизнь – совсем другое. И он тоже обязан подчиняться пока еще существующим цеховым правилам. Ему теперь нужны ученики, помощники, но он не может их иметь, не став мастером. Это закон, который нельзя преступить. Власти и так закрыли глаза на то, что у него собственная мастерская, которую ему тоже не положено иметь.

В том же 1472 году он, наконец, решается вступить в компанию святого Луки. Коллеги не возражают: Боттичелли заслужил того, чтобы быть принятым в их общество. На традиционной пирушке, устроенной для членов гильдии новоиспеченным мастером, он слышит немало лестных слов в свой адрес. Его работы теперь считаются достойными того, чтобы их восхвалять. Вспоминают Липпи и многих других, уже ушедших. Некоторые доходят до того, что прочат Сандро великую славу. Конечно, это очень лестно, только бы не поддаться гордыне. Но тем не менее голова кружится от похвал – он уже чувствует себя первым живописцем Флоренции. Да что там

Флоренции – всей Италии! В том же году в братство живописцев вступает и Леонардо да Винчи. Это на какое-то время задевает самолюбие Боттичелли: ведь этот выскочка намного моложе его. Да и что он создал за это время? Совсем недавно Сандро учил его, как надо рисовать, и надо же – теперь он тоже мастер и может общаться с ним как с равным!

Наконец-то Мариано мог быть доволен. В его представлении, сын наконец-то обеспечил свое будущее. Что касается самого Сандро, то ему, по сути дела, было безразлично, признано или нет за ним официальное звание мастера. Через это нужно было пройти, и он сделал это. Но преимущество по сравнению с прошлым все-таки было: теперь он, не таясь, мог содержать собственную мастерскую и набирать себе столько учеников, сколько ему заблагорассудится. Это было сейчас немаловажно, ибо число заказов росло, а помощники снимали с него необходимость выполнения подготовительных работ. Только бы подобрать таких, кто действительно был бы способен стать живописцем!

Большие надежды он возлагал на Филиппино Липпи, который после завершения фресок в Сполето осенью 1471 года наконец-то объявился во Флоренции и, выполняя последнюю волю отца, пришел к Боттичелли, чтобы продолжить учебу. Сам того не зная, он поставил Сандро в трудное положение: ведь тот еще не был мастером, и Филиппино не мог жить у него непонятно на каком положении. Но не это, пожалуй, было главным. Характер у Филиппино был не из легких, и он наверняка задавал себе вопрос: чему он может научиться у какого-то подмастерья и почему отец избрал ему в наставники этого живописца, который еще и сам-то толком не устроен? Младшему Липпи не особенно хотелось возиться с копированием чужих Мадонн. Несмотря на то что ему было всего лишь пятнадцать лет, он уже многое понимал и умел в живописи. Он хотел большего – и не когда-нибудь, а сейчас. Он не скрывал своей заветной мечты завершить фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи в Санта-Мария дель Кармине. Сандро вспоминал, как отец ФиЛиппино считал непозволительной дерзостью прикоснуться к этому творению. Но удивительным было другое: спустя десять лет Филиппино действительно осуществил свой замысел.

Если уж говорить откровенно, то младшему Липпи действительно нечему было учиться у Сандро. То, что тот сейчас мог ему дать, Филиппино давно уже слышал от своего отца, когда получал от него первые уроки живописи. Кроме того, его абсолютно не привлекали Мадонны, которых писал его наставник; он желал рисовать исторические картины и уж во

всяком случае не расписывать сундуки и спинки стульев, чем не брезговал Сандро. Если Боттичелли предпочитал идиллию, то Филиппино больше по душе была трагедия. В этом он походил на Сандро во время его ученичества. Так же, как и он, Филиппино хотел научиться изображать чувства человека, но здесь Сандро мало чем мог помочь ему, ибо сам только еще учился этому. Было ясно, что очень скоро Липпи покинет его и отправится искать нового учителя. Но мог ли Сандро осуждать его за это? Ведь и он в свое время поступил точно так же.

Что бы там ни было в дальнейшем, но сейчас пребывание Филиппино в его мастерской было весьма кстати, ибо юноша снял с него необходимость заниматься копированием собственных Мадонн и дал возможность уделять больше времени другим работам. Что касается Мадонн, то он, несмотря на молодость Липпи, предоставил ему полную свободу вносить изменения в их изображения. В городе продолжала бушевать мода на портреты, которые бросились заказывать все подряд. Раньше флорентийцы не были столь тщеславны, удовлетворяясь тем, что их изображения помещались на алтарях, написанных по их заказу. Но и там знатные купцы и их менее знатные домочадцы скромно жались где-нибудь в сторонке с выражением благочестивого смирения на лицах. Теперь же, когда город, как говорили, переживал падение нравов, когда скромность была не в почете, все стремились запечатлеть свой образ на века.

Сандро писал портреты с охотой – в его творчестве наступил период, когда он особенно интересовался изображением человека и искал типажи для будущих картин, поддавшись новому требованию флорентийских живописцев: все должно быть как в жизни. Он преуспел и в этом, достигая большого сходства с оригиналом; его портреты стяжали не меньшую известность, чем изображения Мадонн. Смеральда Бандинелли, например, пришла в восторг, увидев свой портрет. Правда, портрет ее супруга ей не особенно понравился – почтенный купец был явно староват. Но это ведь не от художника зависит, тут все претензии к Господу Богу и к судьбе, заставляющей молодых красавиц выходить за набитых деньгами старцев!

Увлечение портретной живописью длилось не так уж долго. Виною этому было именно требование писать все так, как это выглядит в действительности. Нет, Сандро этого было мало – ему нужно было поле для фантазии, а разве его найдешь в точном копировании натуры? И снова он в поисках, которые пока не приносят результатов, так как он сам не знает – чего он хочет и что ему надо. Копировать жизнь для него так же скучно, как копировать собственных Мадонн.

И как раз в это время – совершенно неожиданный заказ. Купеческое семейство Пуччи желает, чтобы он написал «Поклонение волхвов». Хотя, в принципе, это та же Мадонна – она должна находиться в центре картины, – зато какие возможности проявить свою фантазию в изображении поклоняющихся! Ведь умудрился же один из художников разместить на подобной картине почти всех участников многолюдного Флорентийского собора! В семействе Пуччи, правда, домочадцев и знакомых значительно поменьше, но все-таки вполне достаточно. К тому же он до сих пор подобных картин не рисовал, не грех попробовать свои силы. Привлекает его и другое – картина должна иметь круглую форму, в Италии такие называют «тондо». Говорят, что моду на такие картины первым ввел Филиппо Липпи – может быть, именно поэтому Пуччи и обратились к нему, его ученику. Но при нем фра Филиппо таких картин не рисовал, хотя и много о них говорил. Главная трудность здесь состоит в том, чтобы правильно построить композицию. Если это не удастся, вся работа пойдет насмарку. Немногие живописцы берутся за тондо, это слишком трудно. А он взялся – хотел испробовать свои силы.

Работа спорилась. Как и предполагалось, Пуччи пожелал видеть на картине себя и всех родственников. Главная трудность в том, что в его мастерской теперь толпится масса людей, желающих быть запечатленными на память потомкам. Приходят они почему-то все сразу, и их не убедишь соблюдать хотя бы какую-нибудь очередность. Похоже, они боятся, что другие оттеснят их на задний план или вовсе выпихнут за край! Пуччи потребовал, чтобы на картине был изображен прекрасный ландшафт. Купчина слышал, что это сейчас очень модно. Что ж, и эту просьбу можно удовлетворить, особого труда для Сандро это не составит. Но дальше – больше. Нужно еще запечатлеть и обезьянку – любимицу семейства, и карлика, который живет у Пуччи на положении шута. Воля заказчика – закон, это Сандро уже хорошо усвоил. Несмотря на все эти требования, работал он охотно и с радостью. Думал, что закончит быстро, но из-за бесконечных условий заказчика картина заняла гораздо больше времени, чем предполагалось. Все-таки к Рождеству она была готова. Пуччи остался доволен, но сверх оговоренной платы ничего не заплатил. Тем не менее Сандро был удовлетворен: картина вышла радостной, светлой, будто карнавал во Флоренции. Ею мог бы гордиться любой мастер.

1472 год для Боттичелли был во всех отношениях успешным. Одно лишь событие омрачало радость – к концу года от него ушел Филиппино. Но этого и следовало ожидать. Ведь и он сам менял своих учителей и стремился к самостоятельности, полагая,

что мало кто способен его чему-либо обучить. Филиппино тоже ушел искать мастера, который сможет дать ему больше, чем ученик его отца. Как говорится, Бог в помощь! Пишет он, пожалуй, столь же хорошо, как и Сандро. Это он доказал, когда учитель обращался к нему за помощью, работая над «Поклонением» для Пуччи. А портреты ему неохота рисовать – он ведь создан для того, чтобы писать исторические картины, да и какой заказчик допустит, чтобы его изображал не мастер, а его ученик? Что касается картин исторических, на сюжеты из Библии и житий святых, то таких заказов у Сандро нет и вряд ли в ближайшее время предвидятся: он ведь певец Мадонн, такая уж за ним закрепилась слава. Фресок ему тоже не заказывают. А Филиппино явно надеялся, что у Сандро он сможет усовершенствоваться в этом виде живописи; ведь говорят, что тот, кто не владеет этим мастерством, и художником-то считаться не может. А что он нашел в мастерской Сандро? Мадонны, портреты, даже спинки стульев – ничего стоящего. И Сандро понимает его. Он и сам бы не прочь поработать над фресками, но никто к нему с таким заказом не обращается, а навязываться самому не позволяет гордость.

Тем не менее он решился. И хорошо, что Филиппино покинул его, а то бы стал свидетелем его позора. Во Флоренции получить заказ на фрески было не так просто, хотя церквям и требовались такие мастера. Но, видимо, молодой живописец внушал им недоверие. Может быть, в другое время к нему бы и обратились – например, когда потребуется расписывать сгоревшую церковь Санто-Спирито. Но когда ее еще восстановят? Работы продвигаются ни шатко ни валко, хотя Лоренцо, чтобы загладить свою вину, выделяет значительные суммы. Может быть, и к лучшему, что работы идут так медленно: он успеет проявить себя, и тогда уж к нему точно обратятся!

Сандро с радостью воспринял весть о том, что в Пизе собираются украсить фресками городской собор. Пиза не Флоренция – живописцы там наперечет, а из других городов туда ехать не желали. В представлении Сандро, как и большинства флорентийцев, Пиза была страшным захолустьем. Да и какой город вообще мог сравниться с красавицей Флоренцией? Решение было принято сразу – он едет в Пизу. Там будет достаточной рекомендацией то, что он живописец из Флоренции и ко всему прочему ученик самого фра Филиппе.

Он не учел одного: в Пизе флорентийцев терпеть не могли еще с тех пор, когда в начале века бывший вольный город был присоединен к их владениям. Эта ненависть никогда не угасала, а уж после волнений в Прато и Вольтерре она могла вылиться в

восстание против флорентийцев. Лоренцо, может быть, первым из всех предугадал такую возможность и энергично предпринимал усилия, чтобы не допустить отделения Пизы. Что такое Флоренция без этого портового города? Да с ней никто и считаться не будет! Поэтому и метался Лоренцо между Флоренцией и Пизой, стремясь всеми средствами показать, что заботится о нуждах соседей. Узнав, что Пизанский университет приходит в упадок, он тотчас же отправился туда и, не жалея собственных средств, постарался как-то исправить положение. А чего было проще – закрыть этот университет, перевести его во Флоренцию и дело с концом. Так ему и советовали, но он не согласился. Более того, купил в Пизе дом, будто собирался обосноваться там надолго. Но кто же ему это позволит – он нужен во Флоренции! Дом пустовал, но Лоренцо время от времени наезжал в Пизу в сопровождении своих друзей-неоплатоников. Устраивал диспуты, ублажал отцов города. Он и сейчас был там, и Сандро надеялся, что и его приезд будет весьма кстати: Лоренцо может рекомендовать его как известного флорентийского живописца. А что, разве он не известен?

На дворе стоял промозглый январь 1473 года. В такое время года ни один здравомыслящий флорентиец без особой надобности город не покинет. А он поехал, уповая на Фортуну, а больше все-таки на Лоренцо, который должен был помочь ему. Когда он прибыл, приор собора только пожал плечами, когда он назвал свое имя: нет, не слышал о таком и работ его, естественно, не видел. Разыскал Лоренцо, и тот искренне удивился, кто и зачем направил сюда художника. Дело в том, что он и приехал-то в Пизу для того, чтобы рекомендовать для росписи собора Беноццо Гоццоли – семейного живописца Медичи, написавшего для них множество картин, включая знаменитое «Поклонение волхвов». Тягаться с таким конкурентом, конечно, было бесполезно. Лоренцо, правда, предлагал: может быть, Сандро пойдет Беноццо в помощники? Ну нет, он не какой-нибудь подмастерье, и не для того он проделал этот трудный путь, чтобы снова быть у кого-то на подхвате. Боттичелли собрал свои вещи и отбыл назад во Флоренцию. Его время еще придет!

Нельзя было сказать, что он покидал Пизу в прекрасном расположении духа. К тому же погода была отвратительной: дождь лил непрерывно, и он промок до нитки. Еще не хватало заболеть! Он был зол и на пизанцев, которых по глупости можно было сравнить лишь с сиенцами – они даже не предложили ему показать его работы, не поинтересовались, как он собирается расписывать собор, а с ходу отвергли его как какого-нибудь попрошайку! Да и Лоренцо хорош – правду говорят, что он

ровным счетом ничего не понимает в живописи. Политика да древние рукописи – вот его стихия. И нечего изображать из себя знатока искусства!

Но по мере приближения к Флоренции злость проходила. Ведь ничего страшного не произошло: отказ даже пойдет ему на пользу. Ему надо заняться оборудованием собственной мастерской. Заказы у него будут. Воистину отец был прав, когда говорил, что тщеславие – это один из самых больших грехов. Оно туманит взгляд, и все предстает в неправильном свете. Он же, после того как этот мальчишка Филиппино заговорил о фресках, как безумец, бросился на край света. А Лоренцо сделал лишь то, что сделал бы любой на его месте: рекомендовал того, кого больше знал, в ком был уверен, что тот не подведет его и послужит делу умиротворения пизанцев. Нужно подождать, и все станет на те места, на которые положено. Во Флоренции он все-таки уже известен, и надо ценить то, что имеешь.

Действительно, вскоре после возвращения из Пизы у него произошла встреча, имевшая важные последствия. Молодого живописца вновь пригласили в дом Медичи на виа Ларга – якобы для того, чтобы оценить какую-то древнюю скульптуру, присланную в подарок Лоренцо. Сандро мямлил нечто глубокомысленное, рассматривая полуразбитую статую какого-то греческого бога, ровным счетом ничего ему не говорящую. Лоренцо видел, конечно, что толку с него мало, а по всей вероятности, знал это, когда еще только приглашал его зайти в палаццо Медичи. Но почему-то ему пришла в голову мысль привлечь перспективного художника к себе. Возможно, певец Мадонн с его чистыми красками и гармоничными линиями показался ему подходящим на роль «придворного живописца» вместо стареющего Гоццоли. А может, его привлекли просто за компанию с другими талантами. Как бы то ни было, произошло то, чего меньше всего ожидал Сандро – он получил приглашение бывать на заседаниях Платоновской академии. Был бы рядом отец, он бы посоветовал под каким-нибудь предлогом уклониться от этой любезности. Но Мариано рядом не оказалось, а оскорблять таких высоких господ, как Лоренцо, отказом во Флоренции не рекомендовалось. Сандро поблагодарил и тем самым сделал первый шаг на том пути, который, по мнению набожного Мариано, прямехенько вел в ад. Но дело было сделано.

Когда Пальмьери впервые ввел его в дом Медичи, Сандро еще думал, что легко может покинуть его. И, после того как Лоренцо в Пизе отказался помочь ему, он «твердо» решил, что с правителем и его окружением навсегда покончено – он обойдется без них! Но теперь ему вряд ли удастся отойти в сторону. Дело не только в

том, что его брал под покровительство сам Лоренцо, а это значило и заказы, и уважение в городе. Его влекло еще и другое – возможность познать премудрости, о которых с высокомерным видом толковали иные его знакомцы. Неужели он глупее их?

Оказалось, что академия собирается отнюдь не в доме Лоренцо. В основном она заседала у Фичино, который, по всей видимости, был ее душой. Когда наступали теплые весенние дни, как сейчас, все они перебирались за город на виллу философа в Кареджи, подаренную ему Медичи. У самого Лоренцо собирались редко – у него не всегда было время заниматься делами, далекими от политики. Лишь летом он присоединялся к ним, уезжая за город. Так повелось с давних пор, ибо летом во Флоренции до невозможности жарко и шумно. Им же для их разговоров и размышлений нужны были прохлада и тишина. Расхаживая под сенью могучих платанов, академики, подражая древним грекам, говорили о стародавних временах, декламировали стихи – свои и чужие, решали сложные философские вопросы. В этом проходило их время, и Сандро поражался такому времяпровождению, недоступному никакому ремесленнику: он бы вмиг разорился. Недаром Мариано упрекал их всех в безделье.

Похоже было, что и Лоренцо не одобряет такой образ жизни. Он редко появлялся среди академиков. Не только коварство врагов Флоренции и городские дрязги отвлекали его – на своей вилле он уделял немало времени крестьянскому труду. Хотя его друзья и говаривали, что он тем самым подражает древним поэтам и философам, его увлечение было не показным, а истинным, и это удивляло многих. Он с охотой ухаживал за виноградником, сам возился со скотиной. Это хоть как-то отвлекало его ум от дел сложных, запутанных и часто неблагодарных. Прав был Альберти, который писал: «Загородный дом – это добрый и верный друг. Если ты с любовью выберешь правильное время, то он не только исполнит любое твое желание, но и поднесет тебе подарок за подарком: весной – зеленеющие деревья и пение птиц, осенью – приятный труд, приносящий плоды. В течение всего года он будет утолять твои нужды». Все академики пользовались этими благами, и теперь Сандро вовлекался в их круг.

Марсилио Фичино по-прежнему был среди них непререкаемым авторитетом. К нему обращались за советами и разъяснениями, и последнее слово всегда оставалось за ним. Но Сандро был больше поражен другим: здесь никто не боялся высказывать собственное мнение. Никто не ставил себя выше других, как частенько бывало среди его коллег, не потешался над

говорившим лишь потому, что тот излагал иные взгляды на вещи. И Сандро мог бы принимать участие в этих ученых беседах, но пока он еще стеснялся. А так хотелось узнать, что они думают о живописи! Но беда заключалась в том, что в латыни он был не особенно силен, а по-гречески вообще понимал с пятого на десятое. Правда, он начал учить оба этих языка, еще когда впервые попал в палаццо на виа Ларга. Но где ему было сравниться с теми, кто всю свою жизнь посвятил древностям!

Теперь предстояло начинать все сызнова. Иначе нельзя: его новые друзья, видимо, считали, что им, поклонникам Платона, не пристало изъясняться на каком-то варварском наречии, хотя они занимались и тосканским говором. Удивляться было нечего – новая мода. Даже мать Лоренцо Лукреция Мария Торнабуони говорила в обществе только по-гречески, а в некоторых флорентийских домах брали штраф с гостей, если кто-нибудь из них неосторожно заговаривал на «языке улицы».

Вот по этой причине Сандро пока еще не мог принимать участия в диспутах, но жадно прислушивался ко всему, о чем велись беседы на вилле Фичино. Да и знаний у него было маловато. Со временем он начал постигать премудрости мифологии древних, однако с философией дела шли труднее. Но даже это придавало ему уверенности, ведь еще совсем недавно он боялся, что никогда ничего не поймет. Ему тогда казалось, что эти взрослые люди играют в какую-то странную игру, придумав ей название «золотой век». Об этом веке академики говорили постоянно и ликовали как малые дети, услышавшие занимательную сказку, не забывая восхвалять Лоренцо, который вернул этот самый золотой век. Сандро не раз слышал, как Фичино в упоении восклицал: «Этот век воистину золотой, отбрасывающий свой блеск на свободные искусства, столь долго пребывавшие в темноте – на грамматику, поэтику и риторику, на живопись, архитектуру и скульптуру, на музыку и пение под аккомпанемент древней орфической лиры. Все они расцветают во Флоренции!» И Сандро был рад, что он, принятый в их компанию, тоже способствует распространению в родном городе просвещения.

В том, что касается искусств, Фичино был безусловно прав. Никогда еще Флоренция не переживала такого их расцвета. И дело не только в одном Лоренцо, о котором иногда говорили, что он содержит за свой счет, кормя, одевая и обувая, целую свору мудрецов и примазавшихся к ним лжефилософов и псевдопоэтов. Впрочем, в последнем завистники были неправы: Лоренцо без особого труда разоблачал проходимцев. В этом ему помогал отменный вкус, данный, казалось, самой природой и обостренный

воспитанием. То, что он хвалил, безусловно заслуживало внимания, и если он поддерживал живописца или поэта, то их будущее было гарантировано. Этим безошибочным вкусом он отличался от тех же Строцци, Альбицци, Торнабуони и других магнатов, которые, соревнуясь с Медичи, тоже поддерживали философов, живописцев и поэтов. И у них в домах велись многочасовые диспуты об искусстве, ритмике стихов, древних рукописях и о многом другом, включая астрологию и черную магию. Но всем им, конечно, было весьма далеко до Лоренцо и его Платоновской академии.

Сандро казалось невероятным, что человек может знать столько, сколько знал Лоренцо. Временами он ловил себя на мысли, что Медичи судит обо всем лишь с чужих слов, но всякий раз убеждался в своей неправоте. Тем не менее было странно, что Лоренцо откровенно предпочитал скульптуре камеи и геммы, а великолепным картинам, переполнявшим его дворец, – миниатюры из старинных рукописей. Восхваляя учение Платона, он оставался добрым христианином и, следуя примеру деда Козимо, время от времени удалялся в монастырь Сан-Марко, где в келье, расписанной фра Анджелико, предавался молитвам и размышлениям. Казалось, Лоренцо противоречив во всем: доходящая до грубости откровенность и изысканность манер, понимание возвышенной поэзии и любовь к скабрезным анекдотам, благоговение перед матерью и жестокость к другим женщинам, в том числе и к своей жене. Но, видимо, таков уж был этот век, когда красота и безобразие мирно уживались рядом.

В палаццо на виа Ларга больше философствовали, а о живописи – к великому разочарованию Сандро – говорили редко, хотя тот же Фичино прекрасно разбирался в ней. Находясь всеми своими помыслами в далекой древности и преклоняясь перед ней, они больше рассуждали о давно умерших мастерах, чем о живых. Со времен Козимо, много строившего и любившего говорить с зодчими, в академии с удовольствием обсуждали архитектуру. Многие ее члены вместе с архитекторами облазили римские развалины, измеряли и устанавливали соотношения размеров. Они назубок знали Витрувия и, подобно Альберти, были твердо убеждены в том, что стоит только как следует покопаться в древних манускриптах и можно будет найти ответы на все вопросы: как ваять статуи, писать картины, строить дворцы и храмы. Они досконально исследовали барельефы, гробницы, обломки статуй, дошедшие из глубины веков. Истинным праздником для живописцев и скульпторов Флоренции бывали дни, когда во дворец Медичи привозили новую древность, откопанную на окрестных полях или купленную за границей.

Тогда все они устремлялись в дворцовый сад, где реликвия выставлялась на всеобщее обозрение, и спорили до хрипоты о ее достоинствах и недостатках.

Здесь тоже говорили о пропорциях и перспективе. Фичино, превосходно знавший не только Платона, но и Пифагора, восхвалял число и меру, форму и гармонию. Он доказывал, что живопись должна быть светлой и радостной. Сандро, с детства приученный к тому, что любая картина, любой алтарь должны служить определенной цели – поучать, хвалить или порицать, – с удивлением узнал на виа Ларга, что живопись может создаваться просто ради удовольствия. Вот с этим он никак не мог согласиться: ведь сами же эти политики и философы говорили о том, что картина – это книга для неграмотных. Чему может научить ландшафт, без которого теперь не может обойтись ни один портрет? Что касается его, то любому ландшафту он предпочитает фон, состоящий из руин и зданий. Вот где можно показать и владение линией, и знание пропорций!

Иногда, вычитав в очередном разваливающемся от старости манускрипте описание картин античных мастеров Апеллеса или Зевксиса, друзья Лоренцо пытались побудить его рисовать на те же темы, подолгу разъясняя символику подобных произведений. Сандро внимательно выслушивал их и вежливо отказывался: тайный смысл древних мифов до сих пор был ему непонятен и чужд, а рисовать обнаженное тело, подобно древним, он не смел, ибо не хотел служить дьяволу. Ведь обнаженная плоть греховна – она вводит в соблазн и разжигает похоть. Переубедить его не могли и оставили в покое: пусть рисует своих Мадонн!

Сандро упорно отстаивал свободу творить так, как ему хотелось, как он считал правильным. Часто его раздражал Фичино с его бесконечными советами. Этот горбун поучал всех подряд, даже Лоренцо, и тот, как послушный ученик, внимал каждому его слову. Но у него, Сандро, есть собственное мнение. Впрочем, в одном он согласен с Фичино: нужно упорно искать пути к познанию красоты. Но искать он будет, служа Богу, а не какому-то там Платону, в творениях которого он пока мало что понимал. Они же словно помешались: «Ах, Платон! Ах, божественный грек!» Только это и можно было от них услышать.

То, что его новые друзья преклоняются перед каким-то ученым греком и ставят его книги вровень с божественной Библией, больше всего угнетало Сандро. Эти два мира никак не желали соединяться, продолжали существовать порознь, и никакие разъяснения Фичино не могли заставить его поверить в то, что увлечение Платоном – безобидное занятие, не содержащее ничего предосудительного с точки зрения отцов церкви. Разве не

ересью было утверждение Марсилио, что любое произведение этого язычника можно читать в церкви вместо проповеди и что это способствовало бы торжеству добра, истины и красоты? Может быть, прав был старый Мариано, твердивший ему о том, что такие безбожники, как Фичино, и их бредни превращают Флоренцию в вертеп? Ведь докатились до того, что на картинах вместо ангелов стали появляться амурчики, а на кладбищах – страшно даже подумать – сооружаются памятники с изображениями языческих богов и богинь! Но самое ужасное – это безразличие флорентийцев к такому надругательству над истинной верой. Нет, добром все это кончиться не может!

Блюдя заветы отца, ему бы надо бежать из этого дома, а он слушает богохульные речи, тратит драгоценное время и – что самое страшное – не испытывает угрызений совести. Что влечет его в эту чуждую для него компанию? Может быть, то, что здесь прекрасное чтут превыше всего? Лоренцо как-то изрек, что он более всего ценит красоту – она альфа и омега его существования, смысл его жизни. Сандро не меньше его был влюблен в красоту и надеялся, что именно здесь он наконец постигнет ее. Ради этого он был готов даже взять грех на душу, поддаться искушениям врага человеков. Он вновь и вновь дает себе зарок не появляться в этом притоне зла, но ноги будто сами несут его в палаццо на виа Ларга. Все-таки слаб человек! И он даже готов поверить: те, кто осуждает Лоренцо, ничего не смыслят в происходящем – вот от таких глупцов и погиб Сократ, только потому, что он посмел иначе взглянуть на вещи!

Разговаривая с Фичино, он все время настороже. Но это не всегда удается: искушение чересчур сильно. Он вдруг ловит себя на мысли, что верит утверждению философа: хватит уповать на волю Божью, каждый человек – творец своей судьбы. Сандро не затыкает уши, чтобы не слышать этих обольстительных речей. А дьявол сладкоречиво внушает ему, что человек, «объемлющий небо и землю», равен Богу, всемогущ. Фичино убеждает: «… человек измеряет глубины Тартара. Ни небо для него не высоко, ни центр Земли для него не глубок. Он объял небесный свод и познал силы, двигающие его, их предназначение и их воздействие, он вычислил их величины. Итак, кто же станет отрицать, что его гений почти равен гению творца небесных тел и что он – на свой лад – возможно, в состоянии повторить его акт творения! Человек не желает иметь никого над собою и никого рядом с собою. Он не потерпит никакого господства, которое исключало бы его. Он все больше стремится к господству над вещами и за свой труд требует благодарности. Его превосходство во всех сферах равно превосходству Богу. И так же, как Бог, он

требует бессмертия». Чего еще можно было ожидать от этого идолопоклонника?

И все-таки в этом было что-то очень близкое его собственным мыслям. Ведь и он тоже творит, создает из ничего образы. И все-таки, если бы у него даже появилось такое желание, он вряд ли мог бы поближе сойтись с Фичино. Не только потому, что тот был старше его. Сблизиться с Фичино – это значило всецело подчиниться его воле, как подчинялись другие, окончательно запродать свою душу дьяволу. Нет, так поступить он не мог! Вот Анджвло Полициано, воспитатель детей Лоренцо, – другое дело. С ним он нашел общий язык. Анджвло, несмотря на свою молодость – ему исполнилось всего лишь двадцать лет, – уже стал известным поэтом. Сандро было интересно с ним – Полициано не пускался, подобно Фичино, в рассуждения о философии и толкования мифологии, с Сандро он предпочитал говорить о вещах простых и обыденных. Иногда читал ему свои стихи, в которых причудливо переплетались реальность и фантазия, чувствовалась какая-то подспудная меланхолическая грусть. Может быть, именно поэтому они и сошлись, ибо те же самые черты были присущи и творчеству самого Сандро. А еще Полициано научил друга любить Данте. Подобно большинству флорентийцев, Сандро преклонялся перед своим великим земляком – так было принято. Но Анджело заставил живописца прочитать его, и с этих пор Данте стал для Боттичелли необходим.

Но как бы ни интересно было в палаццо Медичи или вне Флоренции под сенью платанов и кипарисов загородных вилл, где летом собиралась Платоновская академия, нужно было думать о хлебе насущном, о более прозаических вещах, чем Дантовы терцины. Медичи и люди, окружавшие их, могли не заботиться об этом, Сандро же было Богом положено трудиться. Приближалась осень. В его мастерской появились новые ученики. О нем вспоминали, и он снова стал получать заказы. Конечно, он мог бы попросить средств у Лоренцо, тот бы не отказал, но род Филипепи никогда не ходил в попрошайках – к этому их всех приучил старый Мариано. Снова он рисует Мадонн, расписывает сундуки и столы. Иногда ему приходится отказываться от ученых бесед и отправляться в пригороды, чтобы подновить алтарь в каком-нибудь захудалом монастыре. Но, может быть, впервые в жизни он чувствует себя свободно, он уверен в завтрашнем дне. В Сан-Франческо под Флоренцией он рисует тондо с изображением Мадонны в окружении восьми ангелов. Картина удостаивается похвалы. Вообще он теперь не слышит хулы по поводу своих произведений. Он – общепризнанный мастер.

Теперь Боттичелли не узнать – он весел, часто шутит, устраивает розыгрыши. Когда один из его учеников по имени Бьяджо удачно скопировал Мадонну из Сан-Франческо и с помощью учителя выгодно запродал ее, Сандро и остальные его ученики изрядно повеселились. Вот как об этом рассказывает всезнающий Вазари: «Сандро и Якопо, другой его ученик, вырезали из бумаги восемь красных капюшонов, какие носят советники Синьории, и воском прилепили их на головах восьми ангелов, окружавших на названном тондо Мадонну. Наступило утро, и тут как тут появился Бьяджо с горожанином, купившим картину и знавшим о шутке. И вот когда вошли они в мастерскую, Бьяджо посмотрел вверх и увидел, как его Мадонна, в окружении не ангелов, а флорентийской Синьории, восседает среди этих самых капюшонов; он чуть не закричал и хотел уже просить у покупателя прощения, но, видя, что тот молчит и даже хвалит картину, замолчал. В конце концов Бьяджо ушел вместе с горожанином… Когда же он возвратился в мастерскую, Сандро и Якопо как раз только что сняли бумажные капюшоны, и он увидел, что его ангелы – ангелы, а не советники в капюшонах, и так был поражен, что не знал, что и сказать. Обратившись наконец к Сандро, он промолвил: „Учитель мой, я прямо и не знаю, сон это или явь. У этих ангелов, когда я сюда пришел, были на головах красные капюшоны, а теперь их нет, так что же это значит?“ – „Ты не в себе, Бьяджо, – ответил Сандро, – это деньги свели тебя с ума“… А тут и все остальные подмастерья его обступили и наговорили столько, что он решил, что все они спятили с ума». Шутка вполне в духе «Декамерона» Боккаччо, которого Боттичелли не раз перечитывал, устав от диалогов мудрого Платона.

Зима промелькнула незаметно. Жизнь ничто не омрачало. Правда, поговаривали о том, что отношения Лоренцо с папой стали менее сердечными, но это было делом городских политиков – пускай они разбираются, кто здесь прав, а кто виноват. Приход весны 1474 года, однако, принес беду, которая затронула всех горожан: в Италии вспыхнула чума. Уже неоднократно переживавшие подобное бедствие флорентийцы готовились к ее вторжению в город. Это было неотвратимо как рок: никакие заставы и ограждения не помогали. Оставалось только обращаться к святым заступникам и прежде всего к святому Себастьяну. И вот почему: в жизнеописании святого рассказывалось о том, что, будучи легионером римского императора Диоклетиана, он обратился в христианскую веру, что в те далекие времена считалось тяжким преступлением. За это Себастьяна было приказано расстрелять из луков. Его привязали к

столбу и привели приказ в исполнение. Поскольку существовало поверье, что чума порождается стрелами гнева Господнего, которые Бог посылает людям за их прегрешения, то избавления от «черной смерти» стали просить у святого Себастьяна. Дело в том, что стрелы, пущенные в него по приказу жестокого императора, не причинили ему никакого вреда. Он погиб, согласно легенде, значительно позже, когда вздумал предстать перед самим Диоклетианом и обличить его в жестокости. На сей раз он был убит, но не стрелами, а камнями.

Приближение грозной опасности заставило флорентийцев позаботиться о спасении. И теперь Сандро рисовал уже не Мадонн, а святых, способных отвратить от своих подзащитных гибель. Конечно, здесь уже было не до диспутов о достоинствах и недостатках картин. Но одно из полотен, которые написал Сандро в это тревожное время, все-таки привлекло внимание. «Мученичество святого Себастьяна» было создано довольно быстро и причем в полном соответствии с флорентийскими правилами живописи. Уроки, взятые у Верроккьо и братьев Поллайоло, не прошли даром: обнаженное тело святого было выписано именно так, как требовали эти художники – с максимальной приближенностью к действительности. Чтобы избежать упреков в незнании законов перспективы, Сандро поместил Себастьяна на высоком столбе – в результате выпал средний план, который ему не всегда удавался. Чтобы еще больше отвлечь внимание зрителя от этой особенности, он изобразил стрелы, пронзающие тело святого, направленными снизу вверх.

Ландшафт он также выписал со всем старанием, и тот получился здесь достовернее, чем на других его картинах. Одним словом, упрекнуть его было не в чем: все соблюдено, все выдержано. Впрочем, не все – ведь когда в тело вонзаются стрелы, человек не может не корчиться от боли. А у Сандро Себастьян ее вроде бы и не чувствует. Скорее он размышляет о чем-то постороннем. Кажется, что он даже слегка удивлен происходящим, если судить по его приподнятым бровям. Можно было, конечно, привести в оправдание довод о том, что, согласно легенде, стрелы не причинили Себастьяну вреда, а значит, и боли он не испытывал. Но тогда почему святая Ирина так долго выхаживала его от ран? Хотя это уже вопрос скорее богословский.

Диспут по поводу картины все-таки состоялся; просто так отмахнуться от него было невозможно. Антонио Поллайоло открыл его тем, что изобразил точно такого же Себастьяна, но исправив все те ошибки, которые, по его мнению, допустил Сандро. У Антонио Себастьян действительно страдал: будто чувствуется, как дрожат его колени, как изгибается от боли

спина, когда в тело вонзается очередная стрела, и кажется, слышны его мольбы, обращенные к небу. Ландшафт был выписан несравненно лучше, чем у Боттичелли. Поллайоло побил его по всем статьям, хотя ни сам Сандро, ни эстеты с виллы Кареджи так не считали. Но мнением большинства пальма первенства была отдана Антонио. В споре победили те, кто руководствовался поучениями Данте:

> Искусство смертных следует природе,
> Как ученик ее…

Но Сандро не желал быть учеником, – пусть даже самой природы. Если предназначение живописца лишь в том, чтобы копировать натуру, стремясь создать иллюзию реальности, усвоив правила перспективы, пропорции, соотношения и композиции, то художник действительно ничем не отличается от ремесленника, лишенного вдохновения и фантазии; человеческому разуму в этой среде не остается места. Человек – творец, это он уже усвоил, вращаясь среди философов с виллы Кареджи. Созидать ему помогает фантазия. А что это такое? Фра Филиппо, если это было возможно, избегал списывать своих Мадонн и святых с конкретных лиц. Его разум рождал персонажи, похожие и в то же время не похожие на окружающих людей. Липпи мог часами сидеть перед фресками, изображающими Страшный суд или святого Георгия, попирающего дракона, и размышлять, иногда вслух. Вот эти крылья взяты у летучей мыши, когти – у кошки, хвост – у ящерицы. Тут все понятно, но как родилось целое и почему оно должно выглядеть именно так? Или это божественное озарение, позволившее живописцу увидеть то, что недоступно простым смертным?

Размышления о природе фантазии могли завести далеко. Некоторые, задав сами себе этот вопрос и не найдя на него ответа, на том и успокаивались. Другие же пытались проникнуть глубже, не боясь подходить к опасным рубежам. Среди них были и такие, кто полагал, что живописцам дан дар наделять свои творения душой, и даже те, кто верил: в ночной тишине и безлюдье картины могут оживать. Недалеко от них ушли и некоторые заказчики, просившие поместить их изображения рядом с Мадонной и святыми – и не только из желания оповестить всех, что это именно они облагодетельствовали ту или иную церковь. Они были уверены, что их нарисованные двойники могут попросить небесных заступников о спасении их душ.

Мнений здесь было множество. Фра Филиппо, например, задавался мыслью: нарисованный художником образ Девы Марии

не имеет ничего общего с истинной Богоматерью, ибо сколько живописцев, столько Мадонн, непохожих одна на другую. Так кому же тогда молиться верующим? Церковь давала ответ: все эти изображения – всего лишь символы недоступного прообраза. Фичино придерживался другого названия – «талисман» – и высказывал предположение, что подобные амулеты притягивают «дух» или благоволение тех, кто на них изображен. Правда, говорил он это о богах языческих, но теперь все так перемешалось! Что же касается фантазии и вдохновения, то философ допускал, что живописец, как и поэт, способен улавливать «идеи вещей», о которых говорили у Платона.

А вот с тем, что художник может наделить свои картины душой, Марсилио был не согласен. «Верно то, что искусство есть подражание природе, – писал он, – верно, что, имея разум и опыт обращения с существующими вещами, художник может создавать несуществующие вещи. Но содеянное им – мертво, ибо он действует извне и способен созидать лишь внешнюю форму вещей, в то время как божественная мудрость формирует природу изнутри посредством духа и разума, которые присущи материи. Природа – это искусство, которое изменяет сущность вещей, порождая жизнь. Поэтому искусство людей никогда не станет тождественным искусству природы. Человек никогда не уподобится Богу, вдохнувшему душу в Адама».

«Символы», «талисманы», «искусство природы», «идеи вещей» – при желании Сандро, конечно, мог бы постигнуть премудрость всех этих понятий, но он был живописцем, а не философом. Главным для него было то, что, как бы искусно человек ни подражал природе, он не проникнет за внешнюю форму. Следовательно, предназначение искусства в другом – это созидание прекрасного, радующего глаз, или же создание тех «талисманов-символов», которые приносят людям пользу, помогая их общению с Богом. Если заказчик находит прекрасной иллюзию природы, то он должен получить желаемое. В конечном итоге живописец – всего-навсего ремесленник, и для него важно продать свое творение.

Большинству граждан Флоренции было не до размышлений о предназначении живописи – мало ли что толкуют бездельники на загородных виллах и какие басни там рассказывают! И состязания живописцев их не волновали. Чума стремительно приближалась к воротам города; то там, то тут в окрестностях вымирали деревни и монастыри. Казалось, еще немного, и «черная смерть» триумфально войдет во Флоренцию. В город спешно завозили уксус, чтобы убивать заразу, и дрова, чтобы сжигать зачумленный скарб. В церквях служили мессы, улицы и площади обносили

святыми реликвиями. Чума упорствовала – отпугнутая чудодейственными средствами, она отступала на несколько миль, но потом начинала подкрадываться снова, уже с другой стороны. Эта смертельная игра продолжалась все лето. Как всегда, суеверные флорентийцы и на сей раз стали искать причины надвигающегося бедствия, и, как обычно, виновными оказались те, кто, по их мнению, навлек гнев Божий своей богомерзкой жизнью и распространением язычества.

Это было самое благодатное время, чтобы воспользоваться смятением умов и свести счеты с недругами. Конкурирующие семейства зашевелились и, кое-как объединившись, ополчились против Медичи. Семена флорентийских распрей обладают необычайной всхожестью; стоит чуть-чуть измениться условиям, и они дают могучие всходы. У противников Медичи не хватало фантазии, чтобы разнообразить свои нападки. Какими они были десять и двадцать лет назад, такими и остались: Лоренцо стремится к установлению тирании, к удушению Флорентийской республики. При чем здесь чума, никто объяснить не может да, видимо, и не собирается. Долой узурпатора! Медичи зашли слишком далеко, некоторые правители уже обращаются к Лоренцо как к «вашей светлости» и даже «вашему величеству», и он не возражает. Ради спасения родины пора положить этому предел! Лоренцо пробуждает интерес сограждан к Риму императорскому, Строцци и иже с ними – к Риму республиканскому и его героям, боровшимся против тиранов.

Чума, покружившись вокруг города, в середине осени отступила за горы. О ней можно было забыть, а для братьев Медичи настала пора предпринять что-либо, чтобы вернуть симпатии сограждан. В палаццо на виа Ларга всегда зорко следили за настроениями в городе. Со времен недолгого изгнания Козимо из Флоренции здесь постоянно были начеку. Миланец Сфорца по-дружески предупреждал братьев: флорентийцы неуправляемы и взбалмошны, страсти разгорелись, как бы не вышло беды. Но Лоренцо можно было не предупреждать на этот счет: его осведомители, усердно толкавшиеся на площадях и в церквах, давно уже донесли о кознях противников. Теперь пора действовать.

Лоренцо решил прибегнуть к средству, которое неоднократно использовалось его дедом и отцом и, как правило, давало положительные результаты. Оно было старо как мир – удовлетворить потребности толпы в хлебе и зрелищах. Нужно было лишь найти благовидный предлог, но он представился сам собой: предстояло заключение соглашения между Флоренцией, Миланом и Венецией – еще одна дипломатическая победа,

которую Лоренцо мог записать в свой актив и которая стоила того, чтобы ее достойно отметить. Хотя со времени грандиозного приема Сфорца прошло уже шесть лет, это празднество было у всех на памяти, и было решено повторить его. К праздникам, которые издавна ежегодно отмечались во Флоренции, в 1475 году прибавился еще один. Год был не совсем обычным: Сикст IV, нуждавшийся в деньгах, объявил его «юбилейным» в надежде, что по этому случаю многие возжаждут покаяния и ринутся в Рим за отпущением грехов, пополняя тем самым папскую казну. Так что не было причин особо воздерживаться от радостей жизни, раз все будет прощено – были бы деньги.

После Рождества, отмеченного во Флоренции с обычным размахом – с пышными богослужениями, перезвоном колоколов, представлениями в церквях библейских историй, – начали готовиться к карнавалу, а попутно и к задуманной Лоренцо «джостре», то есть рыцарскому турниру. 28 января было подписано соглашение с Венецианской республикой о совместной борьбе против турок, но празднование этого события было решено провести весной; оно должно было стать всегородским торжеством и запомниться надолго. Нелегко было чем-либо поразить воображение флорентийцев, и без того избалованных карнавалами, цеховыми шествиями и многочисленными престольными праздниками. Трудно было перещеголять в чем-либо традиционный праздник в честь святого Иоанна, покровителя Флоренции, который издавна отмечался 24 июня. К нему готовились всем городом, туда съезжались гости со всей Тосканы, чтобы поглазеть на бои быков, конные скачки и представления бродячих артистов, собиравшихся к этому дню со всей Италии. Но не в обычае Медичи было отступать от задуманного.

В канун карнавала все живописные мастерские были завалены заказами, ибо каждый состоятельный горожанин намеревался блеснуть на празднике не только своим богатством, но и выдумкой. Основная тяжесть выполнения их желаний выпала живописцам, так как исстари считалось, что они должны иметь сноровку во всем: рисовать и высекать статуи, возводить дома и триумфальные арки, оправлять драгоценные камни и аранжировать гирлянды и букеты, расписывать знамена и вышивать парадные костюмы, украшать конную сбрую и придумывать хитроумные механизмы для спектаклей.

На сей раз мастерская Верроккьо, кроме того что ей поручили следить за общим убранством города, должна была изготовлять рыцарские доспехи. Мастер проявил недюжинные способности, выдумывая украшения для шлемов – львы, драконы, пантеры

скалили с них ослепительно белые зубы, дразнили ярко-красными языками. На долю братьев Поллайоло выпали триумфальные арки и убранство трибун, для которых уже свозились на площадь перед Санта-Кроче балки и бревна. Сандро трудился над штандартами. Особо много хлопот доставило знамя Джулиано, которому была предопределена роль победителя турнира – все его предполагаемые противники были заблаговременно предупреждены об этом. На полотнище из александрийской тафты изображалось золотое солнце, на которое взирала Минерва с копьем в правой руке и щитом в левой. Она стояла на пламени, пожирающем ветви оливы, на одной из ветвей было написано «неповторимая». Конечно, всю эту символику выдумал не он сам – над ней усердно потрудились философы и латинисты из Платоновской академии. На человеческом языке она должна была обозначать силу и мудрость Джулиано и неповторимую красоту Симонетты – супруги негоцианта Марко Веспуччи и дамы сердца младшего брата Медичи. Поскольку все было расписано заранее, он должен был победить на предстоящем турнире и избрать Симонетту королевой празднества.

Среди флорентийских юношей нашлось бы немного таких, кто поднял голос против такого выбора – с недавних пор Симонетта стала их кумиром и идеалом красоты. Высокая, гибкая, с длинной шеей, большими темными глазами и маленьким, чуть вздернутым носиком, она вскружила голову не только Джулиано. Предметом особой зависти всех флорентийских дам были ее белокурые волосы, которые не нужно было «золотить», то есть натирать всевозможными снадобьями и часами выдерживать на палящем солнце. Каких только сравнений не навыдумывали поэты, воспевая красоту Симонетты! Они вспоминали Беатриче и Лауру, отводя себе роль Данте и Петрарки. Даже Лоренцо посвятил ей несколько стихотворений. Если во Флоренции кто-либо говорил о нимфе или родившейся из пены Венере, то все понимали, о ком идет речь:

Она бела, и в белое одета,
Убор на ней цветами и травой
Расписан; кудри золотого цвета
Чело венчают робкою волной.
Улыбка лета – добрая примета:
Никто, ничто ей не грозит бедой.
В ней кротость величавая царицы,
Но гром затихнет, вскинь она ресницы.

Спокойным очи светятся огнем,

Где факелы свои Амур скрывает,
И все покоем полнится кругом,
К чему она глаза ни обращает.
Лицо небесным дышит торжеством,
И дуновенье каждое смолкает
При звуке неземном ее речей,
И птицы словно подпевают ей…[5]

Такой ее увидел Полициано, и многие смотрели на Симонетту его глазами. Сандро не был исключением. При желании он мог любоваться ею каждый день – их дом соседствовал с палаццо Веспуччи. Странные это были люди: будучи купцами, они, похоже, занимались торговлей больше по традиции, чем по желанию. Марко знал толк в живописи, как и отец, а брат его Америго слыл во Флоренции звездочетом. Ничто еще не предвещало, что в честь его будет назван целый материк – до плавания Колумба оставалось 16 лет. Вряд ли Марко было неизвестно то поклонение, которым была окружена в городе его семнадцатилетняя жена; он меньше всего походил на тех мужей из новеллы Боккаччо, которые ничего не видят и ничего не слышат, – но несмотря на то, что его прозвище происходило от слова «веспа», что значит «оса», он никого не жалил и никому не мстил. Во всяком случае, соседи никогда не были свидетелями каких-либо распрей и ссор между супругами.

Это было то время, когда наряду с тягой к античности во Флоренции, городе, в котором рыцари испокон веков не были в чести, вдруг пробудился интерес к их обычаям и нравам – не действительным, конечно, а воспетым в героических песнях и романах. Появились дамы сердца, о которых платонически вздыхали и которым поклонялись, юноши грезили о военных подвигах, а семейства с древними корнями занялись поисками знатных основоположников. В этих новых нравах, вызывавших ворчание старшего поколения, причудливо переплетались античные боги и герои-рыцари, трубадуры и древние историки. Фичино усердно трудился над обоснованием различий между любовью небесной и земной. Венера как-то неожиданно для всех стала не только богиней красоты, а еще и воплощением различных христианских добродетелей. Языческие боги и святые христианских легенд сливались в одно целое.

Тогда-то во Флоренции и появилась Симонетта, урожденная Катанео из Портовенеры на Лигурийском побережье, что дало любителям сравнений повод уподобить ее Венере, родившейся из пены морской:

Тогда как мой родимый дом – Лигурия,
Пустынный брег, суровые края,
Где яростный Нептун рычит под скалами,
Грозя им страшными обвалами.[6]

Возможно, и сама Симонетта уверовала в то, что в ней возродилась древняя богиня. Многократно повторенная молва и Фому неверующего заставит принять фантазии за реальность. Не будь всеобщего поклонения, не будь рыцарски-галантной и к тому же выставляемой напоказ любви Джулиано и сладостных стихов Анджело Полициано, Симонетта Веспуччи осталась бы в памяти знавших ее той, кем она и была на самом деле – взбалмошной и самовлюбленной супругой флорентийского купца, ибо никакими прочими талантами она не блистала. Однако судьбе было угодно сотворить из нее легенду.

Сандро в числе прочих немало способствовал созданию этой легенды. Правда, рисуя по поручению Джулиано свой первый портрет Симонетты, он не нашел в соседке ничего особенно прекрасного. Если, как утверждали его ученые друзья, образцом красоты являлись статуи, оставленные древними, то донна Симонетта вряд ли удостоилась бы у них чести быть приглашенной в хоровод нимф, как это изобразил Анджело – его одно лишь воспоминание о новоявленной Венере заставляло «пылать огнем» и «ощущать себя в раю». Более того, от наметанного взгляда живописца не могло укрыться, что силы молодой супруги Марко Веспуччи подтачивал тайный недуг; это выдавали и неестественная белизна кожи, сквозь которую просвечивали синие жилки, и лихорадочный румянец, то и дело вспыхивающий на ее щеках. Во всяком случае, ни один ремесленник по собственному желанию не взял бы флорентийскую Венеру в жены. Но странно устроен человек: сам того не желая, он начинает верить в то, о чем долдонят другие. И Сандро поддался чарам Симонетты, и он был готов преклонить перед ней колени…

Долгожданный день наступил, и он был прекрасен. Впоследствии Полициано воспел и Зефир, который своим теплым дыханием растопил остатки снегов на вершинах гор, и птичий хор, снова огласивший леса под Флоренцией, и ласточек, вернувшихся «под сень гнезда родного». Улицы, ведущие к Санта-Кроче, преобразились, словно по волшебству: из окон и с балконов палаццо и домов зажиточных горожан свисали ковры и дорогие, переливающиеся всеми красками радуги ткани, и празднично разодетые флорентийцы шествовали к трибунам

через эти шуршащие и шелестящие коридоры. На всех площадях были установлены позолоченные шесты, на которых развевались флаги с изображением алой лилии, эмблемы Флоренции, и льва Святого Марка – символа Венецианской республики.

Над городом плыл торжественный перезвон колоколов. Народ стекался на площадь, минуя шатры из парчи, где должны были переодеваться для ристалища участники состязания, и чинно рассаживался на трибунах, в центре которых стоял золоченый трон для королевы турнира. Для живописцев-оформителей были отведены особые места, иначе им бы пришлось толкаться за канатами, огораживающими площадку для поединков. Лоренцо и здесь все предусмотрел: ведь им предстояло увековечить это зрелище в своих картинах. Но среди них не было общепризнанного мастера изображения битв и катастроф – Паоло Уччелло. Нет, о нем не забыли, просто фанатик перспективы был тяжело болен.

Громкий спор среди живописцев о том, кому из них будет поручено воспеть в красках этот достопримечательный турнир, сливался с общим гулом толпы, успевшей до отказа забить всю площадь и прилегающие улицы. Но вдруг раздался звук трубы, и все стихли. Городская стража расчистила проход для шествия городского нобилитета во главе с Лоренцо, одетым в платье из зеленого бархата с массивным золотым ожерельем на шее. Великолепный был сосредоточен и хмур; его лицо просветлело лишь на миг, когда в толпе раздались крики приветствия в его честь. За ним и послом Венеции следовали гонфалоньер справедливости – выборный глава Синьории и носитель городского знамени-гонфалона, – и другие первые лица города. Лоренцо не спеша поднялся на трибуну и торжественно опустился на предложенное ему кресло справа от трона будущей королевы; слева разместился венецианец. Можно было начинать. Раздался призывный клич серебряной трубы, и из шатров в сопровождении оруженосцев вышли рыцари, нарочито громко бряцая доспехами. Заржали кони, заплескались на ветру штандарты, одобрительный гул прокатился по трибунам.

Поединки начались. Все было так, как в рыцарских романах, которые с легкой руки Медичи начали входить в моду – звенят мечи, кони поднимаются на дыбы, картинно вылетают из седел всадники. Противники Джулиано не оказали ему серьезного сопротивления и очень быстро сдавались на его милость, как и было определено заранее. Случайностей быть не могло. Состязание уже благополучно подходило к концу, когда вдруг – совершенно неожиданно для младшего Медичи – появился еще один участник турнира, вызвавший его на поединок. Это был

Франческо Пацци. Зрители замерли: дело принимало серьезный оборот, игра закончилась, предстоял настоящий бой – достаточно было взглянуть на перекошенное злобой лицо Франческо.

В городе, в котором о каждом – от нобиля до простого ремесленника – знали всю подноготную, ни для кого не была тайной вражда между семействами Медичи и Пацци. Соперничество между ними уходило в далекое прошлое, но оставалось под спудом до тех пор, пока Лоренцо не вручили бразды городского правления. Вот тогда-то ненависть Пацци открыто выплеснулась наружу. Члены этого семейства вообще не отличались сдержанностью, а Франческо особенно: если ему на улице попадались Джулиано или Лоренцо, он не стеснялся публично осыпать их ругательствами и угрозами. Именно ему Лоренцо был обязан тем, что его банк отстранили от распоряжения папской казной, ибо, как впоследствии писал Полициано, «он был человеком несдержанным и если задумывал какое-то дело, то пока не доводил это до конца, его не могли остановить ни приличия, ни религиозное чувство, ни общественное мнение, ни уважение к званиям». Пока еще никто не знал, что три месяца назад в Риме Франческо вместе с Джироламо Риарио и Франческо Сальвиати, которого папа прочил в кардиналы Флоренции, составил заговор против братьев Медичи и поклялся, что лично убьет Джулиано. Но всем было известно, что Пацци пытался силой овладеть Симонеттой – не из-за непомерной любви, а лишь затем, чтобы насолить лишний раз младшему Медичи.

Зрители затаили дух, Лоренцо приподнялся в кресле, и сидевшие рядом видели, как побелели костяшки его пальцев, сжавших поручни. Кони соперников бешено кружились в центре арены. Франческо, право, не стоило так рисоваться – он был слишком тщедушным и не мог тягаться с таким бойцом, как Джулиано. Вскоре он был выбит из седла и герольды поспешили возвестить об окончании поединков.

Теперь предстояли избрание королевы и увенчание победителя. В том, что Джулиано отдаст первенство Симонетте, никто не сомневался. Когда синьора Веспуччи поднималась к трону, собравшиеся разразились криками восхищения, слившимися в единодушный гул одобрения, после того как она надела на голову Джулиано венок из фиалок и поцеловала его. Флоренция знала толк в красоте и любви.

Площадь медленно пустела. Впереди предстояла долгая бесшабашная ночь. В палаццо на виа Ларга все уже было готово к балу, на который были приглашены избранные – Сандро был искренне счастлив, что оказался в их числе. Для остальных друзья

Лоренцо открыли двери своих домов, а для простого люда накрыли столы перед Синьорией. Но, как всегда, среди расположенных к веселью нашлись ворчуны, способные испортить настроение. По их мнению, добром нынешний день не кончится. Брат поднимется на брата: Джулиано поступил неосторожно, не избрав королевой возлюбленную Лоренцо Лукрецию Донати, не оказал ему уважение. А поражение Пацци! Франческо его никогда не простит, не таков его нрав.

Здесь было о чем посудачить – ведь на арену выходил сам папа Сикст IV. Когда он стал первосвященником, почти все были уверены в том, что Лоренцо найдет с ним общий язык; ведь оба они были начитаны в трудах древних авторов, учили поэзию и латынь, и делить им вроде было бы нечего. Не учли одного – папа оказался самым обыкновенным стяжателем, желающим, пока он жив, облагодетельствовать всех своих родственников. Слава Богу, в прошлом 1474 году скончался от истощения сил племянник Сикста Пьеро Риарио, которого папа назначил архиепископом Флоренции. Этот ничтожный искатель наслаждений прославился лишь тем, что дарил своим любовницам ночные горшки из чистейшего золота. Дядя не раз пытался использовать его в борьбе против Медичи, но у Пьеро не было для этого ни способностей, ни особого желания.

Одна беда вроде бы миновала, но вот вторая грозила многими несчастьями. Два года назад Сикст купил для другого своего племянника Джироламо Риарио крепость Имолу. Отсюда все и началось. Лоренцо справедливо полагал, что Имола – слишком удобный форпост для вторжения в Тоскану, чтобы оставлять ее в руках Ватикана. Он попытался сорвать сделку, обратившись ко всем кредиторам Сикста, среди которых было и семейство Пацци, с просьбой не давать папе денег. Его соперники в борьбе за власть во Флоренции внимательно выслушали совет и поступили наоборот, предоставив папе всю нужную сумму в сорок тысяч золотых дукатов. Более того, они донесли Сиксту о кознях Медичи и нашептали ему о безбожии Лоренцо и его друзей, о вреде, который они наносят католической вере. Естественно, папа был разгневан и, чтобы выразить свое недовольство, лишил банк Медичи права регулировать финансы Ватикана.

Те, кто знали мстительный нрав первосвященника, не сомневались, что этим дело не ограничится. Вот где скрываются корни сегодняшнего события. Только ли тем, что Джулиано и Франческо не поделили любовь прекрасной Симонетты, можно объяснить ту злобу, с которой Пацци напал на Медичи на площади перед Санта-Кроче? Нет ли тут связи с распространяемым в последнее время во Флоренции трактатом

профессора из Болоньи Кола Монтано, в котором назойливо обосновывается мысль: «Убийство тирана – святой долг каждого»?

Пока на площадях и улицах Флоренции толковали обо всем этом, перемежая рассуждения о высокой политике непристойными песнями и драками, в палаццо Медичи вовсю веселились, отложив заботы на завтрашний день. Симонетта была в центре грандиозного бала – все поклонялись ей и беззастенчиво превозносили ее красоту. Здесь состязание выиграл Полициано, лишний раз подтвердив свою славу первого поэта Флоренции. Глядя, как танцует королева бала, он якобы невзначай, без особых усилий, сочинил по этому поводу сонет «Нимфа, навстречу которой стремится мое сердце». Он воспевал совершенство Симонетты, равное чуду, ее золотые волосы, которые легко колышутся в такт шагам, ее лучистые глаза, один взгляд которых пронзил бы сердце поэта, если бы ревнивый локон не прикрыл их. Сандро и сам чувствовал нечто подобное, глядя на малокровную супругу купца – такова она, сила искусства! Поневоле он чувствовал зависть к другу, сумевшему воспеть красоту в словах, и ощущал в себе готовность сделать то же самое привычным ему языком красок.

Глава пятая
Весна побеждающая

Празднества, затеянные Лоренцо, отшумели, но успокоения они не принесли. Враждебность Пацци, столь зримо проявившаяся на турнире, встревожила не только близких друзей Медичи. Синьория рекомендовала братьям обзавестись телохранителями, но Лоренцо от себя лично и от имени Джулиано, поблагодарив за заботу, наотрез отказался. Если судьба не будет милостива, то никакая охрана не убережет, тому в истории масса примеров.

Предупреждения о грозящих опасностях были излишни для умелого политика, каким стал Лоренцо за эти несколько лет. Он и без подсказок понимал, что при непостоянном нраве флорентийцев он подобен человеку, ходящему по лезвию ножа. Сегодня сограждане будут восторгаться его щедростью и благодарить за доставленные развлечения; завтра, поверив каким-нибудь домыслам, будут клясть его и желать ему смерти. То, что многочисленные поэты, историки и философы, которыми он окружил себя по примеру предков, неустанно трудятся, создавая образ мудрого и заботливого правителя, конечно, играет свою роль, но достаточно ли этого? Устроенный им турнир был воспет так, как ни один проходивший до этого. Анджело Полициано задумал огромную поэму, прославляющую это событие, однако застрял на восхвалении красоты Симонетты и все никак не мог выпутаться из этой темы.

Впрочем, и здесь не все было просто: отпраздновав, горожане вдруг засомневались – не провели ли их за нос? Не навязывают ли им старые порядки, которые они в свое время, как казалось, искоренили напрочь, разорив замки всех этих рыцарей и заставив их переселиться в город? Лоренцо знал об этом, и казалось, что он был даже доволен, когда Луиджи Пульчи простонародным языком начал писать шутовскую поэму «Моргайте», осмеивавшую рыцарство. Пульчи, человек язвительный и невоздержанный на язык, до сих пор не был близок к Лоренцо, но частенько гостил на половине его матери Лукреции, где тешил дам рассказами и шутками в духе флорентийских рынков. Теперь Лоренцо стал оказывать ему покровительство и содействовать тому, что его антирыцарские опусы становились широко известны в городе.

Раньше Лоренцо только отмахивался от передаваемых ему сплетен, что в городе его считают основным виновником в насаждении безбожия и прочих нравов среди молодежи, что его

Платоновская академия – это сборище мужеложцев, а в доме на виа Ларга есть потайная комната, где поклоняются языческим богам и устраивают оргии. Но теперь он был всерьез обеспокоен. Было очевидно, что эти слухи, как и участившиеся проповеди то в одной, то в другой церкви Флоренции, обличающие грешников и поклонников язычества, преследовали определенные цели, и Лоренцо догадывался, откуда дует ветер. Друзья Великолепного по мере своих сил стремились противодействовать происка папы Сикста. Диспуты на античные темы были изгнаны из дома на виа Ларга, если за столом присутствовали посторонние, – тогда говорили только о поэзии Данте, городских проблемах и делах милосердия. Когда не было приемов в честь иностранных послов и князей, за столом у Лоренцо подавались те же блюда, что и в домах простых флорентийцев.

Повелитель города стал регулярно посещать мессы, соблюдать посты, а вместо стихов, воспевающих нимф, любовь и вино, сочинял пьесы, прославляющие Христа и святых. Спектакль, где главными действующими лицами были апостолы Иоанн и Павел, призван был убедить усомнившихся в религиозных чувствах Лоренцо. По его просьбе друзья постарались «забыть» о его новеллах, где он не особенно лестно отзывался о священнослужителях, деяния которых подтверждали молву, что нет такого предательства и козней, в которых они бы не участвовали, и называл их «виновниками величайших зол из-за слишком большого доверия, которое напрасно питают к ним люди».

Тешить народ празднествами и внушать ему представление о благочестивом образе жизни правителя было необходимо, но следовало и подкреплять этот образ конкретными делами. Друзья Лоренцо – и Ландино, и Фичино, и Полициано, словом все, кто состоял членом Платоновской академии или был близок к ней – объединились в «Братство трех волхвов», которое усердно занялось делами милосердия, естественно на деньги Медичи. Но этого показалось мало, и тогда было создано «Братство святого Иоанна», открытое для всех желающих. Его устав требовал от вступающих в него исполнения семи обетов: посещать больных и немощных, кормить голодных, поить жаждущих, одевать голых, помогать заключенным, хоронить умерших и давать приют паломникам. Словом, Лоренцо не собирался повторять судьбу Сократа, вынужденного испить кубок с цикутой, и усердно старался посрамить своих недругов и отвести от себя обвинения в растлении молодежи и насаждении язычества.

Безусловно, все, кто знал Лоренцо, а тем более его друзья, понимали истинный смысл этого внезапного превращения Савла

в Павла. В общении с ними он оставался прежним, и в обычаях его ничего не изменилось. Но он нес ответственность за судьбу Флоренции и менее всего хотел, чтобы из-за него на нее обрушился гнев Сикста. Нет ничего легче, чем раздуть пожар, используя фанатизм, но трудно его потушить. Во имя этого в палаццо Медичи закрыли доступ дамам, в том числе любовницам обоих братьев; картины, могущие возбудить греховные помыслы, были изгнаны из парадных залов в личные покои; вклады в монастыри и церкви увеличились. Примеру правителя последовали многие, и нельзя сказать, что Сандро был этим огорчен: в городе в последнее время распространилась молва, что он принадлежит к числу тех невзыскательных живописцев, которые не считают за грех рисовать обнаженных девок.

Ну что же – он действительно не гнушался подобными заказами, но ведь и другие от них не отказывались. Правда, в таких случаях его всегда охватывало чувство неловкости, да и большинство заказчиков обращались к нему так, словно просили о чем-то невозможном. Исстари не возбранялось изображать обнаженными разве что Адама и Еву, ибо об этом прямо говорилось в Писании, да еще души на Страшном суде, ибо наг приходит человек в этот мир и нагим из него уходит. Все же остальное – от похоти и к похоти взывает. Подобные картины скрывались от глаз занавесями или же убирались туда, куда вход посторонним воспрещен. Слава Богу, теперь таких заказов стало меньше, но надолго ли?

Происходившие исподволь изменения в поведении Лоренцо наводили некоторых на мысль, что в жизни всей Флоренции грядут перемены. Умерший в этом году Маттео Пальмьери перед смертью убеждал друзей: Великолепный слишком умен, чтобы раскрывать свои истинные замыслы, этим он всегда отличался. Настанет время, и все вернется к прежнему; золотой век Флоренции еще впереди, и он завидует тем молодым, которым предстоит увидеть его. Но чувствовалось, что сам аптекарь колеблется: а сбудется ли его предсказание?

Положение еще более осложнялось: «юбилей» принес Сиксту деньги, нужные для того, чтобы набрать наемников и разместить их в Имоле, создав тем самым уже не предполагаемую, а вполне реальную угрозу для города. Лоренцо теперь был всецело поглощен политикой, стремясь обзавестись союзниками и умиротворить папу. В его планы были посвящены лишь избранные, и Сандро не был в их числе, хотя теперь стал частым гостем в палаццо Медичи. По просьбе Джулиано он писал «Фортуну» для его спальных покоев. После поединка с Пацци младший из братьев Медичи, казалось, уверовал в то, что судьба

ему покровительствует, и намеревался таким образом отблагодарить ее. Все знатоки античности сходились в том, что в представлении древних Фортуна была лысой, чтобы ее было не так просто ухватить за волосы. Но богиня, изображаемая Сандро, имела пышные белокурые волосы и вообще очень походила на Симонетту – он знал, чем угодить Джулиано. Да он и сам все больше попадал под обаяние этой донны, о которой грезили юноши Флоренции. Если она пользуется таким почитанием, то, видимо, в самом деле воплощает идеал красоты.

Вскоре от семейства Медичи последовал еще один заказ – украсить фресками загородную виллу в Спедалетто. Поручение на сей раз исходило от Лоренцо, который в отличие от брата не маячил постоянно за спиной живописца, давая ему советы. Когда Сандро представил на его суд готовые произведения, он лишь мельком взглянул на них, сделав небольшие замечания. Видно было, что ему сейчас не до них. Он ни разу не посетил виллу, пока Сандро трудился над фресками. Можно было расценить такое отношение Лоренцо к своему заказу как полное доверие к мастерству и вкусу живописца. Скорее всего, это было не совсем так, но все-таки лестно думать, что человек, во вкусе которого никто не сомневался, оценил его талант по достоинству.

Фактически весь этот год Сандро работал на Медичи, став чем-то вроде их придворного живописца взамен постаревшего Беноццо Гоццоли. То, что он на некоторое время прервал свои работы на виа Ларга и в Спедалетто, чтобы написать «Поклонение волхвов», было не в счет, так как и эта картина по сути своей являлась прославлением дома Медичи. Близкий друг Лоренцо Гаспаре ди Дзаноби ди Лама, входивший в «Братство трех волхвов», обратился к художнику с просьбой написать картину для алтаря, который он намеревался преподнести церкви Санта-Мария Новелла. В этом обращении вроде бы не было ничего необычного, если бы не четко выраженное пожелание, чтобы на картине были изображены усопшие и ныне живущие представители семейства Медичи.

То, что члены братства жертвовали алтари во флорентийские церкви, было обычным явлением, как и оказание ими помощи неимущим. Сандро уже неоднократно выполнял такие заказы. То, что ему приходилось угождать некоторым поклонникам того или иного семейства, рисуя рядом с Мадоннами или святыми фигуры их покровителей, тоже не было чем-то из ряда вон выходящим. Но здесь речь шла о целой династии Медичи, притом картина будет помещена в одной из самых посещаемых церквей. До сих пор Сандро не замечал, чтобы Лоренцо или Джулиано стремились выставлять напоказ свои изображения. Подобное бахвальство

было не в традициях семейства, считавшего, что сподручнее не привлекать к себе излишнего внимания. Существовали, правда, картины, подобные заказанной другом Лоренцо, но они находились в частных домах. Среди них было и «Поклонение волхвов» Гоццоли, которое Сандро не раз видел на виа Ларга. Эта картина считалась шедевром, так что надо было приложить немало усилий, чтобы не ударить в грязь лицом.

Соблазн воспользоваться той же композицией, что у Гоццоли, был велик. Картина изображала трех волхвов, спускающихся вместе с их многолюдными свитами по горным тропам, чтобы преподнести дары Младенцу Христу. Все в ней было уравновешено и выверено, краски великолепны, одежды фигур необычны и изящны, как на Востоке. Но по здравом размышлении Сандро такой путь отверг. Он изобразил площадь перед развалинами, в которых нашло убежище Святое семейство. На ней собрались флорентийские граждане – об этом нетрудно догадаться, взглянув на их одеяния. Ведут они себя так, как и присуще согражданам Сандро, когда они собираются на праздники: пока один из волхвов преклоняет колени перед Христом, другие занимаются обычными делами – спорят, обмениваются новостями, шутят, ожидая своей очереди. Среди этой толпы гордо возвышается Лоренцо, погруженный в размышления; здесь же в бархатном изящном костюме его красавец-брат, присутствуют также покойные Козимо, Пьеро, Джованни, да и для семейства Лама нашлось место.

«Поклонение волхвов» написано легкими волнообразными линиями, а его безмятежный колорит подчеркивается рассеянными по полотну золотистыми бликами, напоминающими о чистом свете солнечного заката. Им вторит золотой плащ человека, стоящего у правого края картины, – это сам художник. Горделивая поза, вьющиеся рыжеватые кудри, чуть капризный изгиб губ. Самое выразительное в этом портрете – большие светло-янтарные глаза, полузакрытые утомленно опущенными веками и упорно избегающие прямого взгляда на зрителя. Изображая рядом со знатными покровителями самого себя, Сандро как бы подчеркивал, что он тоже принадлежит к кругу избранных.

Впрочем, на это не стоило намекать, ибо во Флоренции его и без того уже причислили к таким же прихлебателям Лоренцо, как Полициано, Фичино и иже с ними. Строгий все-таки народ его земляки – сперва изгоняют из города своих лучших сограждан, а потом рыщут по всей Италии, умоляя вернуть им кости умерших на чужбине, как это случилось с Данте. Они готовы хвастать, что среди них живут такие поэты, как Анджело, и такие философы,

как Марсилио, и одновременно поливать их грязью, называя паразитами, которые и не сеют и не пашут, а хлеб насущный имеют. Они обязательно выищут в своей среде тех, кто становится предметом постоянных насмешек. В декабре 1475 года умер Паоло Уччелло – в страшной бедности, почти свихнувшись от беспрестанных попыток разгадать тайны перспективы. Слава Богу, что он почти не покидал своего дома, а то бы его превратили в шута на потеху подвыпившим ремесленникам. Теперь все скорбят, называют его непревзойденным мастером, мучеником живописи и прочее, будто бы не говорили при его жизни совсем другое…

Близость к семейству Медичи действительно избавляла Сандро от забот, которые выпадали на долю других не менее искусных живописцев. Но она не защищала его от злословия, да и родные немало способствовали этому, упрекая его в лени и расточительности. Он в самом деле не придавал большого значения деньгам, не копил их и не вкладывал в выгодные предприятия, как это делали более практичные коллеги. Он мог неделями не брать кисть в руки, предаваясь безделью или околачиваясь в компании гуляк, что, по мнению многих, было зазорно для сына честного ремесленника. Как и бывает в таких случаях, ему приписывали все пороки, и постепенно складывался образ живописца, которому Господь Бог дал большой талант, судьба наградила счастьем, но он все промотал в силу своей чудовищной беспечности.

На беду Сандро, во Флоренции было слишком много художников, не страдавших отсутствием самомнения. В своем собрате по профессии каждый видел нежелательного конкурента и выискивал повод хоть чем-нибудь очернить его. Потому-то, как полагали – справедливо или нет, – они никак не могли объединиться в цех. Вступая в компанию святого Луки лишь для того, чтобы обрести звание мастера, духом корпоративности они так и не прониклись – каждый действовал в одиночку. Не было ничего удивительного в том, что «Поклонение волхвов», которое было выставлено в Санта-Мария Новелла и впоследствии стало считаться шедевром флорентийской живописи, не снискало добрых слов. Говорили, что Сандро ничего не смыслит ни в пропорциях, ни в перспективе, что некоторые фигуры второго плана гораздо крупнее и выше фигур первого, что краски из рук вон плохи.

От внимания завистников не ускользнуло, что он, как и многие, пялит глаза на прекрасную соседку. Положа руку на сердце, можно было признать, что был такой грех. Что он был бы за живописец, если бы его не привлекала красота во всех ее

проявлениях? Но то, что считалось позволительно для других, для ремесленников было запретным плодом и побуждало здравомыслящих людей сомневаться: да в здравом ли уме этот возомнивший о себе сын кожевника? Как бы то не было, в женских образах Сандро все чаще можно было встретить черты Симонетты. И он подпал под ее чары, и он стал считать, что в ней воплотился идеал красоты.

Между тем трагедия приближалась. Новогодние праздники, балы и карнавалы окончательно подорвали и без того подточенные силы «возродившейся Венеры». Весна 1476 года началась как-то споро и бурно. Дожди разом смыли в Арно всю грязь, накопившуюся за зиму. Флоренция похорошела, но это было страшное время для хворых: природа не разбирается, что красиво, а что нет, она очищает себя от всего, что считает недостойным дальнейшего существования. В палаццо Веспуччи все чаще стали наведываться лекари и знахари. А 27 апреля портал дворца укрыли черной материей – Симонетта скончалась. Флорентийская молодежь облачилась в траур. Наверное, ни Беатриче, ни Лаура не были удостоены такой скорби. О печальном событии сочли нужным срочно сообщить Лоренцо, который в то время находился в Пизе. Известие было передано ему, когда он прогуливался после ужина в саду с Федерико Арагонским. Лоренцо поднял глаза к небу и, указав другу на одну из звезд, сказал: «Смотри, душа этой благороднейшей дамы превратилась в новую звезду, ее я еще никогда не видел».

В течение лета многочисленные поклонники Симонетты не могли утешиться, изображая – по моде того времени и под воздействием «Новой жизни» Данте – неисцелимую печаль. Стихов было написано много, а те, кто не обладал поэтическим даром, прибегали к творениям Петрарки:

> Повержен лавр зеленый. Столп мой стройный
> Обрушился. Дух обнищал и сир.
> Чем он владел, вернуть не может мир
> От Индии до Мавра. В полдень знойный
> Где тень найду, скиталец беспокойный?
> Отрада где? Где сердца гордый мир?
> Все смерть взяла…[7]

Впрочем, все забывается. Полициано, взявшийся было рьяно дописывать поэму о прошлогоднем турнире, воспевающую Симонетту, в конце концов забросил ее – у него появились более неотложные дела. Вирши юношей, не обладавших талантом, поглотило время. Но легенда о возродившейся и рано ушедшей

Венере преодолела века – не в последнюю очередь потому, что некий живописец, живший по соседству, нашел в ней идеал красоты.

События, происшедшие вскоре, заставили многих окончательно забыть о даме, которой поклонялись столь ретиво и истинно. Весь 1476 год флорентийцы жили в постоянном ожидании надвигающейся беды, хотя никто не мог сказать, какой именно. Обстановка напоминала предгрозовую пору, когда все застывает и берет верх гнетущее чувство надвигающейся угрозы. Неприязнь Пацци к Медичи становилась явственнее день ото дня. Похоже было, что к делу подключился дядя Франческо – Якопо, человек крайне неуравновешенный, вспыльчивый до бешенства и одновременно невероятно жадный и беспредельно расточительный. Все еще больше усложнилось, когда Сикст отдал архиепископскую кафедру во Флоренции Франческо Сальвиати, а Лоренцо открыто и без всяких обиняков заявил, что он, пока жив, никогда не допустит, чтобы какой-либо ставленник папы вмешивался в дела города.

Слухи, порочащие братьев Медичи, снова стали гулять по Флоренции, но последствий пока не вызывали: не теми людьми были Пацци, чтобы горожане поддержали их, и здесь Сикст явно вытянул не ту карту. Представители семейства иногда занимали высокие посты во Флоренции, но скорее не в силу своих достоинств, а в результате всевозможных махинаций и интриг. Флорентийцы издавна с подозрением относились к отпрыскам рыцарских семей, некогда переселенных в город из окрестных замков для прекращения их постоянных разбоев. А нынешние Пацци тем более никаким уважением не пользовались: старый бездетный Якопо был известен своими грубыми выходками, нередко доводившими до ссор и драк, скупердяйством и нескрываемым презрением к простому люду. О его племяннике Франческо и говорить не стоит – он был порочен до мозга костей. Так что если бы флорентийцам предстояло выбирать, то предпочтение все-таки было бы отдано Медичи, в чем бы их ни обвиняли.

В мае Лоренцо возвратился из Пизы. Сандро теперь был частым гостем на виа Ларга: он продолжал писать членов семейства Медичи. Уже были готовы портреты матери Лоренцо Лукреции Торнабуони и его супруги Клариссы Орсини, а теперь он рисовал самого Великолепного. Между делом пришлось запечатлеть для Джулиано нескольких новых поклонниц – место Симонетты в его сердце пустовало недолго. Однако напрасно у него пытались разузнать, чем сейчас занят ум Лоренцо, – в тайны городской политики он не был посвящен, они обсуждались за

закрытыми дверями. Частыми гостями Великолепного теперь были прелаты, сенаторы, послы Милана и Венеции; временами появлялись какие-то сомнительные личности, с которыми Лоренцо беседовал один на один и которые исчезали так же незаметно, как и появлялись.

Был ли Лоренцо посвящен в планы своих противников? Это, видимо, не было известно даже Джулиано, с которым его брат, несмотря не нежелание младшего Медичи ввязываться в дела политики, все-таки продолжал советоваться. Подробности стали достоянием простых горожан значительно позже, а сейчас горожан, знавших смелость Лоренцо, удивил его отказ ехать в Имолу, куда его приглашал Джироламо Риарио, чтобы выяснить отношения и «устранить недоразумения». Папский племянник даже предлагал что-то вроде союза на будущее. Лоренцо долго тянул с ответом, потом ответил категорическим отказом, сославшись на то, что приглашение было передано в грубой форме. В результате, как тогда решили в городе, была нанесена обида папе, и тот теперь уже открыто начал сосредоточивать отряды наемников на тосканских границах. Как они все ошибались!

После того как в январе 1475 года троица заговорщиков, собравшаяся в Риме, решила убрать братьев Медичи и захватить власть во Флоренции, их усилия по осуществлению задуманного не прекращались, обдумывались разные варианты. Наконец остановились на том, что кондотьер папских наемников Баттиста Монтесекко пододвинет свои отряды как можно ближе к Флоренции, Риарио пригласит Лоренцо в Имолу, где его и убьют, а в то же время во Флоренции заговорщики прикончат Джулиано. Затем, воспользовавшись замешательством, Монтесекко штурмом возьмет город, и делу конец.

План был великолепен, оставалось только его выполнить, но нежданно-негаданно возникли осложнения. Началось с того, что кондотьер папского воинства проявил неожиданную щепетильность: он отказался участвовать в предприятии, если Сикст не даст на него своего благословения. Особенно его смущало вероломное убийство братьев Медичи; такой грех он не собирался брать на душу. Уговоры не помогли – благочестивый капитан настаивал на своем. А тут еще Якопо Пацци, которого племянник посвятил в интригу, засомневался: стоит ли идти на риск, если нельзя быть уверенным, куда склонятся симпатии флорентийцев. Ну, можно взять власть, а не изгонят ли их всех на следующий день из города? Ведь и такое во Флоренции бывало.

Папу Сикста, как лицо заинтересованное, удалось уломать, хотя он и пытался остаться в стороне – осторожность никогда не

помешает. Когда его племянник Риарио вкупе с Монтесекко, представ перед ним, начали повествовать о своих затруднениях, он поначалу отнекивался: в его обязанности не входит благословлять чью-либо смерть. Слов нет, Лоренцо очень плохо относится к нему, тем не менее гибели его он не желает, его цель – лишь изменить правление во Флоренции. Но перед ним стояли не простаки. Какие могут быть изменения, если хотя бы один из братьев останется в живых? Разве можно быть уверенным в успехе дела, если его не благословит святой отец? После долгих колебаний папа кивнул головой, когда Монтесекко в сотый раз начал излагать свою просьбу. При желании этот жест можно было понять как одобрение и отпущение грехов. Развязка вроде бы приближалась, но хитрец Лоренцо перечеркнул все, наотрез отказавшись приехать в Имолу. Удалить его из города и оторвать от сторонников не удалось. Снова нужно было ждать подходящего случая.

Трудно сказать, знал ли Великолепный о кознях своих врагов и их намерениях – осведомителей у него было достаточно, – или же его и на сей раз не подвело предчувствие, свойственное Медичи. Избежав ловушки, устроенной Риарио, он энергично взялся за поиски союзников. Милан и Венеция поддержали его. Прошел слух, что этот союз создается все для той же цели – борьбы против турок. Но когда в городах, принадлежащих Флоренции, стали размещаться гарнизоны Миланского герцогства и Венецианской республики, даже самых недогадливых обуяли сомнения: правду ли им говорят?

Жизнь простых граждан Флоренции, несмотря на смутные догадки о надвигающихся событиях, между тем шла своим чередом – на то и избрана Синьория, чтобы проявлять бдительность и отодвигать угрозы городу! Беспокойство то утихало, то вновь вспыхивало. Оно охватило весь город, когда на другой день после Рождества 1476 года был убит миланский герцог Галеаццо Сфорца. Искренне или по расчету, но он был другом Лоренцо и всегда был готов прийти ему на помощь. Покушение совершили трое юношей, которым вбили в голову, что тем самым они спасают Милан от тирана. Кто стоял за их спинами, так и не узнали, ибо они были тут же растерзаны рассвирепевшей толпой. Лоренцо снова предложили нанять телохранителей, и он вновь отказался. Древо свободы, за которую отдали жизнь юные мечтатели, в Милане не произросло, преемники Сфорца вроде бы собирались продолжать его политику, но их нужно было ублажать, чтобы они, не дай бог, не переметнулись на другую сторону.

Работы на виа Ларга были прекращены – Лоренцо стало не до

украшения своего палаццо, да и деньги требовались для других целей. Любителям муз пришлось перенести свои встречи на виллу Фичино, а когда пришла осень, стали собираться у Лоренцо ди Пьерфранческо деи Медичи, юноши во всех отношениях одаренного; так, во всяком случае, утверждали Полициано и Фичино. Лоренцо принадлежал к боковой линии семейства Медичи, которая подчеркнуто чуждалась политики; они с братом Джованни даже заслужили прозвище Пополани – «народных». Унаследовав после смерти отца немалое состояние, Лоренцо начал в изобилии тратить его на свои прихоти. Они мало чем отличались от интересов его сверстников из семейств нобилей – наряды, женщины, шумные пирушки, античные авторы и, естественно, Данте. Однако он отличался от них тем, что поэзией, философией, историей занимался всерьез и с охотой. Чтение стихов входило в обязательный круг занятий благородного юношества, равно как и музыка. Во всем этом Лоренцо, несмотря на свою молодость – ему было всего пятнадцать лет, – изрядно преуспел, так что был интересным собеседником для людей намного старше его.

Меценатствовать он начал рано, подражая кузену и блюдя традиции семейства Медичи. Когда Великолепный всецело переключился на дела политические, к Лоренцо ди Пьерфранческо перекочевали многие из тех, кому его тезка оказывал покровительство, и Сандро не был исключением. Находясь в том возрасте, когда Мадонны и святые интересуют мало, а впереди еще долгая жизнь, за которую успеешь отмолить грехи юности, Лоренцо был поклонником Венеры, «матери грации, красоты и верности», как назвал ее Фичино, когда он попросил философа охарактеризовать ее. Впрочем, на этом мудрый Марсилио не остановился. «Венера, – записал он в памятке для Лоренцо, – означает не что иное, как человечность. Она нимфа изумительной красоты, рожденная небом, и более, чем другие, любима Всевышним. Ее душа и дух – это любовь и милосердие, ее глаза – достоинство и мужество, ее руки – щедрость и сердечность, ее ноги – красота и скромность. А все она в целом – это умеренность и справедливость, красота и блеск». Как же после этого не поклоняться ей!

Сандро не удивился, когда Лоренцо ди Пьерфранческо пожелал, чтобы он написал для него древнюю богиню любви и красоты. Он согласился, но по трезвом размышлении сам испугался своей дерзости и безрассудства. Если на то, что некоторые живописцы не брезговали изображать обнаженную натуру, горожане до поры смотрели сквозь пальцы, то неизвестно было, как они отнесутся к затее Лоренцо – ведь он не собирался

прятать его картину от посторонних глаз. Изображение непокрытой одеждой плоти считалось греховным, и еще большим преступлением можно было счесть прославление языческой богини, которая по христианскому учению относилась к идолам, орудиям нечистого. При всей снисходительности высоких священнослужителей к увлечению античностью – некоторые из них и сами впадали в этот грех, – церковь все с большим неудовольствием взирала на поклонение древности, охватившее Италию. Дьявол нынче обзавелся многими добровольными помощниками, которые не только препятствовали добрым христианам уничтожать извлеченные из земли языческие статуи, соблазняя их большими деньгами, но и выставляли этих истуканов в своих садах и домах, будто святые реликвии. Таких разрушителей веры во Флоренции было, пожалуй, больше, чем в других городах. К их сонму теперь присоединился и Сандро.

Грех, конечно, не уменьшался оттого, что Лоренцо ди Пьерфранческо клятвенно заверил его: эту картину он будет хранить у себя на загородной вилле и показывать только закадычным друзьям. Однако искушение было велико – насколько он знал, еще ни один живописец не брался за подобную тему. Картину предстояло написать для знатоков античности, которых вряд ли, как какого-нибудь купца, устроило бы простое изображение обнаженной женщины. В картине нужно было выразить все то, что Фичино изложил в словах. Правда, его описание было слишком отвлеченным, чтобы иметь какой-нибудь практический смысл. Какая жалость, что не сохранилось картин грека Апеллеса, на место которого теперь прочили его, Сандро! Наверняка они бы подсказали нужное решение. Пришлось обратиться к книгам древних авторов.

Было нечто кощунственное в том, что когда другие просили Богородицу отвести от города грозящие опасности, он, забросив своих Мадонн, выискивал у язычников описание богини, от которой нельзя было ожидать ничего, кроме несчастий. В иные моменты он был готов отказаться от заказа, но впитанное с детства правило флорентийских ремесленников – данное слово крепче письменного договора, – всякий раз удерживало его от этого. Обещанное следует выполнять даже ценою своей души.

Он и представить не мог, насколько тяжким окажется этот труд, хотя и пользовался советами лучших умов Флоренции. Описание Венеры, более или менее подходящее для выполнения заказа, отыскалось сравнительно быстро, в «Золотом осле» Апулея: «…невыразимая грация была присуща всему ее существу, и цвет лилии расцветал на ее лице. Это была Венера, но Венера-девственница. Одежды не скрывали безупречную красоту ее тела,

она шла обнаженной, и только покров бросал тень на ее наготу. Бесстыжий ветер то поднимал своенравно легкий флер, и тогда цветок юности представал обнаженным, то прижимал этот флер плотно к ее телу, и под прозрачной оболочкой становились видны соблазнительные формы. Только два цвета были присущи богине: белизна ее тела, так как она была небесного происхождения, и зеленый цвет ее покрывала, потому что она была рождена морем».

Так римский писатель описывал шествие Венеры на суд Париса – почти готовая картина, которую без особых усилий можно перенести на доску. Соблазнительно было отказаться от дальнейших поисков и приступить к работе, однако про Апулея пришлось забыть – его описание не устраивало философов с виллы Кареджи. Они нашли его примитивным; более того, на их взгляд, зритель мог бы понять его в самом обыденном смысле. Такие шествия, когда впереди шли девушки, едва прикрытые прозрачной тканью, время от времени устраивались во Флоренции по случаю прибытия какого-либо знатного гостя – особенно если он был известен как большой любитель женского пола. Обычно этих красавиц набирали в борделях, которых, несмотря на формальный запрет, в городе было предостаточно. Нет, не такую Венеру они имели в виду!

Задумки отбрасывались одна за другой – когда слишком много мудрецов спорят друг с другом, дело топчется на месте. Почти весь следующий год был потрачен на то, чтобы добиться единства во мнениях. Походило на то, что сама Венера перестала интересовать их – каждый предлагал свое толкование образа богини, приводя в доказательство множество цитат из древних и новых авторов. Лоренцо ди Пьер-франческо уже отчаялся получить желаемое, а Сандро, вместо того чтобы писать, корпел над фолиантами, все глубже погрязая в них. В результате у одних он обрел славу живописца глубокомысленного, а у других – бездельника, отлынивающего от дела. Работал он и правда мало: несколько портретов, пара кассоне и вечные изображения Мадонн.

Что же касается заказа Лоренцо ди Пьерфранческо, то долгие ожесточенные споры, к неудовольствию юноши, завершились тем, что решили остановиться на теме «Венера, каковую грацию украшают цветами, провозглашая приход Весны». Впоследствии картина была названа более кратко – «Примавера» или «Весна», что было гораздо точнее, ибо мудрые советчики Лоренцо «нафаршировали» ее таким количеством сюжетов и фигур, что Венера отодвинулась на второй план.

По сути, замысел этой картины определил не Фичино, а

Анджвло Полициано. Как-то они вспоминали турнир 1475 года, и поэту с его скачкообразной фантазией, полной ассоциаций, пришли на память «Фасты» Овидия. Празднества, устроенные Лоренцо, происходили весной, вот Анджвло и припомнил «Фасты» Овидия:

> …иные хотели, Венера,
> Этого месяца честь вовсе отнять у тебя!
> Но ведь в апреле всегда оперяется почва травою,
> Злой отступает мороз, вновь плодородит Земля.
> Вот потому-то апрель, несомненно, есть месяц Венеры
> И показует, что ей должен он быть посвящен…[8]

А отсюда – всего лишь шаг до Харит, сплетающих венки из первых цветов. Их, впрочем, решили заменить Грациями, которые водят хоровод, а там, где Грации, которые, по заключению Фичино, «не что иное, как одна грация, как я бы сказал, состоящая из всех трех граций», там должен быть и Меркурий, их предводитель. Естественно, никакая весна не может обойтись без богини растительности Флоры, украшающей землю своими дарами. Да, многознающим мужем был этот Овидий, постигший видимо не только науку любви:

> Флорой зовусь, а была Хлоридой, в устах же латинских
> Имени моего греческий звук искажен.
> Да, я была на блаженных полях Хлоридою-нимфой
> Там, где счастливцы мужи в оное время цвели.
> Как хороша я была, мне мешает сказать моя скромность,
> Но добыла я своей матери бога в зятья.
> Как-то весной на глаза я Зефиру попалась; ушла я,
> Он полетел за мной: был он сильнее меня.
> Право девиц похищать Борей ему дал: он и сам ведь
> Дочь Эрехтея увлек прямо из дома отца.
> Все же насилье Зефир оправдал, меня сделав супругой,
> И на свой брачный союз я никогда не ропщу.
> Вечной я нежусь весной, весна – это лучшее время:
> В зелени все дерева, вся зеленеет земля.

Персонажей на картине получалось такое множество, что напрашивалась композиция в виде шествия, но от такого решения они отказались с самого начала – нужно было изобразить что-то иное, иначе ничем не связанные фигуры распадутся на отдельные группы и, кроме насмешек собратьев по ремеслу, из картины

ничего не выйдет. Но пока на ум что-то путное не приходило. Будучи заняты делом, в глазах многих бесполезным и к тому же безбожным, они, подобно людям, созерцающим звезды и не замечающим, что шагают по грязным лужам, просмотрели то, что творилось у них под носом. А стоило бы призадуматься над этим.

На первый взгляд во Флоренции вроде бы было спокойно. Никого из них не затронул новый закон Синьории, принятый по настоянию Лоренцо: отныне в случае смерти главы семейства, если у него не было сына, наследство переходило племянникам, а не дочерям. Это решение взбудоражило весь город, но лишь немногие понимали его истинную подоплеку – продолжающуюся борьбу Медичи с семейством Пацци. Теперь оно лишалось значительной части своего состояния, которое отнималось у них в пользу племянника Карло Борромеи, сторонника Лоренцо. И если до сих пор Пацци все еще медлили, то теперь сложившиеся обстоятельства вынуждали их действовать незамедлительно. Старый Якопо отбросил прежние сомнения и перешел на сторону заговорщиков.

В августе 1477 года во Флоренцию прибыл капитан папских наемников Монтесекко – якобы для того, чтобы уладить отношения с Медичи. Он был принят Великолепным. О чем они говорили, мало кому было известно, но все обратили внимание, что большую часть времени капитан провел с Якопо и Франческо Пацци на вилле Монтуччи. Только он уехал, как Флоренцию осчастливил своим посещением архиепископ Франческо Сальвиати, тоже ставший гостем семейства Пацци. Паломничество явных противников Лоренцо было настолько многочисленным, что невольно вызывало подозрения. К тому же стали поступать вести из Пизы, Вольтерры и других городов, куда будто бы по церковным надобностям стали чересчур часто наезжать гости из Рима. Зимой число поездок сократилось, что объясняли трудностями путешествий. На самом же деле подготовка к мятежу уже была закончена – он был назначен «на пятый день до майских календ» будущего года, то есть на конец апреля.

Вскоре после встречи Нового года, который отпраздновали с традиционной пышностью, в начале апреля 1478 года из Перуджи приехали многочисленные родственники Пацци, проживавшие там. На улицах Флоренции замелькали какие-то доселе незнакомые лица, потом вдруг привалила целая толпа пизанцев, якобы ищущих спасения от начавшейся в их городе чумы. На виа Нуова тоже началось странное движение: отец Марко, Пьетро Веспуччи, который не жаловал сына частыми посещениями, теперь не покидал его дома, принимая своих дружков по

кабацким похождениям. Поговаривали о том, что, промотав окончательно доставшееся ему наследство, он теперь жил на хлебах у Марко. Но это как раз и было странным, ибо Пьетро, кичась своим рыцарским происхождением, казалось, одно время порвал с сыном как с опозорившим честь семейства, поскольку тот взирал сквозь пальцы на связь Симонетты с Джулиано. Но «возрожденной Венеры» уже больше года не было в живых, и, может быть, родственникам удалось помириться. Несколько раз Сандро наблюдал, как палаццо Веспуччи посещал Франческо Пацци, что тоже было необычно.

В середине апреля во Флоренции объявился шестнадцатилетний кардинал Рафаэлло Риарио. До недавнего времени он был всего-навсего студентом в Пизе, но в прошлом году получил от дяди Сикста в подарок кардинальскую шапку. Каким бы ни было отношение флорентийцев к племяннику папского непота, но сан юноши обязывал оказать ему надлежащие почести. По случаю его приезда на 26 апреля была назначена торжественная месса в кафедральном соборе Санта-Мария дель Фьоре. Актеры были расставлены по местам, настало время начать действие.

За два дня до этого события Сандро по поручению Лоренцо пришлось отправиться в Фьезоле на виллу Медичи, чтобы подготовить ее к приему высокого гостя – новоиспеченный кардинал изъявил желание познакомиться с убранством и планировкой усадьбы. Кто, как не творец, мог бы подготовить ее так, чтобы ничто не оскорбило эстетических чувств юного кардинала, также не чуждого искусства? Рафаэлло, впрочем, интересовали не картины и статуи, а ковры, мебель и домашняя утварь. Для этого вряд ли стоило так тщательно готовиться.

Лоренцо приехал на виллу утром следующего дня в сопровождении малолетнего сына Пьеро, которому, на его взгляд, пришло время набираться опыта в ведении переговоров, и его наставника Полициано, который, по всей видимости, должен был поддерживать с гостем ученую беседу. Поскольку предстояло вести разговоры с кардиналом, Анджело облачился в сутану, – стараниями Лоренцо он получил приход и сан аббата, так что носил ее по праву. В полдень прибыли гости. Рафаэлло сопровождали гости, которых Великолепный, будь на то его воля, вряд ли пригласил бы за свой стол. Тут были и архиепископ Сальвиати, и Франческо Пацци, и капитан Монтесекко, и уж совсем не к месту в этом доме оказался Маффеи из Вольтерры, открыто похвалявшийся своей ненавистью к семейству Медичи как поработителям его родного города. Его присутствие объясняли тем, что именно он по поручению папы доставил в

Пизу кардинальскую шапку для Рафаэлло и поэтому стал его другом и советником.

Если Лоренцо рассчитывал провести какие-либо переговоры с кардиналом, то он ошибся. Походило на то, что прибывших глубоко разочаровало отсутствие Джулиано; они лишь мельком взглянули на все то, ради чего настаивали на встрече, так что все усилия Сандро оказались напрасными. Тщетны были и потуги Полициано вовлечь гостей в беседу об искусстве. К сообщению, что Джулиано болен, они отнеслись с недоверием и отбыли сразу же после обеда, как только получили приглашение Лоренцо на банкет, который он намерен был дать в честь кардинала сразу же после торжественной мессы в кафедральном соборе.

Впечатление, что визитеры обескуражены болезнью Джулиано, было правильным: в очередной раз сорвался их план одновременного уничтожения братьев Медичи без особого шума. Они решили более не рисковать – было условлено убить их в соборе во время мессы. Если же и это не удастся, то покушение должно быть совершено в палаццо на виа Ларга. Были определены исполнители: Джулиано брали на себя Франческо Пацци и Бернардо Бандини, а Лоренцо должен был пасть от руки Монтесекко. После этого Сальвиати во главе отряда перуджинцев займет Синьорию и разгонит советников, а Якопо Пацци поднимет против тирании Медичи граждан Флоренции.

Казалось, все было обговорено, как вдруг Монтесекко наотрез отказался проливать кровь в святом месте и обрекать себя на вечные муки, ибо такой грех вряд ли снимет даже сам папа. Тогда за эту роль взялись Антонио Маффеи и секретарь Якопо Пацци Стефано Бальони – священники и при этом люди без принципов и предрассудков. Возвратившись в город вместе с Лоренцо и Полициано, Сандро всю ночь занимался в палаццо на виа Ларга тем же делом, что и во Фьезоле: готовил дом к приему гостей, доставал украшения, разворачивал одеяния, расставлял серебряную утварь и выкладывал драгоценные камни. Кардинал пожелал рассмотреть все это в подробностях, ибо был наслышан о тех сокровищах, которые нажило семейство Медичи. Не спали и повара – готовили роскошный обед.

Утром Лоренцо в сопровождении верных друзей отправился в церковь, видимо, ничего не подозревая: если он и знал о заговоре, то ему и в голову не могло прийти, что покушение может быть совершено во время богослужения. Джулиано, все еще чувствующий недомогание, решил остаться дома. Но вскоре после ухода Великолепного в палаццо появились Франческо Пацци и Бандини – люди, которых меньше всего можно было заподозрить в дружеских чувствах к младшему Медичи. Он согласился их

принять. Что они ему наговорили, каких заверений в миролюбии ни надавали, неизвестно, но Джулиано согласился вместе с ними пойти в собор. Сандро, завершив свои дела, отправился за ними. Джулиано действительно был болен, со стороны это было заметно – его буквально вели под руки.

По случаю торжеств собор был забит до отказа. Джулиано кое-как протиснулся вперед к брату, Сандро же застрял в задних рядах, так что о происшедшем узнал впоследствии из чужих слов. Он видел лишь, как мимо него, расталкивая толпу, пробежали архиепископ Сальвиати вместе с Якопо Пацци и его околачивающимися во Флоренции перуджинскими родственниками. Куда они неслись, сломя голову? Но об этом уже не было времени подумать. Все произошло после того, как священник, закончив причастие, воздел руки к небу и начал благодарственную молитву: в это же время все собравшиеся будто от какого-то толчка пришли в движение: кто бросился вперед, кто пустился бежать. Спереди раздавались крики, потом глухие удары, словно кто-то ломился в закрытую дверь. Раздался крик: «Медичи убиты!» – и бешеный людской поток завертел Сандро.

Произошло следующее. Жест священнослужителя послужил для заговорщиков знаком начать задуманное. Бандини ударил кинжалом в грудь стоявшего рядом Джулиано, тот бросился бежать, но, сделав несколько шагов, упал, и Франческо Пацци добил его. Бальони и Маффеи тем временем кинулись на Лоренцо, но их слишком короткие ножи не достигли цели: жертва, легко раненная в шею, но не потерявшая присутствия духа, уклонилась от удара. Сбросив плащ, Лоренцо намотал его на левую руку и выхватил меч. Вряд ли ему удалось бы одержать верх в этой схватке, ибо на помощь его противникам бросились Бандини и Франческо. Братья Кавальканти и миланские посланники поспешили оттеснить Великолепного за алтарь, а Франческо Нери, торговый агент Медичи, неоднократно выполнявший его дипломатические поручения и оказавшийся в этот момент рядом с ним, прикрыл его своим телом и был сражен кинжалом Бальдини. Полициано удалось втолкнуть Лоренцо в ризницу, заперев дверь. Здесь ему перевязали рану, а Анджвло даже высосал из нее яд – кинжал заговорщика мог оказаться отравленным. Правитель никак не мог успокоиться, все время спрашивая о судьбе брата. В это время в дверь стали стучаться, – эти удары и слышал Сандро, – и все приготовились к отражению нового нападения. Однако это были сторонники Лоренцо, которые разогнали заговорщиков и теперь торопили Лоренцо покинуть собор, пока те не привели подкрепление. Друзья окружили Великолепного плотным кольцом и вывели на площадь

окольным путем, чтобы он не увидел трупа Джулиано. Ударил колокол, созывая граждан Флоренции к Синьории.

Толпа в соборе поредела, и Сандро теперь мог протиснуться к алтарю. Картина, которую он увидел, запечатлелась в его памяти навсегда: на полу, залитом кровью, лежал Джулиано, недалеко от него – Нери, а у подножья алтаря, охватив голову руками, неподвижно сидел кардинал Рафаэлло Риарио. Вышедший из ризницы Полициано наклонился над телом Джулиано, но убедившись, что тот мертв, поспешил прочь из собора. Сандро догнал его уже около дворца Медичи. Из проулков и улочек на площадь изливались толпы горожан. Пока ничего нельзя было понять: враги это или сторонники Великолепного. Над городом плыл тревожный набат, бряцало оружие, от Синьории доносился все более нарастающий шум. Никто ничего не знал. Двери палаццо были распахнуты настежь, в них беспрерывно входили и выходили.

Дом Медичи был набит людьми до отказа. Лоренцо не было видно – он находился во внутренних покоях, где спешно приглашенные врачи оказывали ему помощь. Накрытый для праздничного обеда стол выглядел нелепо среди этой толкотни. Сандро не знал, как ему поступить – оставаться здесь или отправляться на площадь, где, видимо, именно сейчас разворачивались главные события. В такой же нерешительности пребывали и остальные. Разумнее, конечно, было не покидать Лоренцо, которому по-прежнему грозила опасность. Великолепный несколько раз появлялся в зале для приемов и спрашивал о Джулиано, но ему не осмеливались сказать правду – тело все еще оставалось в соборе, ибо не было никакой возможности перенести его в дом. Плотная толпа окружала палаццо – требовали, чтобы Лоренцо показался народу, ибо по городу ходили слухи, что и он убит заговорщиками. Лоренцо неоднократно подходил к окну и призывал собравшихся не поддаваться ярости. Для этого были основания, ибо из толпы ему уже протягивали насаженные на копья оторванные головы, руки, ноги. Его призывы к милосердию оказывались напрасными – впервые в своей жизни Сандро увидел, сколь безжалостными и жестокими могут быть его сограждане.

Гвалт на площади стал стихать лишь под вечер. Дом на виа Ларга постепенно стал пустеть: события, по всей вероятности, перемещались в другие концы города. Пришел гон-фалоньер справедливости Чезаре Петруччи, и почти одновременно из собора принесли тело Джулиано. Лицо юноши было изуродовано до неузнаваемости – Франческо в своей ярости и ненависти искромсал его кинжалом. Пошли подготовить Лукрецию, ибо

зрелище было поистине ужасным. Лоренцо в молчании, словно окаменев, застыл над трупом брата.

Петруччи, восемь лет назад подавивший мятеж в Прато, по-военному кратко сообщил о том, что произошло в здании Синьории и на площади перед ним. Архиепископ Сальвиати, покинув собор в сопровождении отряда перуджинцев, ворвался в здание и потребовал встречи с гонфалоньером, которому он якобы должен был передать послание папы. Пока он препирался со слугами, перуджинцы завладели одной из комнат, но на свою беду, желая закрепиться в ней, захлопнули за собой двери. Они не знали их секрета: будучи закрыты, двери сами собой защелкивались, и открыть их без помощи ключа было невозможно. Заговорщики оказались в ловушке.

Архиепископ, оставшийся в одиночестве, видя, что в зале, где он дожидался Петруччи, начинает появляться городская стража, бросился бежать. Чезаре погнался за ним, но на его пути встал Якопо ди Поджо, секретарь Рафаэлло. Схватив его за волосы и повалив наземь, Петруччи устремился за архиепископом, однако ему пришлось отступиться, так как с площади ворвалась еще одна группа заговорщиков. Вооружившись попавшим под руку вертелом, гонфалоньер вместе с частью охраны бросился к башне дворца, чтобы укрепиться в ней. На помощь архиепископу поспешил Якопо Пацци с отрядом человек в пятьдесят; он призвал сограждан подняться против тирании Медичи, но собравшаяся на площади толпа не вняла его обращению. С башни на заговорщиков обрушился град камней. После этого Якопо сообразил, что предприятие не обещает успеха, и незаметно улизнул с площади, бросив соратников на произвол судьбы. Тем временем к палаццо Веккьо, привлеченные набатом, стекались сторонники Лоренцо. Вскоре Синьория была в их руках, они взломали двери комнаты, где заперлись перуджинцы, и выбросили их из окон на растерзание толпы. Освобожденный из башни Петруччи в приступе ярости приказал повесить Якопо ди Поджо на оконной раме. Так же поступили бы и с захваченным Сальвиати, но Чезаре вовремя спохватился: следовало допросить его и вскрыть корни заговора. Теперь он пришел за советом к Лоренцо.

О чем они договорились, уединившись в кабинете после того, как Великолепный наконец отошел от тела брата, Сандро не узнал, так как они с Полициано решили выйти на площадь. В окружении слуг, несших зажженные факелы, они обошли место побоища из конца в конец. Это было страшное зрелище: повсюду валялись раздетые, изуродованные трупы. С таким изуверством Сандро, избегавший писать распятие Христа, ибо изображение

мук всегда было ему не по душе, встречался впервые. Казалось, здесь буйствовали не люди, а дикие звери, приведенные в раж видом и запахом крови. Мимо них, громыхая оружием, проходили отряды городской стражи: оказывается, Лоренцо распорядился взять под охрану дома мятежников, чтобы предохранить их от разграбления. Какие-то смутные тени маячили на площади. Под окном палаццо Веккьо темнел силуэт повешенного Якопо. Все это походило на один из кругов Дантова ада.

Полициано остановился и долго смотрел на повешенного. Можно было представить, что он думает. Еще совсем недавно Якопо был среди них. Друг Фичино, он часто посещал их собрания; хотя его злой язык не всем приходился по нраву, но у него нельзя было отнять ораторского дара и глубокого знания истории. В прошлом году ему удалось издать «Историю Флоренции», написанную его покойным отцом Поджо Браччолини. Это подорвало его и без того скудные финансы, и ему пришлось идти в услужение к кардиналу Рафаэлло Риарио. Неисповедимы пути твои, Господи! Что заставило молодого эрудита полезть в самую свалку и первым поплатиться за это?

В окнах Синьории замелькали огни – там явно что-то происходило. Какое-то время мелькали тени, раздавались крики, а потом рядом с Якопо ди Поджо забились в судорогах еще трое: Сальвиати, Франческо Пацци и двоюродный брат архиепископа Якопо Сальвиати. Был ли это приказ Лоренцо или разъяренная охрана Синьории свершила свой собственный суд, так и осталось невыясненным. У Сальвиати удалось вырвать показания о заговоре, он назвал много имен, и теперь его сторонников разыскивали по городу и его окрестностям. Франческо нашли в его доме; раненный во время схватки в соборе, он готовился бежать, когда толпа окружила его палаццо, и отряду городской охраны с большим трудом удалось отбить его и полуживым притащить в Синьорию. Стражники старались зря, ибо Франческо без всяких там допросов был тут же повешен. Кузен Сальвиати, бывший до этого советником Медичи в Пизе, был казнен под горячую руку – в мятеже он не принимал непосредственного участия. Но сейчас было достаточно принадлежать к родам Сальвиати или Пацци, чтобы лишиться жизни. Искали убийц Джулиано, Якопо Пацци и Монтесекко, но они будто провалились сквозь землю. Ходили слухи, что они успели бежать из Флоренции через ворота Кроче, которые почему-то не были закрыты, как это полагалось во время мятежей и волнений.

Сандро возвратился домой лишь под утро, когда на виа Нуова все еще толпился народ. В доме не спали. Он узнал, что городская стража схватила Пьетро Веспуччи и отвела его в

тюрьму, что народ требует выдать Марко, ибо считает, что он не простил Джулиано любви к Симонетте и приложил руку к его убийству. О Пьетро говорили: надеясь на успех заговора, он во всеоружии направился к Сеньории, но по пути узнал о провале и тогда бросился к дому Пацци, чтобы поспеть к дележу добычи, но просчитался и здесь – зная о его ненависти к Медичи, его схватили как сообщника Сальвиати. Распоряжение насчет Марко пришло утром: он изгонялся из Флоренции с запрещением приближаться к ее стенам ближе, чем на пять миль. Только сейчас многим пришло на ум, что Джулиано погиб ровно через два года после смерти Симонетты, день в день.

С утра вроде бы утихшие бесчинства возобновились. Над Флоренцией плыл несмолкаемый гул колоколов, призывая граждан то ли к бдительности, то ли к продолжению расправы. Сандро испытал непроходящее чувство ужаса: благочестивые флорентийцы, поклонявшиеся его сладостным Мадоннам, словно обезумевшие, метались по городу, истребляя правых и виноватых в своей необузданной жажде крови и мести. Совет восьми, ведавший внутренними делами города, заседал без перерыва: в тюрьме и в ратуше вершили суд, пытали, записывали доносы, посылали в разные концы стражу, принимали задержанных.

После полудня в город доставили пойманных на заставе Муджело Якопо Пацци, нескольких его родственников и Монтесекко. Когда задержанных вели по городу, их пришлось не раз отбивать от толпы, иначе они были бы разорваны на куски. Ночью Якопо был повешен, Монтесекко на несколько часов сохранили жизнь с тем, чтобы он описал, как готовили заговор и кто был его зачинщиком. Затем ему отрубили голову – как военный он избежал позорной казни. У баптистерия собирался народ – стало известно, что Маффеи и Стефано Бальони укрылись там, и теперь от монахов требовали их выдачи. Те взывали к святости места и праву убежища, толпа постепенно свирепела. В Муджело прибыло несколько миланских конных и пеших отрядов под предводительством кондотьера Бентиволью. Совет восьми принял решение – поблагодарить соседей за помощь, но в город не пускать, так как опасались, что солдаты усугубят смуту ради военной добычи.

Вечером Сандро призвали на виа Ларга – Великолепный желал видеть его по спешному делу. Перед палаццо, портал которого был обтянут траурным крепом, теснился народ – добровольные защитники Медичи. В самом доме царил глубокий траур; говорили только шепотом, будто боясь нарушить покой погибшего. Прежде чем пройти к Лоренцо, Сандро зашел попрощаться с Джулиано. Лицо убитого прикрыли тканью – оно

было так изуродовано, что оказалось невозможным снять посмертную маску, как того желал Лоренцо.

В студиоло – кабинете для ученых занятий – вместе с хозяином дома находился гонфалоньер Петруччи. Несмотря на всю боль, которую ему причинила смерть любимого брата, Лоренцо показался Сандро на удивление спокойным. Лицо его будто окаменело, подбородок еще больше заострился, слегка подергивалось веко над правым глазом. Он то и дело подносил руку к повязке на шее, словно она мешала ему. Видимо, до прихода живописца гонфалоньер о чем-то докладывал правителю. В городе не сомневались, что все решения, выносимые от имени Совета восьми, принимались самим Лоренцо. Сам того не желая, папа Сикст, сколотивший заговор против Великолепного, укрепил его власть. Может быть, не всем патрициям это было по душе, но свои истинные чувства им пришлось запрятать подальше. На стороне Медичи был простой люд, ремесленники и мелкие торговцы, и сейчас было достаточно одного неосторожного слова, чтобы, в лучшем случае, оказаться вне пределов Флоренции. Лоренцо, боготворивший своего деда Козимо, отнюдь не собирался следовать его всепрощению и милосердию к врагам. Род Пацци на территории Тосканы был обречен, его истребление уже началось – некоторых его представителей привозили во Флоренцию, с другими расправлялись на месте подосланные Синьорией агенты. Лоренцо следовал примеру своих любимых героев древности, для которых благо отечества было выше всего, в том числе и жалости. Похоже, он и сам уверовал, что, истребляя своих противников, оказывает благодеяние городу. Гибли даже те Пацци, у которых были родственные связи с семейством Медичи.

В просьбе-приказе Лоренцо написать портрет Джулиано не было ничего необычного, поскольку от снятия маски пришлось отказаться, но второе задание повергло Сандро в ужас: ему предстояло написать на стене палаццо Веккьо фреску с изображением четырех повешенных. Лоренцо воскрешал почти позабытый стародавний обычай, когда портреты казненных или изгнанных из города преступников помещались на стенах их жилищ – в назидание и предостережение гражданам Флоренции. Не всякий живописец брался за подобную грязную работу, ибо кроме ненависти оставшихся родственников он навлекал на себя такое же презрение, как и палач. У всех в памяти осталась трагическая история живописца Андреа дель Кастаньо, который по приказанию Синьории изобразил казненных Перуцци и Альбицци, изменников в битве при Ангьяри. После этого ему пришось покинуть Флоренцию и несколько лет скрываться в Венеции. Он так и умер, не отмывшись от прозвища Андреа дельи

Импикати, что значит «Андреа повешенных». Более того, не было такого порока, которого не приписали бы художнику, видя в нем убийцу и отравителя.

Такой судьбы Сандро себе не желал, да и сюжет был не из тех, который мог бы прийтись ему по сердцу. Однако отказать Лоренцо – значило вызвать его гнев и не только лишиться его покровительства, но и быть подвергнутым остракизму сограждан, готовых сейчас искренне или ради выгоды петь Великолепному хвалебные гимны, видеть в нем спасителя отечества. Чье-либо желание или нежелание теперь мало интересовало Лоренцо – все должны были подчиняться его воле. Флоренция зажималась в тиски, но горожане поняли это значительно позже. Не один Сандро оказался в подобном положении: по приказу Лоренцо Полициано вынужден был оставить свои сладкозвучные вирши и засесть за описание заговора, оправдывая жестокость Лоренцо и доказывая его правоту. Когда страсти немного приутихли, до наиболее осторожных и прозорливых дошло, что казнь Сальвиати не сойдет с рук так просто: что касается других, то их судьбу Флоренция вправе решать сама, но повесить архиепископа – это уж слишком! Чтобы не раздражать Сикста еще больше, кардиналу Рафаэлло разрешили убраться восвояси.

В сумрачном настроении Сандро покинул кабинет Лоренцо. Постояв у тела Джулиано, он не решился попросить открыть его лицо: он был просто не в состоянии смотреть на того, кто еще совсем недавно был олицетворением красоты и жизненной силы. Вздохнув, он отправился к палаццо Веккьо. В рассеянном свете уже почти закатившегося солнца трупы повешенных выглядели еще более зловеще, как-то нереально. Над площадью, раскалившейся за жаркий весенний день, облаком повис тошнотворный трупный запах – его источали плиты, напитавшиеся кровью растерзанных мятежников. Оказаться бы подальше от этого места! Но ему предстояло запомнить лица казненных, определить хотя бы на глаз расположение будущей фрески и ее размеры и в довершение всего попросить служителей Синьории перевесить трупы, поскольку Лоренцо, желая еще больше унизить противников, пожелал, чтобы они были изображены повешенными за ноги – здесь одной фантазией не обойдешься, нужно написать все так, как это выглядит в действительности. От служителей Сандро узнал, что днем на площадь приходил Леонардо да Винчи и делал зарисовки. Уж этому все нипочем – он изучает природу! Ему приспичило узнать, какое положение занимает тело повешенного, что происходит с его мускулами, какое выражение принимает лицо и многое другое, что даже не придет в голову нормальному человеку! На

площадь уже слеталось воронье. Запах тления в разливающейся ночной прохладе становился невыносимым. Сандро ушел домой.

Ночью трупы сняли. Перед стеной спешно соорудили леса и по желанию Сандро затянули их полотном, чтобы, пока он будет работать, на него не глазели с площади. Торопились напрасно, ибо живописцу нужно было еще изготовить картоны для будущей фрески, а эта работа никак не клеилась. Во сне его мучили кошмары: казненные плясали перед ним, корчили рожи, высовывали языки, а после пробуждения ему снова предстояла встреча с ними, возникающими под его кистью. Но еще хуже ему пришлось, когда он приступил к фреске. Ему казалось, что от стены Синьории до сих пор исходит неприятная вонь гниющего мяса, которую не в силах перебить даже запах сырой штукатурки. Его мутило, он бросал работу, штукатурка подсыхала, ее обливали водой и накладывали сверху новую – пытка грозила затянуться надолго. От пережитого невозможно было отвлечься и дома: портрет Джулиано, с которым тоже нужно было спешить, чтобы в памяти не изгладились черты погибшего, постоянно напоминал о происшедшем.

События, начало которым положил злосчастный апрельский день, на долгие месяцы определили жизнь Флоренции. Похороны Джулиано – с соблюдением всех традиций, с плакальщицами, с обязательным присутствием всех родственников и друзей, с погребением в древней базилике Сан-Лоренцо – не подвели под ними черты. Молодежь города еще долгое время носила траурные одежды, а власти разбирались с последствиями заговора. Угрозами они принудили монахов баптистерия Сан-Джованни выдать Маффеи и Стефано. После мучительных пыток – им отрезали носы и уши, изуродовали лица, переломали кости – заговорщиков повесили. Продолжались поиски Бандини. Убийца Джулиано исчез из Флоренции, но Лоренцо поклялся найти его и отомстить.

Якопо Пацци не обрел покоя и в могиле. После казни его погребли в семейной капелле при церкви Санта-Кроче, и казалось, о нем можно было бы и забыть. Но в начале мая на Флоренцию и ее окрестности обрушились небывалые ливни. Арно вышла из берегов, улицы превратились в зловонные канавы – работу над фресками пришлось прекратить. В город со всей округи стали стекаться крестьяне с жалобами на постигшие их беды – потоки воды смывают почву, пшеница полегла, всходы гниют, – как будто флорентийские власти могли им чем-то помочь. Назревали новые беспорядки, и тогда распространился слух: Господь разгневался за то, что старого Якопо похоронили в освященной земле. Перед казнью он якобы богохульствовал,

проклинал не только Синьорию и папу, но и Бога со всеми святыми. Кто пустил этот слух гулять по городу, установить не пытались, но впоследствии заслугу спасения Флоренции от грозившего ей потрясения Полициано приписывал себе. Пришлось принять решение перезахоронить Якопо за городской стеной.

Дальнейшие события Полициано описывал так: «На следующий день произошло нечто подобное дурному пророчеству: огромная толпа детей, как бы побуждаемая зловещими факелами фурий, опять выкопала погребенный труп; когда кто-то попытался им воспрепятствовать, они едва не забросали его камнями. Затем на тело накинули петлю и протащили по всем кварталам города со многими насмешками и поношениями. Они заставляли всех прохожих расступаться, со смехом крича, что сопровождают знатного рыцаря; к тому же, размахивая посохами и остроконечными копьями, они предупреждали, чтобы никто не мешал им на пути к центру города, где ожидали граждане. Быстро протащив его к дому, принялись ударять труп головой в узкую дверь, громко вопрошая, есть ли кто-нибудь дома и встретит ли кто-нибудь хозяина, возвращающегося с большой свитой. Им не позволили пройти к центру, тогда они поспешили к реке Арно, куда и бросили тело. Когда оно всплыло, за ним последовала огромная толпа крестьян, разразившаяся криками; говорят, кто-то заметил с усмешкой, что с этим человеком все произошло так, как он хотел, ведь после смерти, как и при жизни, его сопровождает весь народ».

Флоренция в эти дни и без того жила в тревожном ожидании – ее правительству было ясно, что заговор Сальвиати и Пацци отнюдь не был плодом только их честолюбивого желания господствовать в городе. Нити его тянулись в Рим. Сикст не скрывал своих планов установить власть Ватикана во всей Италии. В подобных помыслах он был не первым и не последним из пап, и на пути к этому стояла прежде всего Флоренция. Сломить ее, подмять под себя – такова была цель воинственного первосвященника. Заговор не удался, но остался путь прямого вторжения. Союзники Сикста уже определились: Джироламо Риарио, Фердинанд Неаполитанский, Федерико Урбинский. Лоренцо мог надеяться на помощь Милана и Венеции. На полуострове опять возникла ситуация, которую в свое время кратко, но емко охарактеризовал Данте:

Италия, раба, скорбей очаг,
В великой буре судно без кормила,
Не госпожа народов, а кабак!

В суматохе этих проклятых дней от внимания граждан как-то ускользнул тот факт, что в управлении их городом произошли изменения. Полномочия Совета восьми были продлены с двух месяцев до полугода, и в него ввели Лоренцо, поручив ему заведование внешними делами республики. Впервые представитель семейства Медичи занял официальный пост – доселе их власть покоилась как бы на негласной договоренности, на авторитете и деньгах. Великолепный не стал терять времени даром. Уже в день мятежа он направил курьеров в Милан и Венецию с просьбой о помощи. Союзники откликнулись сразу же, как только получили его послания: тайный совет Милана послал двух своих кондотьеров с отрядами к северным пределам Тосканы, а Венецианская республика приказала своим полководцам быть наготове, чтобы защитить Флоренцию со стороны Фриули.

Однако Лоренцо беспокоили не столько угрозы вторжения, сколько тайные происки Ватикана. В Риме убили нескольких флорентийских купцов, а их имущество разграбили; наверняка погиб бы и посланник Синьории, если бы его не спас венецианский коллега. Кардинал Рафаэлло Риарио не скупился на преувеличения, расписывая, сколь неучтиво с ним обходился Лоренцо и какие издевательства ему пришлось вынести во Флоренции. Легаты Сикста убеждали европейские дворы, что Лоренцо сам подбил народ на беспорядки, чтобы избавиться от архиепископа Сальвиати, которого не желал признавать. В свою очередь, Великолепный разослал по Европе отчет Полициано о событиях, в которых поэт не пожалел черной краски, описывая заговорщиков как тщеславных проходимцев, пьянчуг, игроков, людей без чести и совести.

Синьорию Сикст также осчастливил посланием, содержащим требование изгнать Лоренцо из города. Флоренция ответила отказом. Тогда папа обнародовал буллу, в которой угрожал всем флорентийцам отлучением от церкви, если они не заставят Лоренцо приехать в Рим для покаяния в своих преступлениях. Великолепный обвинялся в убийстве архиепископа Сальвиати, в задержании во время богослужения кардинала Рафаэлло и заточении его в узилище, а также в покушении на папские владения. Если его воля не будет исполнена, Сикст грозил Флоренции интердиктом – отлучением от церкви, а это значило, что нельзя будет крестить младенцев, отпускать грехи и отпевать умерших. Синьории было над чем задуматься, ибо речь шла об интересах и благе граждан, и здесь она не могла действовать, не

испросив их мнения. Но как знать, каким оно может быть?

Лоренцо нашел выход: он собрал всех известных тосканских теологов в Санта-Мария дель Фьоре и попросил их, изучив папскую буллу, высказать свое суждение. В принципе, все обвинения Сикста легко опровергались, ибо, как всем было известно, Лоренцо не отдавал распоряжений повесить Сальвиати, задержать кардинала или нападать на папские владения – более того, он сам был потерпевшей стороной. Обсуждение богословами послания папы было обстоятельным, но решение вынесли такое, какого и ждали: булла Сикста необоснованна с самого начала, и вследствие этого интердикт был бы недействительным.

Сандро за это время закончил свою фреску и написал портрет Джулиано. «Четверо повешенных», вопреки его опасениям, внимания почти не привлекли: флорентийцы были теперь заняты куда более важными делами, чем обсуждение достоинств или недостатков фрески, к тому же созданной на потребу дня. Ведь это не роспись собора; пройдут дожди, побушуют ветра – и от нее ничего не останется. Откровенно говоря, Сандро желал, чтобы это случалось скорее: его творение было не из тех, которыми можно было бы гордиться. При других обстоятельствах его больно задело бы и то, что Лоренцо как-то равнодушно отнесся к портрету брата – он мельком взглянул на него и приказал убрать в какие-то дальние покои; во всяком случае, потом он на глаза Сандро не попадался. Возможно, Лоренцо не хотел, чтобы перед ним постоянно маячило напоминание о пережитой трагедии, а может, портрет ему просто не понравился. Он слишком походил на те, которые пишутся с посмертных масок. Изобразив Джулиано с закрытыми глазами, чтобы, как он делал это раньше, подчеркнуть его сосредоточенность на внутреннем мире, живописец, по сути, лишил его всякой жизненной силы. Те, кто знал Джулиано при жизни, справедливо могли упрекнуть его в искажении образа покойного. Лоренцо, однако, щедро вознаградил Сандро за работу; за «Повешенных» платила Синьория.

Больше заказов пока не было. Горожанам сейчас было не до того: союзники папы все-таки вторглись во флорентийские владения. Шли бои – ни одна из сторон не могла одержать победы, отряды сходились и расходились, происходили мелкие стычки. От всех этих маневров больше всего страдали крестьяне – их поля уничтожали и те и другие, дома сжигали, виноградники вырубали. 11 июля 1478 года во Флоренцию прибыл посланник калабрийского герцога, который от имени Сикста ставил флорентийцев в известность, что папа ведет войну не против них, а против Лоренцо; он снова требовал выдачи «антихриста» и

осквернителя истиной веры. По просьбе Великолепного, Синьория собрала несколько сот граждан, и, выступив перед ними, Лоренцо сказал, что ради блага республики готов принять смерть или изгнание. От имени собравшихся ему было заявлено: «Ваша светлость должна сохранять мужество, вам надлежит жить и умереть вместе с республикой». Одновременно, вспомнив, что во время трагедии в Санта-Мария дель Фьоре слуги Медичи растерялись и не пришли на помощь своему господину, граждане Флоренции решили выделить Лоренцо охрану из двенадцати человек, которые должны неотступно сопровождать его повсюду. Отменили все празднества, и город начал готовиться к обороне.

Стремясь устрашить Лоренцо, Сикст способствовал тому, что власть и влияние Великолепного еще больше усилились, а граждане Флоренции, встав на его защиту, получили то, против чего всегда выступали, – тиранию. Синьория, из которой были устранены все противники Медичи, покорно исполняла его волю. Изменился и сам Лоренцо: теперь он не терпел никаких возражений, его советники могли высказать свое мнение, но поступал он так, как сам считал правильным и нужным. Тот, кто настаивал на своем, рисковал лишиться его расположения. Обретя вкус к политике, Лоренцо отдалился от прежних друзей. По-прежнему иногда, когда выдавалось свободное время, он мог побеседовать с ними о поэзии, одарить их, поучаствовать в каких-нибудь розыгрышах. Порой, чтобы угодить им, отдавал поручение агентам в многочисленных филиалах своего банка отправиться на розыски древностей, особенно старых манускриптов. Но он перестал быть одним из них – он стал их покровителем, а его отношение ко всем их забавам стало слегка снисходительным, определяемым целесообразностью. Сегодня ему выгодна роль просвещенного правителя, окружившего себя лучшими философами, поэтами, живописцами и скульпторами Италии, но что будет завтра?

Похоже было, что правитель не испытывает никакой ревности к кузену Лоренцо ди Пьерфранческо, который мало-помалу перенимал у него роль бескорыстного мецената – как-никак он тоже принадлежал к семейству Медичи, а что касается власти и политики, то здесь, подобно Джулиано, он не собирался перебегать дорогу Великолепному. Служить музам, безусловно, гораздо приятнее, чем разгадывать ватиканские козни и истреблять конкурентов. События, потрясшие Флоренцию и дом Медичи, казалось, прошли мимо Лоренцо. Узнав, что Сандро наконец освободился от заказов Синьории и Великолепного, он осведомился у него, как продвигаются дела с «Весной».

Ответить было нечего: к выполнению этого заказа Сандро еще

не приступал. Нельзя сказать, что он и думать забыл о нем, скорее наоборот. Хотя переживаемые Флоренцией события мало располагали к размышлениям о весне, Венере и нимфах, он тем не менее постоянно возвращался к мысли о картине – все неиспробованное всегда влекло его. А здесь было над чем подумать, заставив поработать свою фантазию. В мифологии древних он был пока не слишком силен, хотя и перечитал все, что смог раздобыть Лоренцо. Однако здесь можно было опереться на уже приобретенный им опыт. Сложнее было с символикой – ведь придется писать для знатоков, и попробуй воплоти все то, что наговорил Фичино, описывая Венеру! С библейскими сюжетами куда проще: тут все уже сложилось и устоялось – язык символов, поз, жестов, расположения фигур, применяемый живописцами для передачи библейских историй, обрел силу традиции и стал доступным почти каждому. Пока лишь немногие живописцы рисовали, выходя за эти рамки и прокладывая новые пути, но они далеко не всегда находили понимание. Скульпторам было легче: им от античности остались примеры для подражания. Художники оказались в худшем положении – картины тех времен погибли, а их встречающиеся в древних манускриптах описания мало что могли дать.

Сейчас Сандро скорее удерживала боязнь оказаться неучем в глазах наставников Лоренцо ди Пьерфранческо, чем страх перед геенной огненной. Будучи истинным флорентийцем, он рассудил здраво: коль уж весь город подвергся папскому проклятию, то какая разница – будет еще одним грехом больше или меньше. Впрочем, в этом он не был одинок: после происшедшего в городе одни замаливали грехи, а другие пустились во все тяжкие. В то время как Мариано и Джованни Филипепи усердно молились, Сандро размышлял от том, что меньше всего способствовало спасению души. Сюжет будущей картины усложнялся – так всегда получается, когда слишком много советчиков и каждый из них желает, чтобы его мнение было учтено. Их не удовлетворяют ни Апулей, ни Овидий, им нужно сочинить что-нибудь свое. Полициано, например, когда его упрекнули, что он не следует за Цицероном, ответил: «Я выражаю самого себя или, по крайней мере, верю, что это так». Но если поэту такое дозволено, то чем живописец хуже?

Окончательный замысел сложился только к середине лета. Венера, если верить древним, сходит с Олимпа на землю весной, когда Зефир оплодотворяет Флору, а нимфы водят свои хороводы по рощам и лужайкам. Но пришествие богини любви нужно чем-то оправдать: хорошо, пусть она отправляется на суд Париса в сопровождении Меркурия. Об этом повествуют древние, что

облегчает его задачу – он может изобразить ее одетой, ведь богини разоблачились лишь перед своим судьей. Нарисовать Венеру обнаженной после того, что нагородил мудрый Фичино в своем описании, он не отважился; тут какие символы ни изобретай – ничего не получится.

Наконец, когда июнь уже перевалил на вторую половину и Сандро немного оправился от так неожиданно свалившегося на его плечи заказа Синьории, он приступил к работе. Творить пришлось почти втайне, ибо Мариано вряд ли одобрил бы такие «шалости», как прославление языческих идолов, в пору, когда Флоренция особенно нуждалась в покровительстве Всевышнего. Отсюда и спешка, не дававшая возможности уделить больше внимания композиции и отделке деталей. Сначала они предполагали, что работать он будет на вилле Лоренцо ди Пьерфранческо, но лето из-за происков Сикста выдалось слишком бурным, так что пришлось остаться под защитой городских стен.

Картина получилась необычайно большой – два на три метра. [9] И немудрено – на ней были изображены целых девять персонажей, причем все на переднем плане. В правой части могучий Зефир властно настигает убегающую в приступе стыдливости Флору в прозрачных одеяниях, а слева от них уже шествует порожденная их союзом Примавера-Весна – символ живительных сил природы. Ее одежда, венок и ожерелье украшены живыми цветами и растениями, которые разлетаются вокруг, создавая атмосферу всеобщего буйного цветения. В центре картины – бледная Венера, целомудренно закутанная в покрывало. Она совсем не похожа на любвеобильную богиню из античных мифов – скорее, это платоновская *Humanitas,* совокупность духовных и творческих свойств человека. О любви напоминает только приютившийся над головой богини Амур с его верным луком. Он целится куда-то влево, где водят плавный хоровод три грации, чьи прекрасные тела едва прикрыты прозрачной вуалью. В левом краю картины помещен Меркурий, разгоняющий своим жезлом-кадуцеем облака – будто в знак того, что истинная красота побеждает любые бури.

Первыми критиками картины конечно же стали его домашние, по мнению которых, Сандро испоганил родовое гнездо языческими идолами. Так что он был даже рад, когда слуги Лоренцо забрали «Весну» из его мастерской. Впрочем, и в доме младшего Медичи она обрела лишь временное пристанище: там тоже были не в восторге от того, что она соседствует с Мадоннами, и желали убрать ее с глаз долой, но пока не было возможности перевезти ее на загородную виллу. Сандро не ошибался, когда предполагал, что Лоренцо вряд ли будет доволен

его одетой Венерой. Однако поразмыслив, философы пришли к выводу, что на картине изображена – в соответствии с учением Платона – Венера земная, или Афродита Пандемос. Их ученик, ухватившийся за эту мысль, пожелал заполучить и Венеру небесную, Афродиту Уранию. Пришлось пообещать ему это. Некоторых поэтов после созерцания картины посетило вдохновение, и они сложили в ее честь сонеты. Наиболее придирчивыми оказались собратья-живописцы: разные там премудрости их не волновали, они судили с точки зрения своего ремесла. Более доброжелательными были те, кто ценил старых мастеров, хотя их и смущала избранная Сандро тема. Не скупились на нападки художники помоложе, для которых все было не так: перспективы нет, позы неестественные, ландшафт из рук вон плох. Леонардо да Винчи вообще не нашел в картине ничего достойного внимания и запросто обозвал ее «жалкой», не вдаваясь в подробности.

Будь «Весна» написана в другое время, она, возможно, не вызвала бы столько толков. Художники поспорили бы о ее недостатках, как и о достоинствах, поэты воспели бы ее красоту, церковь, не смея тронуть живописца, пользующегося покровительством Лоренцо Медичи, поворчала бы насчет насаждения язычества, а простой горожанин пожал бы плечами и увидел в картине, будь она ему показана, очередную сумасбродную выходку шалопая Сандро, непонятно, что означающую, но явно написанную для того, чтобы подразнить монахов и коллег-живописцев. Неизвестно, были ли у Сандро какие-либо намерения, кроме того, чтобы отделаться от этого заказа и угодить Лоренцо ди Пьерфранческо, или же «выразить самого себя», как говаривал его друг Полициано, однако его творение подлило масла в огонь разгоревшейся среди флорентийских художников дискуссии, постепенно расколовшей их на два лагеря.

Дело не в сюжете, хотя он был нов и необычен, – речь вроде бы шла о манере исполнения. Не составляло большого труда заметить, что в картине Сандро многое взято из старой живописи, практически отброшено все то, чего с такими усилиями и жертвами добивались художники после великого Джотто. «Примавера» напоминала миниатюру из старинной рукописи, стародавний гобелен или же беспомощную мазню какого-нибудь «северного варвара».

В том, что Сандро сделал это сознательно, никто не сомневался, ибо все знали, что мастер с виа Нуова в совершенстве владеет всеми приемами сегодняшней живописи. Но и это в конечном итоге не вызвало бы столь яростных споров, если бы не

трехстворчатый алтарь некоего Гуго ван дер Гуса, привезенный из Нидерландов одним из благочестивых флорентийских купцов, который, в отличие от соотечественников, не смотрел на тех, кто живет за Альпами, как на неотесанных варваров. Так что триптих Гуса был приобретен им не для потехи. Более того, рассказывая о своих беседах с северным живописцем, купец передал его мнение о нынешней итальянской живописи: она-де передает лишь внешнюю сторону вещей, но не в состоянии выражать их истинную внутреннюю сущность, посему лишена духовности и, стало быть, играет на руку тем, кто предал веру ради земных благ.

Конечно, с этим можно было бы поспорить, но только не сейчас, когда первосвященник всеми своими действиями доказал, что о Христовых заповедях он и думать забыл. Начавшиеся вроде бы неожиданно раздоры между теми живописцами, которые звали отбросить все старое, и теми, кто норовил повернуть вспять, были не столь безобидными, как представлялось на первый взгляд. Знали бы флорентийцы, что это – предвестие ожидающих их великих перемен!

Пока никому не приходило в голову, что оттуда, с Севера, везут более опасные вещи, чем картины и древние манускрипты, которые старательно собирали любители античности. Флоренция могла посмеиваться над грубостью франков, аллеманов, бриттов и язвить по поводу их потуг сравняться с потомками римлян в культуре и знаниях, но оттуда приходили известия, которые заставляли задуматься. Рассказывали, например, о «братьях общей жизни», которые стремятся жить по заповедям Христа, помогать друг другу, считают имущество общим, проповедуют смирение, пекутся о бедняках; говорили и о том, что среди августинцев появились монахи, которые осуждают развратный Рим, подозревают пап в искажении веры и ищут пути исправления церкви. Среди собирающихся на площади Синьории нередко вспыхивали горячие обсуждения того, правы или не правы «варвары», когда требуют, чтобы мирянам не запрещали читать и толковать Библию, послания апостолов и труды отцов церкви, когда призывают жить по тем правилам, по которым жили первые христиане, и отбросить прочь все то, о чем не говорится в Евангелии. Некоторые шли дальше – предрекали появление нового пророка, который введет людей в царство Христово; другие же, разуверившись в собственных силах, уповали на то, что с Севера придет могучее воинство, которое свергнет папу, погрязшего в грехах, и восстановит поруганную веру. Так что, если копнуть глубже, за спорами живописцев скрывался более глубокий смысл, чем выяснение того, кто пишет лучше.

Многое в этих разговорах попахивало ересью, за которую церковь издавна карала неотвратимо и беспощадно – но чего можно ожидать от города, преданного проклятию! Ко всему прочему к дискуссии подключились и философы. По традиции, на вилле Фичино состоялись ноябрьские радения по мотивам Платонова «Пира», однако было замечено, что тема уже приелась и умы собравшихся заняты другим. Вспоминали в основном о дружбе. Фичино, задавая тон беседе, говорил: «Сознавая, что род людской ничего не приобрел за столько веков от законов, производящих разделение вещей в собственность, более того, день ото дня клонится к худшему, Платон не без основания обратился к законам дружбы, предписывающим друзьям иметь все общее, дабы, устранив разделение, а также причину разделения и бедствий, мы обрели согласие, единство, счастье…» Чем не проповедь «братства общей жизни»? Разница только в том, что построена она на словах Платона.

Фичино редко бывал на площади Синьории, но, оказывается, знал, что там говорят и чем дышат. Верный своим пристрастиям, он, однако, искал подтверждение высказываемых там мнений не в Евангелии, а в диалогах Платона, ибо полагал, что истина остается истиной, кто бы ее ни изрек. Купец Джованни Ручеллаи взял на себя труд посрамить медицейского философа. «Конечно, – язвительно возражал он, – прирожденному паразиту, живущему за счет благодетеля, очень хотелось бы, чтобы все было общим, а если он еще вдобавок горбун и калека, то почему бы и не помечтать об общности жен и детей, о которой ведет речь его разлюбезный Платон!» Крыть было нечем, ибо в «Государстве» древнего грека, только что переведенном Фичино, рекомендовалось и это. Марсилио признавал, что данная мысль «для многих нова и неслыханна» и, конечно, требует пространного разъяснения, но ограничился тем, что заявил: таким образом можно добиться лучшего воспитания отпрысков. Впрочем, спохватился он, насчет общности имущества толкуют не только языческие авторы – о ней говорится почти во всех монастырских уставах. В ответ его оппоненты либо усмехались, либо советовали, вставши поутру, хорошенько протереть глаза и повнимательнее посмотреть окрест себя. Спору не предвиделось конца, и хотя он не был предназначен для простого люда, его отголоски докатились и до него и вызвали брожение в умах.

Сандро мало трогали дискуссии об общности имущества и жен, – супруги у него не было, приобретать богатства он не собирался и по-прежнему безрассудно тратил заработанное, ибо сказано: наг пришел человек в этот мир и нагим уйдет из него. Однако толки о вот-вот предстоящих катастрофах вновь

поднимали из глубины души упорно загоняемый им туда ужас перед предстоящим Страшным судом. Если бы знать, что ожидает его там, в другой жизни! Но ни один философ, включая многомудрого Фичино, не мог ответить на этот вопрос. При очередном приступе отчаяния он дал обет никогда больше не осквернять своей кисти изображениями языческих богов, чтобы через некоторое время усомниться, сможет ли он выполнить его. От одного забредшего во Флоренцию прорицателя он услышал: все их поколение обречено, так как близится год числа звериного, и они должны подготовить приход Антихриста.

Возможно, такие мысли лезли в голову от безделья, потому что в это тревожное время мало кто решался тратить деньги на обустройство и украшательство – кто знает, куда занесут события? Выпадали лишь мелкие заказы, ими он и перебивался. Было мало надежд, что дела пойдут лучше. Ничего не изменилось и после того, когда папа в апреле 1479 года решил, что в борьбе против Флоренции он зашел слишком далеко. Он отменил свой интердикт, прекратил стычки на границах Тосканы и отказался от требования выдать ему Лоренцо. Казалось, можно было вздохнуть посвободнее и примириться с Сикстом. Но для мира тот выдвинул такие условия, которые Синьории пришлось отклонить. В июне война возобновилась. Войска неаполитанского короля нанесли поражение флорентийцам и приблизились к городу. Лоренцо прилагал отчаянные усилия, чтобы добиться если не мира, то хотя бы перемирия.

В эти трудные для Флоренции месяцы как-то незаметно прошло событие, которое раньше взволновало бы весь город: во дворе палаццо деи Подеста был после жестоких пыток повешен убийца Джулиано Бандини. После событий 26 апреля он бежал в Венецию, потом в Неаполь, но, опасаясь, что Лоренцо достанет его и там, перебрался в Константинополь. Наивный человек! Руки Медичи дотягивались и до столицы турок. Султан получил письмо Лоренцо, из которого узнал, что произошло во Флоренции и какую роль сыграл во всем этом Бандини. Не желая портить отношения с прославленным торговым городом, он приказал заковать беглеца в цепи и доставить к Великолепному. Так и было сделано, и теперь Лоренцо рассчитался с последним из заговорщиков. Сандро был рад хотя бы тому, что на этот раз правителю не пришла в голову мысль увековечить в назидание потомкам еще один труп.

Может быть, это случилось потому, что сейчас Лоренцо был занят более важными делами, чем примерное наказание преступника. Все его мысли были сосредоточены на защите родного города от приближающегося врага. Во Флоренции

началась паника: ходили невероятные слухи о жестокостях неаполитанской солдатни. А ее приближение к Флоренции вряд ли можно было остановить. Лоренцо сетовал на бездарность своих полководцев – они к тому же перессорились из-за добычи, которую не смогли разделить. Сам Медичи в военных вопросах не разбирался, но у него было достаточно ума, чтобы понять: Флоренции грозит серьезная опасность, и надо срочно предпринять что-то для ее спасения.

29 ноября он послал Филиппо Строцци с тайной миссией к королю Неаполя Фердинанду. Строцци был его другом, свидетелем событий, происшедших в соборе, и ему Великолепный полностью доверял. Ему было поручено сообщить Фердинанду, что Флоренция рассмотрит любое его предложение, которое могло бы привести к восстановлению мира. Уже отправив его, Лоренцо решил, что этого, безусловно, мало, чтобы отвратить опасность. Хотя с наступлением осени неприятель прекратил свое продвижение к городу и это спасло Флоренцию от изнурительной осады, было ясно, что с наступлением весны городу придется несладко. Великолепный решил действовать иначе. Строцци был еще в пути, а Лоренцо, собрав сорок особо доверенных лиц, сообщил им под большим секретом, что решил сам отправиться к Фердинанду. Он не надеялся получить согласие Синьории на эту поездку, да и его друзья отговаривали его от безумной затеи: Фердинанд непременно расправится с ним сам или выдаст своему союзнику – папе Сиксту. И тем не менее Лоренцо тайно отправился в путь – один, без всякого сопровождения. На пути в Пизу, откуда он собирался отплыть в Неаполь, он написал Синьории: «В том опасном положении, в котором находится наш город, важнее действовать, чем размышлять… Поэтому, с вашего разрешения, я намереваюсь отправиться прямо в Неаполь, поскольку полагаю, что я тот человек, который прежде всего нужен нашим врагам. Я отдаюсь в их руки, и, может быть, именно я окажусь тем человеком, который возвратит мир моим согражданам».

Письмо Лоренцо тотчас же стало известно всей Флоренции и привело в изумление тех его друзей, которые не были посвящены в тайну этой опасной поездки. Теперь к опасению за судьбу города присоединился страх за жизнь Великолепного. Его смерть означала бы большие перемены в городе и, возможно, повредила бы флорентийцам не меньше, чем вторжение врагов. Существовала опасность того, что, воспользовавшись отсутствием правителя, его скрытые противники могут восстать и захватить власть в городе – ведь такое не раз случалось в прошлом. И тогда им, его сторонникам, придется худо; в лучшем случае им грозит

изгнание. Тогда и Сандро припомнят его фреску!

Город затих в напряженном ожидании. Как поведут себя противники рода Медичи? На чьей стороне может оказаться Томмазо Содерини, в руках которого внезапно оказалась фактическая власть? Но, видимо, весть о том, что Лоренцо решил пожертвовать собою ради безопасности Флоренции, оказалась эффективнее всех полицейских мер. Граждане ожидали, чем может закончиться граничащая с безрассудством миссия Лоренцо. Академия теперь не собиралась: боялись вызвать кривотолки в городе и тем самым повредить Великолепному. Нужно было соблюдать максимум осторожности. Сандро, однако, регулярно навещал своих друзей, чтобы узнать, нет ли у них новостей от Лоренцо. Беспокойство охватило и его.

Из редких писем, которые Великолепный направлял своим друзьям, можно было узнать, что он, по крайней мере, жив и здоров. 18 декабря его официально принял король Фердинанд. Теплой эту встречу назвать было нельзя – легко предположить, как был удивлен король, увидев перед собою человека, которого он должен был пленить и передать Сиксту. Узнав о появлении Лоренцо в Неаполе, римский понтифик уже обратился к Фердинанду с требованием арестовать Лоренцо и немедленно отправить его в Рим. Однако Фердинанд не спешил удовлетворить желание папы. Смелый поступок Великолепного ошеломил его. Оказывается, и сейчас еще есть люди, способные пожертвовать своей жизнью ради блага отечества! Может быть, стремление узнать, что же побудило Медичи на столь безрассудный поступок, пересилило в короле желание услужить Сиксту. Их встречи стали более частыми; теперь они говорили о многом, а не только о политике. В этом и был расчет Лоренцо. Походило на то, что после каждой встречи уважение Фердинанда к своему пленнику росло. После этого сообщения писем от Лоренцо долго не поступало. И хотя его друзья, оставшиеся во Флоренции, стремились убедить себя и других, что все окончится благополучно, души их были неспокойны: жизнь Лоренцо продолжала висеть на волоске. Даже если король не убьет его и не выдаст папе, он может продержать его в почетном плену до лета, когда возобновятся военные действия. Тогда Лоренцо станет заложником.

Томмазо Содерини бдительно следил за обстановкой в городе. Опасения, что он воспользуется отсутствием Лоренцо и окончательно приберет власть к рукам, похоже не имели под собой основания. Содерини оказался незлопамятным: он простил Великолепному, что тот под благовидными предлогами стремился держать его подальше от городских дел. Все же

правитель положился именно на него, когда пришел час серьезных испытаний. Это доверие искупало многое. Как только Томмазо получал вести о Великолепном, он спешил поделиться ими не только с Синьорией, но и с друзьями Лоренцо; те же в свою очередь сообщали ему все, что доходило до их слуха из Неаполя.

И все-таки политика не могла удержать их от ученых занятий. Опасаясь, что их могут осудить за увлечение языческой философией, они переключились теперь на изучение Данте, которое не сулило никаких осложнений. Кристофоро Ландино собирался издать полный текст «Божественной комедии» – предприятие, которое вряд ли можно было осуществить без помощи его ученых друзей. Нужно было сверить множество списков поэмы, устранить то, что не принадлежало великому поэту, прокомментировать неясные места, раскрыть все аллегории и намеки. По их замыслу, то новое издание должно было стать непревзойденным в веках. Сандро тоже был втянут в это предприятие: его попросили сделать рисунки для гравюр, которые должны были украсить книгу. Вместо того чтобы заниматься живописью, он теперь целые дни проводил над изучением поэмы своего бессмертного земляка или же пропадал у друзей-философов – больше всего у Полициано, который разъяснял непонятные для него места. Без этого он не мог начать работу.

Вчитываясь в строки бессмертной поэмы, он начал понимать, что Ландино взвалил на него непомерную ношу, а он по своему незнанию взялся пройти путем Данте. Споткнулся он где-то посреди «Чистилища» – дальше следовал подъем, приближающий к «Раю», но он остался для него таким же закрытым, как для язычника Вергилия. Весь смысл бесед, которые вел Данте с Беатриче и встречающимися ему душами праведников, все это переплетение сфер, единая точка с нисходящими от нее лучами, были по силам лишь изощренному геометру, но не живописцу. Вероятно, можно было бы просто обойти эти сложности. Так поступили бы многие, но не Сандро – ему нужно было разобраться в тонкостях, дойти до сути. Наряду с Платоновыми диалогами и трудами комментаторов на его столе появляются, на радость Мариано, сочинения божественного содержания. Рисует он мало, от заказов отказывается. Коллеги-живописцы, слыша рассказы учеников Сандро о его времяпровождении, не могут удержаться от иронической ухмылки: еще один спятил, стремясь постигнуть непостижимое!

Временами и Сандро думал так же. Дантов «Рай» требовал – в этом он был теперь убежден – решения проблемы божественной

красоты, воспринимаемой во всей ее совокупности: разумом, зрением и слухом. Но сам поэт, который, безусловно, постиг эту красоту, в своем творении неоднократно предупреждал: нет слов и красок, чтобы воспеть ее:

Я красоту увидел, вне предела
Не только смертных; лишь ее творец,
Я думаю, постиг ее всецело.

В самом деле, как можно передать бестелесные тени, святых и ангелов, свет, порождающий звуки, сливающиеся в божественную гармонию? Даже красота земной женщины Беатриче была чем-то непостижимым, ее могла воспринять, как выразился Данте в «Новой жизни», так же внимательно прочитанной Сандро, лишь «новая разумность», способная переступить «желанную границу», только она одна:

Он видит Донну в почести большой,
В таком блистанье, в благости такой,
Что страннический дух не надивится.

Как ни бился Сандро, но все-таки ему пришлось признаться самому себе, что он не в состоянии выполнить этот заказ. Его фантазия, которой он похвалялся, оказалась бессильной, а знаний, необходимых для постижения всех глубин поэмы Данте, явно не хватало. Совершенная красота не давалась, ускользала, и тут бесполезно было обращаться за помощью к Ландино или к кому-либо другому: все равно их ученые слова не переведешь в краски. «Ад» для него был понятнее, чем две остальные части, которые он осилил с большим трудом. Судьбы грешников оказались ему как-то ближе – сколько раз он представлял самого себя на их месте! Прежние страхи, которые он так старался загнать куда-то вглубь, снова ожили, наполнили его сомнениями и колебаниями, разбередили душу. Сделав несколько рисунков, он забросил дальнейшую работу, чтобы хотя бы немного успокоиться. Никакие напоминания не могли сдвинуть его с места.

Чтобы не сердить своих друзей, он решил написать для них портрет Данте. Это давало ему желаемую отсрочку и возможность правдоподобно объяснить, почему он прекратил работу над рисунками к «Комедии». Трудность, в которой он стремился убедить себя, заключалась в том, что предстояло найти достоверный портрет поэта, который он мог положить в основу

своего творения. Конечно, он сильно преувеличивал эту сложность, ибо изображений Данте было предостаточно. Но поиски того, чего и искать было не нужно, давали ему возможность не возвращаться к работе над «Адом». Его Данте получился суровым, с плотно сжатыми губами и всепроникающим взором, устремленным вперед. Но не это прежде всего привлекало внимание зрителя – бросалось в глаза красное одеяние, в которое Сандро нарядил поэта. Это был цвет адского пламени, ожидающего нераскаявшихся грешников.

Нельзя сказать, чтобы этот портрет понравился его друзьям – он был слишком необычным. Тем не менее его приняли с благодарностью, и Ландино повесил его у себя в кабинете, где предавался размышлениям и трудам. Теперь вроде бы ничто не мешало Сандро возвратиться к гравюрам, но он по-прежнему медлил. А наступившие вскоре события сняли с него эту обязанность, к выполнению которой у него не лежала душа. Дантовская «Комедия» вышла в свет 30 августа 1481 года с пустыми местами, предназначенными для иллюстраций. Книга содержала лишь девятнадцать гравюр – граверы исполнили их по черновым наброскам, которые успел изготовить Сандро. Его самого в это время не было во Флоренции.

Город был взбудоражен вестью: Лоренцо возвращается из Неаполя! Вопреки требованиям Сикста король Фердинанд освободил своего гостя и даже предоставил ему почетный эскорт. Более двух месяцев он удерживал Великолепного в своих владениях. Значительно позже стали известны мотивы поведения Фердинанда, о которых в то время лишь догадывались. Придворные неаполитанского короля прожужжали ему все уши, рассказывая о том, что во Флоренции Лоренцо ненавидят, что вот-вот там вспыхнет восстание, которое изгонит Медичи из города. Слыша обо всем этом, Фердинанд удивлялся спокойствию Великолепного, который, как казалось, ничего не ведал о готовящемся против него заговоре. Он давал балы, сорил деньгами направо и налево, давал бедным девушкам приданое, выкупал заключенных, сосланных на галеры. Кончилось все это тем, что к своему удивлению Фердинанд вдруг обнаружил, что в городе у Лоренцо оказалась масса сторонников. А Сикст все забрасывал короля посланиями, в которых требовал выдачи флорентийского правителя Риму.

Фердинанд колебался: он ждал более точных сообщений от своих осведомителей во Флоренции о том, что же действительно происходит в городе. И был разочарован – там не было и намеков на восстание. А тут вдруг Лоренцо предложил ему заключить договор о союзе. Фердинанд был поставлен перед выбором: папа

или Медичи? Кончилось тем, что он остановил свой выбор на Медичи, но продолжал ждать. В феврале 1481 года он получил сообщения из Флоренции: там все спокойно, на восстание вряд ли можно рассчитывать. И тогда он подписал с Лоренцо договор и пожелал ему счастливого возвращения на родину. А чтобы охранить его от покушений, предоставил почетную охрану. Можно было представить гнев Сикста, но не ему было тягаться с неаполитанским королем.

7 марта 1481 года Флоренция встречала Великолепного, вернувшегося победителем. Он привез городу долгожданный мир. Полициано по этому поводу выразился весьма красочно: Афина Паллада – богиня Мудрости – смирила разбушевавшегося Кентавра войны. Флоренция праздновала это событие несколько дней подряд, восхваляя Лоренцо и его ум. Условия договора с Фердинандом стали известны лишь через две недели: как оказалось, особого повода для ликования не было. Часть тосканской территории, занятой папскими войсками, отходила к Сиене, союзнице Рима. Лоренцо должен был ежегодно выплачивать Фердинанду значительную сумму в качестве компенсации за военные расходы. Был и еще ряд пунктов, которые не вызывали воодушевления у флорентийцев, в частности, обещание Лоренцо прийти с войсками на помощь Фердинанду, если он окажется втянутым в войну. Грубый Кентавр был обуздан дорогой ценой. Будь на месте Лоренцо кто-либо другой, он не миновал бы серьезных неприятностей. Но Великолепного простили, ибо знали, что в случае нового конфликта он обязательно найдет выход. Академия могла вернуться к своим обычным занятиям. О Данте на время забыли.

Лоренцо же не вспоминал ни об академии, ни о Данте. Все лето он был занят урегулированием создавшегося положения. В союзе Флоренции с Неаполем Венеция увидела для себя угрозу. Обеспокоен был и Милан. Ко всему прочему турки вторглись в Грецию и со дня на день могли появиться у границ Италии. Лоренцо стремился успокоить соседей. Отчасти ему помогло то, что папа призвал итальянские государства объединиться для борьбы с неверными. Ради этой борьбы он даже был готов простить Флоренцию. Дважды Великолепному такие предложения не требовались: он немедленно отправил делегацию в Рим. В соборе Святого Петра двенадцать флорентийцев упали перед Сикстом на колени и попросили прощения от имени города. Прощение было дано при условии, что Флоренция снарядит двенадцать галер для борьбы с турками. Мир с папой был заключен, и только теперь Лоренцо полностью мог переключиться на дела города. В июне, перед Вознесением, был раскрыт еще

один заговор – правителя должны были заколоть во время торжественного богослужения. Однако накануне все заговорщики были выявлены и без особых церемоний обезглавлены.

Все эти тревоги и заботы не прошли бесследно: Великолепный заметно сдал, похудел, все чаще стал жаловаться на боли в желудке. Друзьям он откровенно говорил, что если бы не взятое им перед Богом и Флоренцией обязательство заботиться о судьбе города, он давно бы отошел от дел, занялся бы поэзией и философией. Было заметно и то, что он охладел к своей семье и прежде всего к Клариссе. Она и их дети жили отдельно от него, и Полициано, воспитывавший младших Медичи, с грустью говорил о том, что не видит среди них никого, кто бы мог заменить Великолепного. Лоренцо словно в отчаянии сорил деньгами, скупая картины, статуи, книги, вазы, камеи – все, что привлекало его внимание. Как-то Сандро услышал написанные им стихи:

> Пусть почести влекут неугомонных,
> Палаты, храмы, толпы у ворот,
> Сокровища, что тысячи забот
> И тысячи ночей несут бессонных…[10]

Стихи звучали искренне, но мало кто верил, что Лоренцо может бросить политику, в которой заключалась существенная часть его жизни. А сейчас его власть вообще становилась непререкаемой. И хотя ходили упорные слухи о том, что он растратил почти все деньги, накопленные Козимо, что он на грани банкротства и разоряет городскую казну, ничто не могло сейчас поколебать его неоспоримый авторитет. Его друзья могли полностью полагаться на то, что они в полной безопасности. А у Сандро именно сейчас, в который уже раз, снова возникли сомнения в правильности выбранного пути.

Скорее всего, виною здесь была чрезмерная впечатлительность, которую старый Мариано принимал за болезнь. Воспитанный в строгих правилах католической веры, Сандро так и не смог преодолеть их. Это была судьба многих его современников, которые твердо верили, что мир катится к пропасти, к своему последнему дню, ибо он погряз в грехах. А грехом считалось многое – особенно усилия тех, кто стремился вырваться из душной темницы прежних представлений о мире, отстоять право человека на свободу мысли и действий.

Глава шестая
Все дороги ведут в Рим

Всем своим сердцем Сандро тянулся к новым знакомым, но словно невидимая пружина вновь и вновь отбрасывала его назад. Когда он раскрыл Дантов «Ад» и начал вчитываться в чеканные терцины великого поэта, перед ним почти зримо встали те видения, которые посещали его в детстве, – ужасы, ожидающие грешников после смерти. К этому добавились тревожное положение, в котором оказался его город, и томительное ожидание того, чем же все закончится. Молебны в церквях о спасении от неприятеля. Разговоры о том, что все эти бедствия ниспосланы Богом в наказание за бесчинства, которые творит антихрист Лоренцо. Где он мог найти себе утешение как не в храме? У него было такое убежище от тревог повседневной жизни – соседняя церковь Оньисанти, Всех Святых. Сюда он приходил искать успокоения от обуревавших его трудных мыслей, здесь, как ему казалось, с него спадало бремя забот. Он мог молиться или же просто погрузиться в свои мысли, зная, что никто не будет лезть к нему с какими-либо просьбами и предложениями.

В этой церкви продолжал жить Бог старой суровой Флоренции. Казалось, дух стяжательства не коснулся ее, новые времена и обычаи остановились у ее стен. Оньисанти не могла похвалиться особой роскошью. Все здесь было по-деловому просто. Ни одна из картин, украшавших стены, не привлекла внимания Сандро, а имена их создателей ничего ему не говорили. Странно, что ему никогда не приходило в голову отблагодарить любимую церковь своей работой за тот покой, который она дарила ему. Оньисанти, в свою очередь, тоже ничего не просила у него, хотя его имя и профессия были здесь хорошо известны. Может быть, ей вообще ничего не нужно?

Но его представление о церкви изменилось после того, как однажды приор пригласил его в свою келью. Странная была это беседа: речь шла не о Боге, не о спасении души. Приор ненавязчиво интересовался тем, чем сейчас занимается Платоновская академия, какие вопросы ее волнуют. Сандро убедился, что дух времени проник и за прочные стены его любимой церкви. Глава ее, однако, был погружен не в философию, а в математику. Математикой во Флоренции увлекались многие; каждый стремился найти в ней доказательство правоты в своем ремесле – архитекторы, золотых дел мастера, даже живописцы. Об этом Сандро знал давно, а вот

теперь обнаружил, что и священнослужители ищут в математике подтверждения постулатов веры. Но Боттичелли мало чем мог помочь здесь любезнейшему приору: он не был поклонником каких-либо расчетов в живописи. Он, правда, попытался пересказать приору кое-что из того, что слышал на этот счет в академии, но в конце концов запутался в собственных разъяснениях и махнул рукой. После этого он неоднократно бывал в этой келье, заваленной математическими и философскими фолиантами, но больше они к математике не возвращались – говорили о делах более земных. Во время одной из таких бесед Сандро совершенно неожиданно для самого себя выразил желание написать картину для Оньисанти. Это вышло как-то само собой, и Сандро почему-то вообразил, что такова воля Божья, которую ему надлежит исполнить.

Тему он, естественно, выбрал сам: он напишет блаженного Августина. Почему он так решил, он тоже не смог бы объяснить. Может быть, образ Августина был подсказан ему книгами, собранными в келье приора, а в его воображении Августин был не только отцом церкви, но и ученым, погруженным в раскрытие тайн бытия. Было ясно, что он должен создать образ человека, похожего на тех ученых, среди которых он и сейчас проводил немало времени. Приор согласился с его предложением, но, как и следовало ожидать, стал жаловаться на то, что у церкви мало средств и он вряд ли сможет оплатить работу такого знаменитого мастера, как Боттичелли. Но и на этот счет Сандро уже принял решение: эта фреска – его дар Оньисанти.

Работа на этот раз шла удивительно споро: картон для фрески был готов за несколько дней, хотя ему и пришлось перебрать несколько вариантов. Но в конце концов могучая фигура Августина как-то сама собой легла на бумагу. Лик, будто вылепленный скульптором, высокий лоб мыслителя, зоркие глаза, притаившиеся под густыми старческими бровями. Правая рука прижата к груди, как будто святой стремится удержать биение своего сердца. Такое не раз бывало и с самим Сандро, когда вдруг приходило решение какой-нибудь трудной задачи – «накатывало вдохновение», как говорили его друзья. Тогда сердце вдруг начинало учащенно биться, словно собираясь выскочить из груди. Он запечатлел Августина именно в такой момент озарения истиной, которую он, может быть, стремился постигнуть не один год. Странным в этой картине был фон: множество рукописей с таинственными чертежами, астрономические приборы – обстановка скорее для кабинета ученого, чем для кельи святого. Но приор согласился с таким толкованием, а значит, он мог приступать к работе.

Что касается его друзей, то они были в восторге. Еще бы, ведь в этой работе он запечатлел их всех – мыслителей, ученых, людей, получающих наивысшее удовольствие от книг! Они, конечно, могли с полным основанием сказать: это не Августин, а Платон или Аристотель. Бог с ними, Сандро не намерен был спорить. Если они представляют такими своих любимых учителей, если они считают, что почитаемые ими греки должны выглядеть именно так – это их дело. Он даже был согласен с Пико делла Мирандола, утверждавшим, что его Августин – это человек, приблизившийся к Богу. Вполне возможно и это. Важно то, что Лоренцо и его друзья высоко оценили эту его работу, да и он сам был доволен ею.

Он чувствовал, что создал нечто неповторимое. Такой мощи в изображении человека пока еще никто не достигал. Его Августин – это действительно подтверждение слов того же Пико в его «Речи о достоинстве человека»: «Творец, поместивший человека в центр мироздания, сказал ему: „Мы не определили тебе ни места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанности ты имел по собственному желанию. Природа всего остального вынуждена подчиняться созданным нами законам, они заданы навечно. Ты же не ограничен никакими запретами, мы определили тебя во власть твоей собственной разумной воли, и ты определишь свой образ по своему разумению, во власть которого я тебя предоставляю. Ты свободен. Тебе даны права самому творить себя“». Значительно позже Микеланджело напишет в Сикстинской капелле своих пророков, в которых будет много от Августино Сандро. Но, конечно, нашлись и завистники – как же без этого? Они нашли в его картине массу погрешностей. Пропорции не выдержаны: если Августин вздумает подняться, он прошибет потолок. А плечи – почему они так неестественно вывернуты вперед?

Но, в конце концов, кто дал право этим живописцам судить его? Разве они равны умом Платону и мудрецам Библии? Одни из них, как Уччелло, спятили, стремясь постигнуть тайны перспективы, другие дрожат от боязни нарушить изобретенные ими же самими пропорции, третьи же, как Гирландайо, полагают, что нужно писать все так, как в действительности, прилежно копируя чуть ли не каждый уродливый прыщ. Его же, несмотря на всю его известность и славу, до сих пор считают недоучкой. Но он прекрасно знает законы перспективы и пропорции, он умеет писать пейзажи, а если захочет, то создаст безупречно правильную композицию. Ну как они все не могут понять, что он все время в поиске своего, в погоне за собственной красотой – «по образу и подобию своему». Но спорить, похоже, напрасно.

Работа над «Святым Августином» захватила все его помыслы, и он был рад, что у него появился благовидный предлог отказываться от других заказов, ибо он не хотел, чтобы его внимание рассеивалось на что-то незначительное. Это был своего рода обет, который он возложил на самого себя. Он не мог объяснить, почему его душа не лежала к прославлению подвига Лоренцо, хотя он искренне восторгался им и, как многие во Флоренции, был уверен в том, что именно тайная и опасная миссия правителя спасла город от неслыханных бедствий. Но пересилить себя он не мог. Он просто не знал, как он может воспеть Лоренцо, какая аллегория придется по сердцу Великолепному и его ученым друзьям. Минерва, она же Паллада, обуздывающая Кентавра – Мудрость, сковывающая буйство разнузданной Силы – так советовал ему Полициано. Но одно дело идея, другое – ее воплощение. Ему нужно время, чтобы все это хорошенько переварить, представить себе то, чего никогда не существовало. Его, к счастью, не торопили: в конце концов, он сам должен знать, как угодить своему покровителю!

Гораздо сложнее обстояло дело с Лоренцо ди Пьерфранческо, которому позарез нужна была еще одна картина для украшения его виллы. Он настаивал, чтобы ее написал именно Сандро, как будто в городе не было других не менее достойных живописцев. Конечно, написать обнаженную Венеру могли бы и другие, но это была бы не работа Боттичелли! Однако именно этот заказ Сандро не хотел выполнять, несмотря на все уважение к кузену Великолепного. Во всяком случае, у него были большие сомнения, стоит ли тешить дьявола и ставить под угрозу свою душу. Достаточно того, что он написал «Весну». А здесь – святой Августин и обнаженная Венера, сочетание немыслимое для любого верующего! Но вот фреска закончена, отговорок больше нет, и Сандро погрузился в тягостное уныние, ибо как ни отказывайся, а просьбу Лоренцо придется выполнить: он упрям и своего добьется.

Лето выдалось на редкость тягостное. Многодневные дожди сменялись ненадолго ослепительно солнечными просветами, и тогда вся Флоренция будто погружалась в чан с прокисшими кожами. Прохладные ветры с гор не могли пробиться сквозь густое дурно пахнущее марево, нависшее над долиной Арно. Все валилось из рук – людей охватывала сонная одурь, беседы, столь любезные горожанам, не клеились, ибо ни у кого не было охоты вступать в длительные разговоры. Да и вести снова были плохие: Венеция с благословения папы вторглась в Феррару, а в Милане власть захватил брат покойного Галеаццо Лодовико Сфорца, свергнув регентшу Бону Савойскую. Было пока неясно, что в связи

со всем этим ожидает Флоренцию. Однако даже эти события мало кого интересовали. Площади, где обычно собирались любители новостей, были малолюдны даже по вечерам. Кто мог, постарался перебраться на склоны холмов в свои виллы.

В мастерской Сандро наступило затишье, и не потому, что не поступали заказы. Их было хоть отбавляй, но ни к одному не лежала душа. Ученики слонялись из угла в угол. Мастер по целым дням не появлялся у мольберта. Шутки, которыми дом на виа Нуова к неудовольствию Мариано успел прославиться по всей Флоренции, как-то сами собой поутихли. Сам хозяин дома сникал на глазах: все меньше он вникал в домашние дела, переложив их на плечи Джованни. Лишь иногда в нем оживал прежний деятельный дух ремесленника, и тогда медленное шарканье ног в комнатах и на лестнице оповещало домочадцев, что предстоит очередная буря. Старцу не нравилось все и вся: беспорядок в доме, бездельники-ученики, сыновья, предающиеся, по его мнению, лени, соседи и друзья, редко посещающие его. Особенно он был недоволен Сандро. Роясь на правах родителя в его книгах, рукописях и набросках, в беспорядке сваленных на столах, Мариано приходил к горькому выводу, что общение с Медичи и их философами окончательно погубило сына.

Он пытался прочитать диалоги Платона и ничего в них не понял, а «Пир», который не раз упоминал Сандро в его присутствии, привел добродетельного старца в ужас – его ум ухватил лишь то, что там воспевается любовь мужчины к мужчине. Не хватало еще, чтобы в его доме завелись содомиты! В этом году он только раз выходил в город, поскольку считал святой обязанностью домовладельца лично присутствовать при внесении записи в кадастр. Он долго и нудно рассказывал писарю, что Господь наделил его сыновьями, которых он вынужден стыдиться, ибо они позорят его честное имя ремесленника. Его сетования походили на желание, чтобы горестная судьба отца нашла отражение в толстенной книге, хранящейся вечно. Чиновник поддакивал, ибо не для кого не было секретом, что Сандро мастак на самые скабрезные шутки, что он изучил Платонов «Пир» от доски до доски и что его мастерскую давно прозвали «академией лодырей». Как и старый Филипепи, писарь был уверен, что ссылки на какое-то там вдохновение и «поцелуи муз» – жалкие оправдания никчемных бездельников. Однако, зная о покровительстве Медичи, он предпочел придержать язык и руки и внес в кадастр запись, что Сандро ди Мариано проживает с отцом, «является живописцем и работает на дому, когда захочет».

В представлении большинства горожан живопись все еще

оставалась ремеслом, чем-то сродни выделке кож или ткачеству. Недаром все потешались над Уччелло, помешавшимся на перспективе. Чего здесь мудрить: если ты мастер, то достаточно взять кисть в руку, чтобы написать картину. Кожевнику ни к чему философия, ткачу нет пользы от знания греческого языка, а солдат не будет ломать голову над правилами пропорций и стихосложением. Но в последнее время во Флоренции все смешалось, оттого и не стало порядка. Похоже, никто не занимался тем, что было предначертано ему судьбой и заветами предков.

Все стали мудрствовать, ломать старое, изобретать новое. Все оказалось не так, все нужно переделать. Тот же Сандро – те, кто его знал, поражались, как легко и быстро он всего достиг. При этом он не успокоился. Ему мало того, что несмотря на ворчание завистников он признан первым живописцем Флоренции, что при желании он может писать так же, как другие художники, а может быть, и гораздо лучше, ибо для него не существовало тайн пропорций, перспективы, пейзажа и прочего, чем хвалились его коллеги. Но ему нужно было большее – он стремился познать нечто, лежащее по ту сторону человеческих эмоций и разума. «Ищущий ум», – говорили о нем друзья. Блажь и леность – таково было мнение клиентов, отчаявшихся получить заказанное в обозримые сроки или получавших совсем не то, что им хотелось.

Сколько христианских душ растлили философы и поэты, на беду Флоренции собранные Медичи! Сколько жертв было принесено возрожденным ими идолам! Сандро был не первой и не последней. Увлечение Платоном совлекло его с пути истинной веры, утверждали многие, ведь преклонение перед язычниками никогда не доводит до добра. Что бы там ни говорили, а «Пир» Платона – сочинение мерзкое и богопротивное, подталкивающее к греху и оправдывающее его. Сандро ищет красоты? Тогда ему надо бы избрать, по крайней мере, других наставников, а не этого урода Фичино. Что он там толкует о красоте земной и небесной? Что значат его утверждения, что Господь вначале создал душу мира, а затем его тело, которое всего лишь ее «украшение»? В каком сочинении отцов церкви и нынешних мудрецов-теологов можно найти учение о земной Венере, сотворенной из материи, и о ее небесной тезке, созданной духом?

Те, кто подозревал Сандро в приверженности к неоплатонизму, были правы лишь отчасти: вряд ли он постиг все тонкости рассуждений Платона и Фичино об «организованном космосе», об идеях и их отражении в материальном мире, вряд ли он владел в совершенстве учением об Эроте, порождающем любовь, движущую и совершенствующую космос. Он знал

достаточно для того, чтобы поддерживать беседы с мудрецами на вилле Кареджи, но не более того. Его ум по-настоящему занимало разве что учение о красоте, изложенное в комментариях Марсилио к «Пиру». Согласно утверждению Фичино, взятому у Платона, все вещи и явления тройственны. Красота, к которой стремится все сущее, суть гармония: в душе – это сочетание всех добродетелей, в телах – красок и линий, в звуках – созвучие многих голосов. Таким образом, учил Фичино, она тройственна – это красота душ, тел и голосов. Красота душ постигается умом, красота тел воспринимается зрением, красота голосов – слухом. Истинное наслаждение ею возможно только при наличии всех элементов. Осязание, равно как и вкус, не относятся к ним и, стало быть, принадлежат к категории грубых чувств, порождающих пороки, зависть, распутство и прочие гнусности.

Учение Фичино обладало многими гранями, и те, кто интересовался им, обязательно находили нечто созвучное их душам. Говорили, что даже теологи, несмотря на их неприязнь к флорентийскому мудрецу, нет-нет да и черпали у него идеи для своих трудов и проповедей. Обращались к нему и те из живописцев, которые стремились не только передать мир, но и познать его. С понятием красоты, введенном Марсилио, Сандро был согласен. Сложность состояла в том, что живопись оказывалась несостоятельной для ее отражения: безусловно, гармония звуков оказывалась за ее пределами, следовательно, отсутствовал один из трех обязательных элементов. Красоту души, видимо, было возможно изобразить, в этом он был уверен, но пока не знал, как это сделать.

При созерцании картин некоторых старых мастеров, в большинстве случаев всеми забытых, он видел: в них напрочь отсутствуют перспектива и пропорции, но тем не менее они чем-то притягивают к себе. Быть может, это и есть красота души, те самые Платоновы «идеи» вещей, зыбкие, колеблющиеся, едва улавливаемые избранными, как слабые тени на белой стене? Он встречал в жизни людей, которых с полным правом можно было назвать безобразными – взять того же Лоренцо или самого Фичино. Будучи взяты такими, каковы они есть, они внушили бы поклоннику красоты только отвращение. Но что же тогда влечет к ним, что делает безобразное великолепным? У академиков с виллы Кареджи противоречия разрешаются просто: это отражение упорядоченного мира, космоса, представляющего совокупность форм и идей, где зовущая их сила – любовь – влечет все к красоте и соединяет прекрасное с безобразным.

Он пытался подражать старым мастерам, их манере изображать святых и младенца Христа, но так и не достиг

обаяния, излучаемого фигурами с древних досок. Более того, его небожителей злопыхатели обзывали увальнями из Фьезоле или тупицами из Сиены, а младенцев – подкидышами из сточной канавы. Как знать, возможно, они и были правы – святости в них было мало. Говорят, что глаза – «зеркало души», но и здесь он ничего не добился: глаза на его картинах были самыми обыкновенными, ничего не говорящими разуму, постигающему, по словам Фичино, красоту души. Этой красоты он не увидел и тогда махнул рукой и стал рисовать их полузакрытыми. Краски? Линии? В этом у него что-то было. Он заметил: ни один самый искусный компаньон, копируя его Мадонн, не мог передать нежности, присущей его картинам. А сколько граверов потерпело неудачу, перенося его рисунки на доски! Самые простые, казалось бы, линии на оттисках безнадежно теряли легкость. Можно было признать, что ему дан талант, этот дар Божий, и поставить на этом точку. Но его «ищущий ум» никак не мог успокоиться. Ему хотелось получить ответ на вопрос: почему так происходит, почему у одних получается, а у других нет?

Вскоре после выхода «Божественной комедии» с его рисунками Боттичелли получил предложение миланского герцога приехать к нему для выполнения нескольких живописных работ. Не только Милан, но и некоторые другие города воспылали желанием заполучить первого художника Флоренции для своих нужд. Ему буквально навязывали заказы, соблазняли переездом, сулили наивыгоднейшие условия. Но уехать из родимого города? На такой поступок Сандро могли подвигнуть только из ряда вон выходящие причины: деньги его не манили, жажды приключений он никогда не испытывал.

Однако именно сейчас такие причины вдруг нашлись. Обстоятельства оказались сильнее его желаний. Когда от имени Лоренцо ему сообщили, что ему предстоит отправиться в Рим, причем обязательно, он весьма удивился, и первым его побуждением было ответить решительным отказом. Пусть туда отправляются те, кто полагает, что, не изучив досконально римские руины, нельзя стать ни живописцем, ни архитектором. Как будто во Флоренции и ее окрестностях этих развалин не хватает! Но ему убедительно разъяснили, что властям нет дела до того, будет ли он совершенствовать свое знание древностей – он обязан отправиться в Рим ради высших интересов республики и самого Великолепного. Сложились благоприятные условия, чтобы примириться с папой, и было бы глупостью не воспользоваться ими.

Положение Сикста действительно было не из завидных. Число его противников увеличивалось с каждым днем.

Неаполитанский король зарился на его владения, а германский император Фридрих III Габсбург даже грозил лишить его святого престола. Эти угрозы не были пустыми словами, ибо, как стало известно, императору удалось подкупами и посулами умножить число недовольных кардиналов, готовых насолить понтифику. Ко всему прочему папа снова нуждался в деньгах, и прихоти его многочисленных родственников, наводнивших Рим, все больше увеличивались по мере того, как слабели жизненные силы самого Сикста. В самом Вечном городе росло недовольство простого люда, разоренного податями и вконец обнищавшего.

Лоренцо мог бы присоединиться к противникам Сикста. Но по трезвом размышлении делать этого не стал, так как это грозило втянуть республику в новые осложнения. Сначала он внимательно следил за происходящим, а тем временем папа не скупился на жесты примирения. В его письмах Лоренцо перестал быть «сыном порока» и превратился в «дорогого друга» и «любезного сына». Великолепный будто не замечал всей фальши подобных заверений и шел навстречу Сиксту там, где это не возлагало на него существенных обязательств. Но когда понтифик попросил его о займе, он решил действовать по-банкирски: прозрачно намекнул папе, что его сын Джованни, хоть и не вышел еще из детского возраста, весьма религиозен и посему заслуживает кардинальской шапки. Сикст намека «не понял» – ограничился тем, что отпустил семейству Медичи грехи и прислал ему свое благословение.

Лоренцо проглотил обиду – он готов был и подождать. Поэтому когда Сикст обратился к городским властям Флоренции с просьбой прислать в Рим лучших живописцев для росписи сооруженной им капеллы, то Великолепный посоветовал согласиться. Эта капелла была любимым детищем папы, она строилась архитектором Джованни Дольчи почти десять лет, и деньги для нее всегда находились. Так уж повелось в Риме: одни папы возводили в память о себе арки и гробницы, другие – капеллы и целые церкви. В папском послании упоминалось имя Боттичелли как единственного флорентийского живописца, способного возглавить работы в капелле. Он должен был подобрать художников по своему разумению и привезти их в Рим, и отказаться у него не было возможности.

Несмотря на то что работа над фресками в Сикстинской капелле могла принести немало дохода, желающих ехать в Рим нашлось мало – ведь отбирать нужно было из лучших. Одни были заняты, а другие сомневались, что папа достойно оплатит их труд. Хотя он и слыл щедрым меценатом, его своенравие могло как озолотить, так и оставить с носом. На памяти флорентийцев

была история о том, как Сикст приказал заплатить лишь за богатый переплет, в который были заключены переводы Аристотеля, подаренные ему неким ученым мужем. Папу не тронуло то, что переводчик трудился над ними всю жизнь. Наконец артель составилась: в нее вошли Доменико Гирландайо, Козимо Росселли и сам Боттичелли, с ними должны были отправиться в Рим подмастерья и ученики. Сандро хотел, чтобы его сопровождал Филиппино Липпи, но тот наотрез отказался.

Все они не особенно рвались в Рим, а тут их настроение окончательно испортило известие о том, что, оказывается, Сикст обратился не только к флорентийцам, но и ко многим другим живописцам, и что Пьетро Перуджино уже согласился на его предложение. Вместе с ним в Рим отправились Лука Синьорелли и дон Бартоломео, аббат Сан-Клементе. Папа навязывал им состязание, а они-то вообразили, что лучше их нет в Италии! Особенно их не прельщала встреча с Перуджино. Его флорентийские художники знали: в свое время он учился у них и поклялся, что всех их превзойдет в мастерстве. Но Лоренцо мало интересовали их переживания – он всячески торопил их с поездкой, не желая сердить папу.

Тем не менее под различными предлогами они тянули с отъездом как только могли. Но приближалась осень, когда больше нельзя было откладывать это неизбежное путешествие: в ненастье карабкаться по горным дорогам – удовольствие не из приятных. В путь тронулись большим караваном; мало того, что их сопровождали ученики и нанятые подмастерья, им пришлось везти с собой различные принадлежности, ибо было бы слишком легкомысленно уповать на щедрость папы – вдруг возьмет да и не оплатит им кисти и краски. К ним присоединилось еще много желающих без дополнительных расходов попасть в Рим: городские власти наняли для них стражу, которая защитила бы их от разбойников, кишевших, если верить рассказам бывалых людей, в окрестностях Вечного города.

Стояли чудесные солнечные дни, и они двигались ни шатко ни валко, без особой спешки, обмениваясь соображениями о живописи вообще и о заказе, который им предстояло выполнить. Замысел папы до них был уже доведен: он желал, чтобы фрески свидетельствовали о вневременном характере христианства и символизировали преемственность Ветхого и Нового Заветов, для чего необходимо было сопоставить созвучные сцены из них. Конечно, никто из них не был столь силен в теологии, чтобы самостоятельно решить эту задачу. Среди флорентийских богословов по этому вопросу тоже не было единого мнения. Так что оставалось лишь гадать, что может потребовать от них Сикст.

Но в конце концов, они всего лишь ремесленники, а не богословы!

Нравы действительно изменились: еще совсем недавно, приступая к такому богоугодному заказу, живописец провел бы некоторое время в посте и молитвах, чтобы работа ему удалась, всячески избегал бы греховных мыслей – а Сандро думал о Платоне, о незаконченной «Палладе», об Эроте, порождающем красоту, и бог весть о чем еще. Видимо, напрасно Мариано, провожая сына к святым местам, надеялся, что это вынужденное паломничество вернет его на путь истинный. Впрочем, тревога по поводу возможной Божьей кары теперь все чаще посещала Сандро. Она усилилась после того, как он убедился, что не справляется с иллюстрациями к поэме Данте. Нет, не ворчанье отца было тому причиной – что-то неуловимо, но настойчиво менялось во всей атмосфере города. Это «что-то» походило на страх ребенка, совершившего проступок и боящегося, что все откроется и он будет наказан.

Давно было подмечено, что большинство флорентийцев по натуре своей суеверны и придают слишком большое значение разным приметам, предсказаниям и предчувствиям. Сандро не был исключением: в том, что он не смог проникнуть в Дантов «Рай», он видел несомненный знак Господней немилости, требующей покаяния. Чего только не придет в голову на постоялом дворе под мерный шум осеннего дождя!

Хмарь октябрьского вечера, когда их караван вступил в Вечный город, возможно, была причиной того, что ими овладело предчувствие предстоящих неурядиц. Они и начались на следующий день. Несмотря на то что в течение всего лета папа Сикст подгонял Синьорию требованиями прислать наконец живописцев, теперь им было велено ждать. Секретарь папы объяснил задержку разногласием по поводу фресок, над которыми предстояло работать: их темы пока не были окончательно определены. Сикст знал, насколько флорентийские живописцы поднаторели во включении в свои картины различных намеков и символов, прославляющих их покровителей или уничтожающих обидчиков. Доверия к ним у него не было, и теперь каждый библейский эпизод подвергался тщательному изучению: не может ли он быть истолкован как порицание папских деяний и не очернит ли его память? Сикст должен предстать перед потомками как блюститель божественных заповедей, милосердный и мудрый правитель.

Конечно, об этом им не было сказано, и по мере того как ожидание затягивалось, они проникались убеждением, что истинная цель папы заключается в примерном их наказании за

столь неспешное выполнение его просьбы. Может быть, поэтому Рим показался им недружелюбным и неприветливым, и они содрогались от мысли, что им предстоит, чего доброго, провести здесь несколько лет. Естественно, город, который они увидели, ни капельки не походил на резиденцию великих императоров, описание которой они встречали в трудах древних авторов. До недавнего времени во Флоренции увлекались историей республиканского Рима, сурового и благородного, теперь же вошла в моду история Рима императорского, полного пышности и разврата. Но и от него сохранились лишь жалкие развалины.

Сандро пытался понять, что же влекло сюда зодчих, если от прежнего Рима остались жалкие воспоминания. Многое было снесено по приказу самого Сикста: как-то он возгорелся мыслью построить новый Рим, достойный его «блестящего» правления. Кое-что он сделал: через Тибр перекинули новый мост, проложили водопровод, соорудили несколько роскошных зданий. Однако деньги иссякли и пыл быстро угас. О грандиозных замыслах теперь напоминали снесенные по повелению Сикста кварталы, кое-как застроенные жалкими лачугами. Сандро, приехавший из города, мощеные улицы и площади которого воспевались в стихах и прозе, поражался неухоженности этого загаженного кладбища былого величия, где улицы служили свалками нечистот, а на месте площадей раскинулись болота, источающие смрад.

Мало приятного было в прогулках по этому городу, особенно в трущобах, где даже днем можно было лишиться не только кошелька, но и жизни. Сандро удовлетворился тем, что осмотрел бывший Форум, побывал у арки Константина и у Колизея. Здесь шла совсем другая жизнь, чем та, о которой он читал: у мавзолея Августа резвились козы, у подножия Пантеона ютились кабачки и захудалые лавчонки, а на месте Сената вольготно расположился рынок, где торговали скотом. И все эти убогие остатки продолжали крушить время и человек. О булле папы Евгения IV, который за десять лет до рождения Сандро бежал из Рима и прожил во Флоренции достаточно долго, чтобы, проникшись ее духом, осознать ценность древних памятников, постарались забыть – в отчаянии он уподоблял римлян вандалам и призывал их беречь наследие предков. Но у жителей Вечного города, как справедливо утверждают во Флоренции, действительно в головах мякина, а не мозги: они по-прежнему крушат древние стены, добывая камни для построек, а еще сохранившиеся мраморные плиты и статуи жгут на известь.

Много несуразного довелось увидеть флорентийцам, пока Сикст не призвал их к себе. Отдав святому отцу положенные

почести, живописцы стали ждать распоряжений. Папа долго молчал, будто размышляя над тем, что ему предстоит сказать. Его бесцветные цепкие глаза перебегали с одного художника на другого, словно выбирая кандидата для принесения в жертву. Если бы не этот взгляд, было бы трудно увидеть в этом старце коварного и хитрого политика, стремящегося навязать всем свою волю и жестоко карающего ослушников. Стоя на пороге небесного суда, он не переставал заниматься делами земными – плел интриги, натравливал одного государя на другого, подвергал отлучению от церкви людей и целые города.

Теперь, завершая свой жизненный путь, он хотел, чтобы все это стерлось в памяти потомков: он должен предстать перед ними как покровитель искусств, как зодчий возрождающегося Рима, как попечитель бедных и обиженных. Сикстина должна постоянно напоминать об этом. Ради сооружения такого памятника он даже пригласил мастеров из города, к которому питал неугасимую вражду. Они стояли перед ним, и он подозревал их, посланников столь же хитрого и коварного, как он сам, Лоренцо, в безбожии и коварных замыслах. За такими нужен глаз да глаз, им нельзя позволять никакой отсебятины.

Большую часть беседы Сикст потратил на то, чтобы вдолбить в головы этих приверженцев богопротивных учений мысль о сопоставимости сюжетов и эпизодов Ветхого и Нового Заветов и только под занавес коснулся главного: посетитель, созерцающий фрески, должен проникнуться верой в то, что он, Сикст IV, был избранником Божьим, призванным блюсти заповеди Господа, отстаивать их чистоту, являть пример христианского милосердия. Благословив художников на сей труд, папа удалился в свои покои. Темы фресок сообщил его секретарь. Недоставало лишь двух или трех, которые им обещали назвать некоторое время спустя – видимо, папа оставлял их для своих будущих деяний.

Было бы больше пользы, если бы Сикст мог разъяснить им, как в столь разношерстной артели живописцев, каждый из которых обладал собственным стилем, добиться единства изобразительной манеры. Если он думал, что они будут ломать себе голову над сопоставлением библейских сюжетов, то он заблуждался. Спорить пришлось уже о том, кто будет руководить всей работой, а тут еще нужно было угодить вкусам святого отца, который навряд ли потерпит какие-либо новшества. Мякинноголовые римляне, как они успели подметить, пока еще не доросли до флорентийских высот в понимании живописи. Когда все это наконец утрясли, а Сандро, – так уж получилось само собой, – оказался руководителем работ, возникла новая трудность: каждая фреска, по желанию Сикста, должна была

представлять собой целое повествование, а не какой-то отдельный эпизод. Во Флоренции к такой манере прибегали редко: не только потому, что требовалось слишком много усилий, чтобы добиться единой композиции, но и потому, что о какой-либо перспективе, пропорциях и прочем здесь не могло быть и речи. Но воля заказчика – закон.

Не было ни одного картона, который бы удался с первого раза. Одни отвергались самими художниками, другие не устраивали папу и его советников. Вот это нужно выбросить, а это подправить, потому что это можно понять как намек на то-то и то-то – будто лет эдак через двадцать кто-то вспомнит все тонкости Сикстовой биографии!

На долю Сандро досталось три фрески: «Жизнь Моисея», «Исцеление прокаженного» и третья, тему которой папа еще не назвал. Уловить связь между доставшимися на его долю фресками Сандро сумел без труда – что бы там ни говорили о Липпи, но в теологии он худо-бедно разбирался, и кроме искусства живописи его ученик уяснил многое к ней не относящееся, в том числе и то, что вдалбливал им Сикст: жизнь Моисея – это прообраз жизни Христа. Переклички между двумя фресками Сандро добился тем, что в обоих случаях прервал повествование эпизодами, рассказывающими о начале подвижнической деятельности главных персонажей Библии. Моисей, пройдя невзгоды и скитания, описанные в начальных главах «Исхода», выводит евреев из Египта и получает от Бога скрижали с десятью заповедями, Христос в «Жертве», преодолев искушение дьявола, в сопровождении ангелов возвращается в Иерусалим и исцеляет прокаженного, приступая к проповеди своего учения.

Основная цель достигнута, но вот как удовлетворить желание Сикста увековечить в этих фрагментах собственную персону? В «Жертве прокаженного» это сделано в лоб: в центре фрески помещен госпиталь Святого Духа, построенный папой для бедняков. В «Жизни» таких прямых намеков нет, но коли речь зашла бы об этом, Сандро всегда мог указать на сцену ухода евреев из Египта. Разве святой отец не заявлял о том, что он приведет жителей Италии в обетованную землю? Возразить здесь было нечего даже самым придирчивым папским советникам.

За все это время Сикст ни разу не посетил капеллу. Складывалось впечатление, что он потерял к ней всякий интерес, и Сандро опасался, что ему придется до бесконечности ждать, когда же папа соблаговолит назвать тему третьей фрески, которой было отведено место напротив «Передачи ключей от храма апостолу Петру». Трудно было придумать, какой эпизод из

жизни Моисея Сикст найдет созвучным этой теме. Все шло к тому, что надежде Сандро вернуться во Флоренцию к новому году, то есть в начале марта, вряд ли суждено осуществиться.

Затягивающееся пребывание в Риме начинало тяготить не только его. Сплотившаяся было артель живописцев стала рассыпаться, часть подмастерьев их покинула. Ко всему прочему Сикст, опять испытывавший нехватку денег, задержал обусловленные платежи, и уже в силу этого им приходилось подрабатывать на стороне. Перуджино, который должен был писать «Передачу ключей», видя, что противоположная стена остается девственно голой, не прикасался к кистям. Он согласился приехать в Рим в надежде хорошо заработать, пропадал целыми днями в городе в поисках долгожданных заказов и, похоже, набрал их больше, чем мог написать.

Да и Сандро, которого считали бессребреником, не отставал от других. Откровенно говоря, он и в Риме не отказался от беспечного образа жизни, который вел в родном городе. Кутила, как говорят во Флоренции, всегда найдет деньги на выпивку. Если Сикст не платит, то к его услугам богатые земляки, но рано или поздно взятые у них долги приходится возвращать. За неимением денег расплачиваться приходилось картинами. Один купец, видевший во Флоренции его «Поклонение волхвов», пожелал иметь точно такое же. Ему пришлось уступить – слишком велик был долг. Конечно, не стоило большого труда восстановить по памяти столь поразившее купчину «Поклонение», но то ли из упрямства, то ли от скуки Сандро решил поэкспериментировать: избрал необычную композицию – окружность. Волхвы и их свиты, стекая с холмов, напоминающих те, что окружают Флоренцию, образуют как бы круг, который на переднем плане размыкается, открывая вид на полуразрушенное строение, где ютится Святое семейство.

Отступив от желания заказчика получить то, что он видел, в остальном Сандро постарался избежать риска. Почти каждый флорентиец считает себя знатоком живописи, знает, что такое перспектива и пропорции, что, по мнению большинства художников, красиво, а что нет. Поэтому на большие новшества он не решился, даже пейзаж выписал тщательнее, чем делал это обычно. Его кредитор остался доволен и долг простил. На этом Сандро успокоился и от дальнейших заказов отказался.

Ему пришлось, правда, написать несколько портретов, но на них ушло не так уж много времени. По-видимому, слух о мастерстве Сандро и в этом роде живописи дошел до Сикста, и нежданно-негаданно ему сообщили о желании папы, чтобы над фресками он нарисовал нескольких его предшественников. Работа

не столь уж сложная, если модель сидит напротив тебя, или же существуют мало-мальски сносные ее изображения. Некоторые портреты, правда, нашлись, остальные пришлось разыскивать по библиотекам, а то и писать просто по наитию. Во всем, однако, есть свои плюсы: просматривая рукописи в Ватикане и в собраниях римских любителей древностей, Сандро обнаружил много такого, что привело бы в восторг его ученых друзей во Флоренции, а кроме того понял, что все обвинения их в поклонении язычеству, исходящие из Рима, есть ложь и фарисейство, ибо сами папы и кардиналы усердно собирали древние рукописи и в домах у них можно было увидеть отнюдь не только изображения святых.

Многое из того, что рассказывали во Флоренции посетившие Рим, оказалось правдой. Казалось, не было такого порока, который бы не свил сейчас гнезда в Вечном городе, куда стремились толпы паломников, чтобы очиститься от грехов и начать праведную жизнь. Одних только шлюх тут было раз в десять больше, чем в его родном городе. Нечего было ждать, как наивно надеялся Мариано, что тут можно обрести какое-то просветление. Особенно диким казалось то, что порочной жизни предавались те, кто должен был нести спасение другим.

Злотворное дыхание нового Вавилона отравляло их артель – вдруг ни с того ни с сего вспыхивали ссоры, никто не спрашивал совета у товарищей. Во многом здесь был виноват Сикст, пообещавший увеличить плату вдвое тому живописцу, чьи фрески он сочтет лучшими. Это сразу же породило подозрительность и зависть. Ко всему прочему, содержание по-прежнему выплачивалось им нерегулярно. Мастера еще кое-как подрабатывали, но некоторые подмастерья, плюнув на посулы щедрого вознаграждения в будущем, украдкой бежали из Рима. Флорентийцы пока держались, хотя некоторые из них с радостью отряхнули бы римскую пыль со своих ног, если бы не боязнь нанести своим непослушанием вред республике и Лоренцо.

Пожалуй, только это удерживало их в Риме, ибо надежды на баснословное вознаграждение, обещанное им вначале, с каждым днем таяли как дым. Ни для кого не было секретом, что папская казна пуста. Ни с чем вернулись из Германии посланцы Сикста, которые должны были собрать деньги на поход против турок. Никто им не поверил: таких поборов было уже множество, но все средства словно проваливались в бездонную бочку. Была еще надежда на Испанию, где «католические монархи» Фердинанд и Изабелла усилили преследование еретиков и мавров, но от их конфискованного имущества Риму перепали лишь жалкие крохи. Можно было, конечно, найти немало еретиков и в самой Италии,

но те из них, кто был побогаче, пользовались покровительством сильных правителей, с которыми, как убедился Сикст, тягаться не стоит. Он разрешил своим прелатам за известную мзду содержать публичные дома якобы для обслуживания паломников, но что это за доходы – так, капля в море! Займы же стали давать неохотно; тот же Лоренцо медлит, ставит условия. В довершение всего почти прекратился подвоз продовольствия из окрестностей, где свирепствовали разбойники. Цены взлетели на головокружительную высоту, а простой люд начал голодать. У дворцов папских племянников стали собираться беснующиеся толпы, угрожая поджечь их и выкурить из Рима жадную свору родственников Сикста. И все больше усиливались слухи о планах всяческих супостатов собрать собор и сместить папу. Чтобы предотвратить это, тоже нужны были деньги.

Потеряв надежду на то, что они возвратятся из Рима сказочно богатыми, живописцы перестали работать с прежним пылом. Те, кто до сих пор еще не нашел работу на стороне, поспешили сделать это. Перуджино, написав «Рождество», «Рождение Моисея» и «Успение», забросил «Передачу ключей» – он трудился теперь в нескольких церквях сразу. Гирландайо пропадал у флорентийского купца Франческо Торнабуони, у которого от родов умерла жена, и он решил увековечить ее память, попросив Доменико расписать всю стену в церкви Минервы над ее гробницей. Росселли тоже подвизался на стороне, а что касается фресок, то здесь у него было особое мнение: чего ради стараться, лезть из кожи вон, нужно лишь подобрать краски поярче да подцветить написанное позолотой, с Сикста этого будет довольно. Какой там вкус у бывшего рыбака? Руководить артелью, распадавшейся на глазах, становилось невмоготу.

Новый год, который Сандро по флорентийскому календарю отмечал 25 марта, он встретил в долгах и прескверном настроении. Как раз накануне из Флоренции дошло известие, что в феврале умер старый Мариано Филипепи. Имевшиеся у него средства он разделил поровну между тремя сыновьями, а дом завещал Джованни, как старшему, с условием, что за Сандро останется мастерская. Смерть отца была весомым предлогом, чтобы добиться от папы разрешения вернуться во Флоренцию, а там и уговорить Лоренцо, чтобы тот освободил его от ставшей невыносимой миссии.

В голову Сандро закрадывалось подозрение, что Сикст медлит с выбором темы для третьей фрески не только для того, чтобы оттянуть время расплаты с живописцами, но и для того, чтобы как можно дольше задержать его в Риме. Но беда одна не приходит. Пока он раздумывал над тем, как ему поступить, из

Флоренции поступила новая весть: в марте скончалась Лукреция Торнабуони, мать Лоренцо. Тот, кто знал Великолепного так, как Сандро, мог предположить, что потребуется много времени, пока правитель оправится от этой потери. Досаждать ему до этого какими-либо просьбами было бесполезно, особенно такими, которые могли нарушить что-либо в созданной им системе политического равновесия. Зачем ему осложнять отношения с Сикстом из-за какого-то Боттичелли? Сомневаться в том, что скорбь Лоренцо была глубокой, не приходилось: было только два человека, которых он любил безмерно и которым доверял безусловно – брат Джулиано и мать. Теперь он потерял обоих, и Сандро приходилось ждать.

Однако дело решилось быстрее, чем он предполагал. Ему приказали явиться к папе. Сикст принял его в библиотеке, и он поразился, как изменился первосвященник с их первой встречи. Он еще больше постарел и обрюзг; казалось, любое движение причиняет ему боль. Это было заметно, когда он взял со столика, стоявшего рядом, тяжелую Библию в золоченом переплете. Потом раскрыл ее там, где она была заложена вышитой бархатной закладкой, и с явным трудом начал читать:

«И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона; а Дафан и Авирон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие: если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей: то не Господь послал меня; а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только сказал он слова сии, расселась земля под ними; и разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей Коревых и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все Израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение».

Объяснений не требовалось, Сандро и без них понял, что это – сюжет его третьей фрески. Была ли здесь перекличка с жизнью Моисея и Христа, он не брался судить. Но сопоставление этой темы с «Передачей ключей» Перуджино явно предупреждало всех недругов Сикста: «Господь вручил мне ключи от своего храма, и не вам судить меня, в противном случае и вас постигнет кара

небесная, как род Корея».

Теперь он мог по крайней мере предполагать, когда сможет покинуть Рим. Если Сикст не придумает какого-либо нового предлога, все зависит от его старания и усердия. Задача, как кажется, облегчалась тем, что теперь ему предстояло написать всего лишь одну сцену. Это диктовалось и фреской Перуджино, на которой изображалась лишь передача ключей апостолу Петру без всяких предыстории, разбросанных во времени и пространстве. Он в полной мере мог применить свои знания пропорции, перспективы и композиции, а не ломать голову над тем, как увязать массу эпизодов в единое целое. Однако он не пошел по легкому пути. Вместо того чтобы ограничиться тем отрывком, что представил ему Сикст, он ввел в свою фреску еще рассказ о том, как толпа собирается побить Моисея камнями и как дым от жертвенников отклоняется в сторону, указывая на бунтовщиков. Об этом в Библии не говорилось, это были его собственные домыслы, усложнившие композицию.

Он попытался внести и другое новшество: изобразил сзади Константинову арку, призванную объединить три сцены, помещенные на переднем плане. Попытка не вполне удалась, но для него это было не столь важно. Цель была в другом – продемонстрировать коллегам свои способности в передаче чувств. Ярость бушующей толпы, ужас мятежников при виде отклоняющегося в их сторону дыма, смятение «людей Кореевых» перед зазиявшей вдруг перед ними пропастью. В передаче жестов и необычных поз человеческого тела он, несомненно, был не меньшим мастером, чем в рисунке. Сотоварищи оценили это по достоинству, и если Сикст, как о нем говорят, знает толк в живописи, то победу себе Сандро обеспечил.

Лето было в разгаре. Самая пора сдавать работу, чтобы к августу, когда Тибр начнет исторгать свое болезнетворное дыхание, убраться из Рима. Однако, как всегда, обнаружились недоделки. А тут еще Перуджино таинственно исчез, – видимо, подвернулся более выгодный заказ, – и Лука Синьорелли в спешном порядке доделывал его фреску. Росселли, укрывшись за парусиной, продолжал колдовать над своими картинами. Гирландайо, видя, что его коллега всецело занят «Наказанием Корея», взялся дописывать не завершенный им ряд Сикстовых предшественников. Эти мелочи поглотили гораздо больше времени, чем они предполагали.

Хотя, на их взгляд, работы еще не были завершены, пришлось их спешно сворачивать: Сикст изъявил желание посетить капеллу. До этого он ни разу не был в ней, и теперь они с трепетом ждали его приговора – вдруг не понравится. Был назначен день осмотра,

в спешке выносили леса, скребли пол, выбрасывали прочь горшки из-под красок, снимали парусину, закрывавшую фрески. Все получилось так, как и было задумано. Только своенравный Росселли потешил их: его фрески сверкали позолотой и слепили глаза лазурью. Такого во Флоренции давненько не видели! Сейчас только второразрядные ремесленники прибегали к таким эффектам на потребу невзыскательных заказчиков – истинные мастера давно отказались от манеры, к которой прибегали фра Анджелико и великий Джотто для изображения «божественного света». Но переделывать что-либо было уже поздно.

Сикст пробыл в капелле долго, медленно переходя от фрески к фреске, придирчиво рассматривая каждую из них с таким видом, будто пытался обнаружить крамолу. Но работа была сделана на совесть, его воля нигде не была нарушена. Видимо, папа остался доволен. Настал долгожданный миг, когда он должен был определить победителя. Неожиданно для всех он счел, что пальма первенства принадлежит Козимо Росселли. Может быть, тот и был в понимании коллег неумелым живописцем, но надо отдать должное – в людях он разбирался и не приписывал им больше того, на что они были способны.

Папа не поскупился: труд художников был оплачен достойно. Некоторые из них впервые держали в руках такие огромные деньги. Что касается Сандро, то после уплаты долгов у него осталось ровно столько, чтобы, не терпя лишений, возвратиться во Флоренцию. Именно после этой поездки в Рим за ним прочно утвердилась слава транжиры и мота. К этому прибавилось чувство оскорбленного самолюбия. Надо же, ему – первому мастеру Флоренции – предпочли какого-то Росселли, только и умеющего что золотить свои фрески! Но и это было еще не все. Франческо Торнабуони сообщил им по секрету, что когда Великолепный напомнил Сиксту о своем желании заполучить кардинальскую шапку для сына, тот просил передать ему лишь свое благословение. Нуждался ли в нем Лоренцо, судить было трудно, но всех их беспокоила мысль, что их труд оказался напрасным – они не достигли того, ради чего Великолепный отправил их в Рим. И теперь присуждение первенства Росселли и данное после этого им всем приказание добавить в написанные ими фрески лазури и золота предстали в ином свете. Сикст еще больше хотел уязвить Лоренцо: он со своим хваленым вкусом покровительствует живописцам посредственным, ибо папа знал, что Росселли, в отличие от всех остальных, никогда не работал на Медичи. Здесь опять-таки проявился злобный и мстительный нрав римского понтифика.

Эта выходка святого отца несомненно омрачила их радость от

возвращения в родной город. Целый год они не видели Флоренции. Осень была в разгаре, на холмах начали уборку винограда, и горожане сновали по окрестным деревням, запасаясь провизией на зиму. Сандро вспоминал, как беспокоился в это время года Мариано, которому всегда казалось, что припасов не хватит, чтобы перебиться до весны. Теперь об этом некому волноваться.

Глава седьмая
Рождение богини

На первый взгляд казалось, что во Флоренции за его отсутствие мало что изменилось, и если какие перемены и произошли, то лишь в их доме. Джованни уже вошел в роль главы семьи, а хозяйством теперь распоряжались его крикливая жена и подросшие сыновья – Лоренцо и Бенинказа. Старая мебель исчезла; правда, в его мастерской ничего не тронули, но супруга Джованни почти что в день приезда намекнула, что в будущем его ученики не должны шнырять по всему дому, а он сам обязан вести жизнь добропорядочного горожанина.

Встреча с Лоренцо показала, что перемены коснулись не только его дома. Прежде всего бросились в глаза изменения, которые произошли во внешности правителя. Он как-то поблек и состарился; еще больше заострился подбородок, губы стали тоньше, глаза ввалились, суставы на пальцах уродливо набухли. Перед Сандро сидел уставший до смерти человек. Его рассказ о пребывании в Риме Великолепный выслушал без особого интереса, а по его кратким язвительным замечаниям Сандро понял, что флорентийский правитель знает значительно больше его – недаром, как говорили, у него по всей Европе были свои глаза и уши. Похоже, что после смерти матери Фортуна отвернулась от него. Венецианский дож не оставил своих притязаний на Феррару, и все усилия Лоренцо достигнуть хотя бы худого мира не приносили плодов. Да и с папой Флоренция все еще находилась в состоянии войны, ибо никакого мирного договора подписано не было. Покой, в котором сейчас жила республика, был шатким и грозил рухнуть в любое время. Благосклонность сограждан Лоренцо поддерживал щедрыми подачками, но бездонный колодец, из которого он их черпал, – семейный банк, – уже начинал иссякать. Ему пришлось закрыть несколько филиалов, и как всегда бывает в таких случаях, по городу поползли слухи, что Великолепный не только никудышный политик, но и плохой банкир, который для поправки своих дел запустил руку в городскую казну. Во Флоренции все забывается слишком быстро.

Еще в Риме Сандро слышал, что, кроме забот, связанных с городскими делами, у Лоренцо появились сложности в семье. После смерти Лукреции бразды правления в палаццо на виа Ларга взяла Кларисса Орсини, дама своенравная и, откровенно говоря, недалекая. Она так и не усвоила республиканских традиций

Флоренции и, вбив в голову представление, что должность правителя города является наследственной для рода Медичи, стала воспитывать старшего сына Пьеро как преемника Великолепного на несуществующем флорентийском престоле. Напрасно Лоренцо и его друзья-философы пытались убедить Клариссу, что это далеко не так, что заносчивость и презрение Пьеро к своим сверстникам, его гордыня, которая под влиянием матери стала проявляться все явственнее, могут повредить ему. Их слова не доходили до сердца заносчивой римской патрицианки. Анджело Полициано первым сложил оружие в битве с Клариссой и попросил уволить его от обязанностей воспитателя Пьеро. В результате его отношения с Лоренцо стали натянутыми, исчезли прежняя близость и откровенность между ними. С другими членами Платоновской академии Лоренцо встречался еще реже: теперь ему было не до служения музам.

Уже при этой встрече Сандро заметил у Лоренцо признаки той же болезни, которая унесла его отца. Великолепный, видимо, также знал об этом и не строил иллюзий. Все чаще впадая в меланхолию, он жаловался на усталость, говорил о своем твердом намерении оставить политику и удалиться в деревню, чтобы всецело заняться философией. Однако никто ему не верил – тяга к власти прочно укоренилась в крови медичийского семейства, и Лоренцо был обречен оставаться политиком до конца своих дней.

Изменилось и настроение горожан: то, что усилилось их ворчанье против Медичи, было не в счет – когда они были довольны властью? – но прибавились новые нотки. За этот год еще больше возросло религиозное рвение, многих обуяла тяга к покаянию в грехах истинных и мнимых, а пути спасения души стали искать так усердно, будто уже завтра им предстояло идти на Страшный суд, будто они вняли наконец словам Данте:

О христиане, гордые сердцами,
Несчастные, чьи тусклые умы
Уводят вас попятными путями,
Вам невдомек, что только черви мы,
В которых зреет мотылек нетленный,
На Божий суд взлетающий из тьмы!

Большинство горожан, как и их отцы, все еще ждали просветления и спасения из Рима. Те же, кто, подобно Сандро, воочию видел нравы, царящие в Вечном городе, уповали на неких пророков, которые вот-вот появятся и вразумят заблудших. Но ни первые, ни вторые не догадывались, что такой «спаситель» уже осчастливил Флоренцию своим посещением. Вскоре после

отъезда Сандро в Рим в его городе появился монах-доминиканец, который сразу приковал к себе внимание, ибо прошел слух, что Лоренцо призвал его для чтения проповедей. Скорее всего так оно и было, потому что Джироламо Савонарола – таково было имя пришельца – обрел в его лице покровителя. Это подогрело интерес к таинственному монаху, ведь было известно, что Лоренцо не особенно жаловал носителей сутаны и в его доме очень редко можно было увидеть священнослужителей.

Новую причуду Великолепного объясняли по-разному. Одни были уверены, что он уступил настояниям Лукреции, женщины глубоко верующей и приходившей в отчаяние от мысли, что ее сын не слишком ревностно почитает Бога и его наместника на земле. Другие утверждали, что мать Лоренцо здесь ни при чем – его принудило к этому изменившееся настроение толпы. Третьи, слышавшие кое-что о Савонароле, отвергали и то и другое; по их мнению, Лоренцо просто хотел насолить Сиксту, так как фра Джироламо – яростный его обличитель. Где тут была истина, трудно было сказать, Великолепный избегал раскрывать свои намерения.

По меркам практичных флорентийцев, фра Джироламо был человеком не от мира сего. Странным образом его судьба оказалась тесно связанной с судьбой их города. Этот уроженец Феррары, будучи студентом университета, где он изучал медицину – и, как рассказывали, весьма успешно, подавая надежду стать незаурядным врачом, – влюбился в дочь Строцци, изгнанного в Феррару из Флоренции. На беду, горделивые родственники его возлюбленной наотрез отказались породниться с нищим, хотя и способным студентом. Это перевернуло всю его жизнь – Савонарола посвятил себя служению Богу, причем столь рьяно, что даже его собратья по ордену доминиканцев нередко приходили в изумление от его фанатизма. Аскетизм Джироламо не знал пределов – он никогда не вкушал мяса, спал три часа в сутки и не только излишества, но и большинство обычных человеческих потребностей считал служением дьяволу. Флоренцию он ненавидел столь же страстно, как Рим, считая ее безнадежно порочной и воображая, что призван самим Господом избавить ее от погибели, наказать грешников и спасти немногих праведников.

С первого захода это оказалось нелегко. Предназначенные им для спасения флорентийцы не созрели до понимания ниспосланной им благодати. Если что и поразило их в проповедях фра Джироламо, прочитанных с кафедры двух небольших церквей перед Рождеством, так это его голос – вызывало удивление, как в этом тщедушном, истощенном теле

помещается столь громоподобный львиный рык. Лоренцо и его друзья, посетившие церковь, не скрывали разочарования. Савонаролу явно перехвалили: ораторскими способностями он не блистал, его латынь оставляла желать лучшего, жесты раздражали суетливостью и театральным пафосом. На Цицерона проповедник совершенно не тянул. С их точки зрения, фра Джироламо говорит явные банальности. Кто же во Флоренции не знает, что Сикст служит не Господу, а дьяволу, кто еще обольщается утверждениями о его безгрешности, кто сомневается, что священнослужители в большинстве своем погрязли в пороках и предались идолопоклонству? Философы с виллы Кареджи веселились от души, нарочито зевая и расхаживая по церкви. Однако им стоило вникнуть в то, что вещалось с кафедры – ведь то, что говорил Савонарола о новом Вавилоне, о грядущем в ближайшем будущем наказании за падение нравов, напрямую касалось и их.

Опасность проповедей фра Джироламо открылась Лоренцо и его друзьям не сразу. Не увидя в них ничего нового и оригинального, они скоро потеряли интерес к проповеднику и занялись своими делами. От их внимания ускользнуло то, что Савонарола нашел путь к сердцам простого люда, играя на въевшемся в его кровь страхе перед катастрофами, необычными явлениями, нарушающими сложившийся уклад жизни. По мере приближения 1500 года, который, как предрекали, принесет конец света и гибель всего живого, это чувство разрасталось, охватив и тех, кто раньше посмеивался над суевериями. Фра Джироламо перестал ограничивать себя гневными обличениями папской курии и начал подробно расписывать видения, якобы посетившие его. Хотя все они как две капли воды походили на те, о которых каждый мог узнать из Апокалипсиса, однако одно дело о чем-либо прочитать, и совсем другое – услышать из уст очевидца.

Возвратившись из Рима, Сандро также не уловил происходящих перемен в настроении сограждан. Те, с кем он общался, продолжали жить по-старому: обсуждали диалоги Платона, переводили языческих авторов, писали сонеты и заказывали картины: для души – на сюжеты древних мифов, для покаяния и спасения – на темы Библии. Может быть, лишь одно бросилось ему в глаза: стали меньше покупать Мадонн, ибо, как учил Савонарола, на последнем Божьем суде не будет ходатаев за род человеческий – Христос будет казнить или миловать, не слушая никаких заступников.

Если Сикст IV и хотел унизить флорентийских мастеров, то из его намерений ничего не вышло: Боттичелли по-прежнему

оставался первым живописцем Флоренции, а Гирландайо, получив от Франческо Торнабуони похвальное письмо, где превозносились его талант и искусство, почти сравнялся с ним. На отсутствие клиентов они не могли жаловаться, на их долю заказов хватало, что бы там ни проповедовал фра Джироламо. А вот положение других живописцев становилось хуже; наиболее предприимчивые и успевшие завоевать известность покидали город и искали прибыльных заказов в других местах. Вкусы тем временем менялись, старых мастеров теснили молодые. Добился признания Филиппино Липпи. Сандро мог тешить себя мыслью, что он открыл дорогу своему ученику, но положа руку на сердце он должен был бы признать, что их манеры все больше расходятся: Филиппино пошел за теми, кто был склонен считать, что задача живописца – предельная достоверность.

Молодые, удивительно быстро усвоив опыт, давшийся их наставникам с огромным трудом, теперь уходили все дальше и дальше. Планы их были фантастически дерзки, уверенность в собственных силах безмерна. Авторитетов для них не существовало. Леонардо да Винчи, которого Верроккьо, как считал Сандро, незаслуженно расхваливал, нагло заявил, когда Лоренцо показал ему «Весну», что картина – дрянь, ибо Боттичелли беспомощен в изображении ландшафта, а фигуры, написанные им, подсмотрены у каких-то уродов. Он бы высказал этому зазнайке все, что он о нем думает, но Леонардо на свое счастье уехал в Милан, не доведя до конца ни одного из флорентийских заказов. Таковы они все, и Филиппино не лучше. С каким трепетом они, уже будучи мастерами, стояли перед творениями Мазаччо, понимая, что им никогда не достигнуть такого божественного совершенства! Фра Филиппо, несмотря на всю свою творческую смелость, отклонил предложение дописать незавершенный цикл в капелле Бранкаччи – даже он не рискнул состязаться с великим и неповторимым мастером. Его сын взялся за это. С гордостью юнца, посрамившего старика, он показывал Сандро свои картины, хотя не ему было тягаться с Мазаччо.

Что за поветрие охватило этих молодых? Они готовы потратить массу времени и труда, чтобы выписать каждый листочек, каждую щепочку, каждую пуговку, им нужно обязательно знать, как были одеты люди во времена апостола Петра, им позарез требуется достоверность! Да, возможно, они передадут красоту земную, но до небесной им не дотянуться, хотя бы они вылезли вон из кожи. Он не умеет писать ландшафты? Чушь! Он может написать их в десять раз лучше, чем все они вместе взятые, но в этом ли смысл и призвание живописца?

Фрески Филиппино получались приземленными, какими-то

чересчур обыденными, он даже не пытался подстроиться под патриарха флорентийской живописи. Будто для того, чтобы подчеркнуть это, он поместил среди персонажей портреты современников. Сандро было лестно увидеть среди них и свой: все-таки ученик почтил учителя, оказал ему уважение. Что касается других, то здесь все ясно – молодой живописец искал покровителей. Вряд ли гордый Мазаччо одобрил бы такой поступок, но у каждого времени свои песни.

12 декабря 1482 года был по всей форме подписан мир Флоренции со Святым престолом. Лоренцо еще раз подтвердил свою славу искусного политика, всегда добивающегося цели. Друзья и просто ласкатели толпились в доме на виа Ларга, торопясь принести поздравления. Великолепного снова прославляли в стихах и прозе. Сандро счел, что настало время и ему напомнить о себе. Еще раз придирчивым оком окинув «Палладу и Кентавра», он решил, что если картину немного подправить, то подарок должен удовлетворить Лоренцо, польстить его самолюбию и найти отклик у его ученых друзей. В свое время, когда он приступал к ней, они вместе с Марсилио долго и подробно обсуждали свою задумку. Фичино, как и полагается философу, приводил множество цитат из древних авторов, так и сяк толкуя мистическое значение богини и кентавра. По мнению Сандро, в его объяснении было много суесловия: к чему расписывать различие между зверем, человеком и Богом и их взаимоотношения? Зачем тратить столько слов, разъясняя, что в каждом из них живут и борются две сущности – звериная и божественная, символом чего и является кентавр, полузверь-получеловек? А может, греки так вовсе не думали? Но пусть ученые мужи тешатся своими толкованиями, у него есть одно попроще: Мудрость (Лоренцо) смиряет Зверя (Сикста). Чтобы это было понятно, он украсил одеяние Паллады узорами из трех переплетенных колец, обозначающих семейство Медичи.

Покидая Рим, Сандро подумывал над тем, что во Флоренции – по крайней мере до Нового года – он предастся сладкому ничегонеделанию, но кто может сказать заранее, когда мастера посетит вдохновение? Работая над «Палладой», он вдруг вспомнил о том, что некогда, когда он только входил в моду как живописец, мать Лоренцо изъявила желание, чтобы он написал для нее Мадонну. В памяти стерлось, что помешало тогда выполнить ее просьбу – скорее всего какой-нибудь пустяк. Зная, как Великолепный почитает Лукрецию, Сандро мог предположить, что образ Пресвятой Девы для него будет дороже, чем Паллада, усмиряющая кентавра. Да и толковать такое подношение можно будет в том духе, что Мадонна –

хранительница и заступница Флоренции – оказала ему помощь в многотрудных делах. В этой Мадонне угадывались черты Лукреции – не той, которую Сандро видел, уезжая в Рим, а другой, сохранившейся в его памяти с дней юности, молодой и прекрасной дамы. В ангелах, взирающих на нее, легко можно было узнать ее детей. Задумчивый, печальный взгляд Святой Девы таким образом как бы говорил о том, что она предчувствует смерть Джулиано и тяготы, выпавшие на долю Лоренцо.

Сандро не ошибся в своих предположениях: Лоренцо благосклонно принял обе картины, но наибольшей похвалы удостоил Мадонну. Вкус не подвел его и на этот раз: в наше время «Мадонна Маньификат», или «Величание Богоматери» – такое название закрепилось за ней – считается одним из лучших творений Боттичелли. Плавными линиями фигуры, нежным овалом лица Богоматерь напоминает его прежних Мадонн. Три юных ангела держат перед ней книгу, раскрытую на молитве «Богородице Дево, радуйся», а двое других держат над ее головой ажурный золотой венец. Действие происходит на фоне круглого окна, за которым виден пейзаж, сверкающий в серебристых лучах луны. Завершающий штрих – спелый гранат в руке младенца Христа. Это – символ страстей и мук, которые ждут его впоследствии, единственное напоминание о горестях мира в безмятежной по духу картине.

Закончив «Мадонну Маньификат», Сандро попытался завершить недоделанное до его отъезда в Рим. Среди этих работ были портрет Данте и иллюстрации к его «Комедии». Однако вдохновение на сей раз, кажется, покинуло его – опять начались прежние муки. Филиппино свел его с маклером Реджо – еще одним знатоком Дантовой поэмы, который все свое свободное время тратил на ее изучение и комментирование. Реджо, хитроумный делец, на отдыхе ради своего удовольствия вырезал на раковинах иллюстрации к «Комедии», снискавшие славу «вещей дивных». Однако оказалось, что и он одолел только «Ад»; все остальное было выше его понимания.

Напрасно Сандро возвратился к этой работе – она быстро истощила его силы. Ко всему прочему прибавились недоразумения с Джованни и его семейством, которому все больше досаждало присутствие в доме мастера и оравы его учеников. Сандро начал подумывать о том, чтобы хотя бы на время покинуть опостылевший дом. Такой случай мог представиться, но не раньше лета. Дело в том, что заканчивался годичный траур по Лукреции Торнабуони, по случаю которого оба семейства отложили все торжества. Была отодвинута и долгожданная свадьба родственника Лукреции Лоренцо

Торнабуони с прекрасной Джо ванной дельи Альбицци, хотя они давно были помолвлены.

Молодого Лоренцо Сандро хорошо знал – тот был учеником Полициано, и учитель не мог нахвалиться им. Торнабуони был не только изящен, но еще и умен. Он слагал стихи не хуже самого Полициано, а это много значило в глазах членов Платоновской академии. Он великолепно, несмотря на свою молодость, разбирался в городских делах, что обеспечивало ему любовь и поддержку самого Великолепного. Одним словом, молодой Лоренцо обладал всеми задатками, чтобы занять не последнее место среди сограждан. Под стать ему была и его невеста. Но и Полициано, и Фичино не одобряли их брака: они боялись, что академия потеряет Торнабуони навсегда, а это была такая потеря, о которой можно было только сожалеть. Но что они могли поделать? Любовь Лоренцо и Джованны относилась к числу тех, что сильнее смерти. Отсрочка свадьбы заставила Лоренцо впасть в уныние, ему все время мерещились измены его возлюбленной, он страдал от ревности, сочинял бесчисленные канцоны и сонеты. А она, жестокая, в традициях флорентийских дам не обращала внимания ни на его страдания, ни на бесконечные объяснения в любви. Безусловно, во всех этих стенаниях и вздохах было слишком много от той возвышенной страсти, которая описана в рыцарских романах, получивших широкое распространение во Флоренции и сведших с ума не одного влюбленного. Сколько пищи они дали для насмешек язвительного Луиджи Пульчи, который никак не мог понять, что здесь уже не игра, а действительно большая любовь!

Сандро искренне выражал свое возмущение по поводу жестокосердия Джованны и готов был всеми силами помочь ее возлюбленному. Он не понимал стенаний Полициано, продолжавшего сожалеть о том, что столь талантливый юноша добровольно отрекается от тех радостей, которые несет искусство, и столь безрассудно торопится в тихую гавань семейной жизни. Поэтому, когда речь зашла о подарке, который все они могут сделать новобрачным, именно Анджело предложил преподнести им нечто такое, что заставляло бы Лоренцо вспоминать то, от чего он бездумно отказался, и не забывать, что он рожден для чего-то большего, чем счастливая семейная жизнь.

Возможность сделать такой подарок скоро нашлась. У подножия холма Кареджи, где сгрудились загородные виллы семейства Медичи и их родственников, для Лоренцо была приобретена вилла Лемми. Здесь он должен был проводить знойные летние месяцы, предаваясь размышлениям и трудам. Задержка со свадьбой дала возможность привести виллу в

надлежащий вид. Пока шли строительные работы, кому-то из них пришла в голову мысль украсить лоджии фресками, придав загородному обиталищу Торнабуони праздничный вид. Много было споров о том, что следует изобразить на этих фресках, пока Фичино не предложил тему: любовь – основа всех искусств. Все нашли, что высказанная Марсилио идея просто великолепна. А как могло быть иначе – ведь плохих идей у Фичино никогда не было! Только вот как ее можно воплотить в жизнь? Над этим предстояло подумать.

Только в одном ни у кого сомнений не было: фрески должен писать Сандро, а то после работы в Ватикане от него так и пышет святостью! Это было, конечно, шуткой. Истина же заключалась в том, что после «Весны» его друзья твердо поверили в то, что только Сандро что-либо понимает в мифологии древних, а его «Паллада» еще больше укрепила их в этой вере. Действительно, не было во Флоренции живописца кроме него, которому они, любители Платона, могли доверить столь многозначительную и многоговорящую тему.

Половина лета была потрачена на то, чтобы изготовить картоны для этих фресок. И дело было не в нерасторопности Сандро, а в том, что философы и поэты никак не могли договориться, как лучше исполнить их замысел. Сандро за это время несколько раз посетил будущий приют молодых супругов, чтобы познакомиться с местом своей работы. Занятие не из приятных – отмерять по жаре три мили. Но, согласившись, он уже считал себя не вправе отказаться от визитов на виллу Лемми. Оставались неисполненными уже сделанные ему заказы, а он все отмерял эти три мили, чтобы полюбоваться на голые стены, на которых он должен изобразить нечто, пока еще неведомое ему. А философы с виллы Кареджи все еще потели в прениях и не могли прийти к единому мнению. То мысль Фичино оказывалась недостаточно раскрыта, то все бы хорошо, но не было отражено целомудрие Джованны, то сам жених вдруг находил, что образ его возлюбленной далек от идеала… Кончилось тем, что Сандро испросил разрешение перебраться на виллу и там хотя бы немного отдохнуть от всех этих распрей. Когда они придут к согласию, пусть сообщат ему, и тогда он немедленно приступит к воплощению их замысла.

Это подействовало – спорщики все-таки пришли к единому мнению. На одной из фресок Сандро должен изобразить Венеру – слава богу, что Лоренцо попросил облачить ее в одежды по последней флорентийской моде. Богиня вроде бы входит в комнату невесты в сопровождении граций, и Джованна протягивает ей свою брачную фату. Эту сцену, видимо, нужно

было толковать так: Венера принимает возлюбленную Лоренцо в свою свиту, в которой античные грации причудливо совместились с христианскими добродетелями – искусствоведы давно уже спорят, кем именно считать эти прелестные полувоздушные существа. К замыслу Фичино это вроде бы не имело никакого отношения, но, наверное, он, Сандро, еще не дорос до высокой символики и чего-то недопонимает. Но дело обстояло гораздо проще, чего Сандро, находясь все это время за городом, не знал. Лоренцо настоял на том, чтобы его возлюбленная была приравнена к богиням красоты.

Удовлетворив его тщеславное желание, друзья Торнабуони сочли себя вправе сами определить, что будет изображено на второй и третьей фресках. На одной из них Сандро предстояло написать Минерву-Палладу, которая представляет Лоренцо Торнабуони музам, покровительницам искусств, расположившимся на опушке леса во главе с самой Риторикой. Ну, это было не так уж сложно: просто компания флорентийских дам выехала за город и, удобно усевшись на лужайке, перемывает кости своим знакомым и ближним. Такие сцены он сам наблюдал не раз. Так, наверно, и понимали фреску «Лоренцо Торнабуони и свободные искусства» те, кто не был особенно искушен в тонкостях символики.

Несмотря на безмятежную красоту обоих фресок, в них разлита какая-то меланхолия, словно говорящая о том, что красота и любовь в этом мире живут недолго. Так и случилось – через два года после свадьбы прекрасная Джованна Альбицци умерла от родов, повторив печальную судьбу Симонетты Веспуччи.

Относительно третьей фрески философы с виллы Кареджи снова никак не могли договориться. Сандро знал, что все его предложения будут отвергнуты знатоками языческой религии. Предоставив им возможность ратоборствовать друг с другом и дальше, он погрузил необходимые материалы на повозку и вместе со своим учеником Бартоломео ди Джованни теперь уже окончательно переселился на виллу Лемми. Две фрески, по крайней мере, у него уже были, и стоило поторопиться, чтобы его друзья что-либо не передумали, как это уже не однажды случалось.

Им с Бартоломео было хорошо здесь, за городом. Работы на вилле были почти завершены, посетители появлялись редко. Впервые за свои тридцать семь лет Сандро смог пожить той жизнью, которую вели богатые люди. Не было никаких разговоров о политике, которые сразу же возникали в городе, стоило встретиться хотя бы двум флорентийцам. Не было ученых бесед, в

которых он стал теперь понимать больше, чем прежде, но которые временами казались ему совершенно ненужными – просто игрушками взрослых людей. Кончая к вечеру свою работу, он много гулял, размышляя над тем, что, по существу, делает никому не нужную работу. Кто, кроме этих ученых мужей, поймет смысл того, что он изображает? В той среде, из которой он вышел, никто не знает всех этих Минерв, Венер, муз и граций. Мадонны, портреты, даже расписанные им лари, столы и стулья имели для простых горожан гораздо большую ценность, чем те фрески, над которыми он сейчас бьется.

Но так уж случилось, что он вошел в этот круг людей, служит им и, чего там греха таить, эта работа ему нравится. Ведь, по сути дела, он работает не за деньги. Он мог бы получать гораздо больше, если бы по-прежнему писал своих Мадонн. Но что-то могучее, непонятное ему влечет его за пределы привычного и обыденного. Может быть, меняется весь мир. Ведь если задуматься, припомнить, то этот мир совсем уже не такой, каким он застал его в детстве. Его отец Мариано жил, не задумываясь над смыслом своего существования. Его учитель Липпи, хоть и был новатором в технике, не рисковал выходить за пределы привычных, не вызывающих споров сюжетов. Во всяком случае, древние греки и их божественный Платон были ему совершенно безразличны, и он вряд ли что-либо знал о них. Он тоже жил в привычном для него мире, в меру греша и в меру каясь. Зачем ему, Сандро, нужно было делать шаг куда-то в сторону?

В те дни, когда было пасмурно или же Бартоломео отправлялся в город, чтобы пополнить запасы съестного и красок, Сандро принимался за чтение Дантовой «Комедии», которая теперь стала его постоянной спутницей. Странно, но теперь она не вызывала у него тех страхов, которые терзали его еще совсем недавно, и он вспоминал о них все реже и реже. Неужели он настолько погряз в грехах, что ему все стало безразлично?

Его покой закончился, когда члены Платоновской академии вспомнили о нем и его фресках и избрали для своих прогулок тропу, ведущую к вилле Торнабуони, а для своих ученых бесед – сад, окружавший ее. Их посещения были обременительны. Каждый раз они находили в уже готовых частях фресок какие-нибудь недостатки: одно они, как оказывалось, не продумали до конца, другое нужно бы изобразить иначе. Но, слава богу, фрески – это не картины, где можно что-либо менять и переписывать бессчетное количество раз! Стена же, оставленная для третьей фрески, по-прежнему пустовала: академики так и не пришли к согласию, что и как на ней следует изобразить. Похоже было, что это вряд ли случится до свадьбы Лоренцо и Джованны.

Изредка на вилле появлялся и Великолепный. В этом году у него почти не было возможности всецело посвятить лето уходу за виноградником, за своими калабрийскими свиньями, испанскими кроликами и сицилийскими фазанами – а ведь этому занятию он предавался с не меньшим восторгом и энтузиазмом, чем политике. Если его друзья восхваляли деревенскую жизнь и сельское уединение больше в подражание древним философам, искавшим уединения, но не особенно разбирались в крестьянском труде, то Лоренцо занимался им всерьез и находил в нем удовольствие. Может быть, поэтому его эклоги, воспевающие сельскую жизнь, звучали более искренне, чем песнопения его друзей. Но сейчас ему было не до эклог. Созданная им система зыбкого равновесия итальянских государств грозила развалиться в любой момент. Заключенному с папой миру он не особенно доверял, примирения с Венецией так и не смог достигнуть. Он серьезно опасался, что то уважение, которое он с таким большим усилием завоевал в родном городе, может растаять, и к его великому сожалению, он ничего не мог сейчас повернуть в лучшую сторону. Смерть матери, неурядицы в собственном доме, вечные недоразумения и ссоры с Клариссой состарили его на несколько лет. А так как беда не приходит одна, то неожиданно его здоровье резко ухудшилось; все явственнее были признаки болезни, которая свела в могилу его отца.

Он все чаще задумывался о судьбе, ожидавшей его детей. Старший сын Пьеро должен был унаследовать все его состояние, встать во главе рода Медичи. Но Лоренцо мало верил в то, что он может продолжить его дело – уж он-то знал буйный и переменчивый нрав флорентийцев! Для этой роли больше бы годился младший сын Джулиано, но ему, согласно традиции, была уготована другая судьба – он должен принять духовный сан. Будь в Риме другой папа, а не Сикст, Лоренцо ничего бы не стоило добиться для Джулиано кардинальской шапки. Но пока об этом приходилось лишь мечтать. Сандро не раз видел, как Лоренцо, прихрамывая и кривясь от боли, прогуливался по аллеям сада с Фичино и Полициано, и, судя по их озабоченным лицам, разговор шел отнюдь не о поэзии и философии. Полициано, воспитавший детей Лоренцо и более чем кто-либо знавший их, обычно после этих бесед хмурился, и обращаться к нему с какими-либо вопросами было абсолютно бесполезно.

Благоприятное время для написания фресок уходило. Приближалась осень, и нужно было думать о том, чтобы поскорее возвращаться в город. Работу на вилле Лемми, видимо, придется завершать после того, как закончится зима. Оставалось, правда, выполнить еще один заказ, порученный ему богатым купцом

Антонио Пуччи. Его сын Джаноццо женился на красавице Лукреции Бини, и счастливый отец пожелал подарить молодым картины знаменитого мастера. В ту пору вошло в моду вместо фресок украшать стены комнат съемными панелями, которые в случае необходимости можно было бы переносить в другое место. Их росписью и занялся Сандро, когда ему наскучили бесконечные прения по поводу Венеры.

Начитанный Пуччи выбрал темой будущих картин «Декамерон» Боккаччо, а именно новеллу восьмую из пятого дня – рассказ о Настаджио дельи Онести. Хватило четырех панелей – по одной на каждую стену, чтобы изложить повествование о том, как благородный юноша Настаджио, терзаемый безответной любовью, получил в конце концов свою возлюбленную, дочь равеннского купца Паоло Траверсари. На помощь ему пришло само провидение, дав возможность показать ей, какая печальная участь ожидает тех жестокосердных дам, которые не отвечают взаимностью на пылающую страсть: после смерти их терзают злые псы, а отвергнутые юноши вырывают их сердца, не знавшие жалости.

Был ли у Пуччи повод избрать именно эту тему, Сандро не знал, но он был благодарен купцу за то, что тот оторвал его от высоких материй и на некоторое время спустил на грешную землю. Да и перечитать «Декамерон» после скучной, на его взгляд, «Генеалогии богов» того же автора было одно удовольствие. Какое счастье, что Петрарка удержал Боккаччо, когда тот собирался бросить рукопись этой предосудительной книги в горящую печь!

Работа была выполнена на совесть, добротно. Тот, кто разбирался в живописи, мог бы сказать, что мастер здесь достиг гармонии: светлые тона уравновешивались темными, движение налево – движением направо, горизонтальное развитие действия – вертикально стоящими неподвижными деревьями. Блюстители нравов, конечно, могли бы вновь упрекнуть его в том, что он изобразил обнаженную плоть. Но здесь его оправдывал сам Боккаччо: «Уже почти миновал пятый час дня, и он провел с полмили в лесу, не вспомнив ни о пище, ни о чем другом, как вдруг ему показалось, что он слышит странный плач и резкие вопли, испускаемые женщиной; его сладкие мечты были прерваны, и, подняв голову, чтобы узнать, в чем дело, он изумился, усмотрев себя в сосняке; затем, взглянув вперед, увидел бежавшую к месту, где он стоял, через рощу, густо заросшую кустарником и тернием, восхитительную обнаженную девушку с растрепанными волосами, исцарапанную ветвями и колючками, плакавшую и громко просившую о пощаде».[11]

В написании картин Боттичелли помогали его ученики: в первых трех специалисты различают руку самого известного из них, Бартоломео ди Джованни, в четвертом видят влияние Якопо Селлайо. Но замысел картин полностью принадлежит Боттичелли, соединяя драматизм содержания и спокойное изящество формы. На первой картине изображена погоня рыцаря за его жестокой возлюбленной, невольным свидетелем которой оказался юный Настаджио. Вторая развивает сюжет – рыцарь нагоняет девушку и вонзает шпагу ей в сердце. Тут же нарисовано продолжение истории – девушка вновь оживает, и рыцарь снова бросается в вечную погоню за ней, воплощая нескончаемые терзания отвергнутой любви. На третьей и четвертой картинах действие словно переносится из Равенны во Флоренцию – за накрытыми столами рядом с Настаджио восседают члены семейств Пуччи и Бини, а в центре красуется герб Медичи. Внезапно перед пирующими предстает все тот же рыцарь, расправляющийся с девушкой, и охваченная страхом дочь купца согласилась стать женой Настаджио.

Эта страшноватая история стилизована Боттичелли в духе средневековых миниатюр с их схематическими фигурами и яркими красками, почти лишенными полутонов. Однако все законы перспективы соблюдены, а эмалевая яркость цветов вполне соответствует старомодной назидательности притчи Боккаччо. По случаю свадьбы Сандро попросили также расписать несколько ларей-кассоне. Может быть, и не пристало столь известному живописцу, как он, заниматься такими пустяками, но он согласился – Пуччи платили хорошие деньги, которые были не лишними для живописца, тратящего их с небывалой легкостью. Росписи ларей не сохранились, как и многие другие произведения, выполненные Боттичелли в это самое плодотворное для него десятилетие с 1480 по 1489 год. Среди них были «Паллада в натуральную величину на гербе с пылающими факелами», «весьма изящная фигура Вакха» для дворца Медичи на виа Ларга и многое другое – все поглотило беспощадное время.

Работа над фресками, чтение Боккаччо и выполнение нескольких мелких заказов, которые ему пришлось взять, чтобы расплатиться с накопившимися долгами, несколько отвлекали Боттичелли от раздумий о том, что же в конце концов происходит в мире, почему он погряз в грехах до такой степени, что даже в действиях папы Сикста многие не находят ничего предосудительного. Было похоже на то, что он, как человек, уставший бороться и размышлять, полностью подчинился судьбе и теперь с каким-то отчаянным безразличием плыл по течению.

Возможно, это происходило оттого, что ему никогда не хватало ни силы воли, ни решимости, и он легко поддавался чужому влиянию. В этом его упрекали не только покойный Мариано, но и друзья. Но все-таки желание понять, разобраться, где же истина, жило в нем и время от времени пробуждалось от кажущейся спячки. Иначе чем можно было объяснить то, что он стал чаще гостить в доме Фичино, где продолжались споры о Боге и о предназначении человека?

Когда он слушал рассуждения о том, что философская истина пока еще не постигнута полностью, а христианство в лучшем случае находится на полпути к ней, он готов был поверить, что все его терзания происходят именно от непонимания и незнания этой истины. Если уж лучшие умы Флоренции говорят об этом, то что же остается делать ему, сыну простого кожевника, всегда считавшему, что Библия – это истина в ее завершенном виде. Может быть, правы его друзья: в диалогах Платона, которого они рассматривали как предтечу христианского учения, содержится немало полезного и далеко не языческого. Но хотя он теперь стал лучше понимать, о чем спорят и говорят собравшиеся за столом философы, Платона он так и не постиг до конца. Трудно было понять, о чем все время спорит его Сократ, который сбивает с толку своих слушателей, заставляя верить в то, что они вначале отвергали. Так же часто случалось и с ним: он шел к Фичино с ясным представлением о том, что ему надо сказать, а уходил с сумбуром в голове. Казалось, основная цель этих философов состоит в том, чтобы окончательно все запутать и опровергнуть очевидное. Сократовская логика, которой восторгался Фичино, для него оставалась недоступной. И так ничего не понятно в этой жизни, а тут ставится под сомнение все!

Ближе ему были рассуждения неоплатоников о красоте. Он даже был готов смириться с тем, что ее якобы можно выразить в цифрах, в их соотношениях, хотя это скорее было задачей Леонардо – тот любил копаться в подобных вещах. Сандро тоже немного разбирался в учении Пифагора, к которому был подготовлен учением флорентийских живописцев о пропорциях. Но гораздо большее впечатление на него произвело утверждение Платона о существовании мира идей, которые он представлял в виде каких-то колеблющихся, бестелесных, зыбких теней. В этот мир он был готов поверить без оговорок, согласиться с тем, что именно он порождает в его голове те образы, которые он потом переносит на свои картины. Почему-то этот мир ассоциируется у него с теми миниатюрами, которые он видел в библиотеке Лоренцо в старых рукописях, а еще с образами, созданными Данте в его бессмертной «Комедии».

Может быть, правы те, кто утверждает, что древние греки—к примеру, тот же Апеллес, картин которого никто не видел, но все утверждают, что они были совершенны, – знали, что такое красота, потому что были ближе ко дню творения. Если это так, то прав Фичино, который требует, чтобы живописцы, изображающие мир древних, внимательно изучали все то, что осталось от этого мира. И Лоренцо ди Пьерфранческо настаивает на том же. Но все-таки его больше влекли к себе бестелесные зыбкие идеи Платона, чем пышущие силой и здоровьем фигуры, оставшиеся от древних и выставленные для изучения и подражания в саду Медичи. Споры велись и по поводу того, что на своих фресках он обрядил Граций в флорентийские одежды, каких в древней Греции не было. Но здесь он одержал верх. Было бы глупо изображать обнаженных женщин на фресках, открытых на всеобщее обозрение. Это могло бы привести к большим неприятностям. Говорят, что крестьяне воспринимают греческих богинь как распутных горожанок, но, может быть, так оно и лучше в нынешнее неспокойное время.

Праздником для Платоновской академии были те дни, когда во Флоренцию наезжал молодой граф Джованни Пико делла Мирандола. Похоже, что он вносил свежую струю в жизнь академиков, наизусть знавших мысли и аргументы друг друга. Пико поворачивал все их дискуссии в совершенно неожиданных направлениях. Общение с ним было небезопасно: в Риме давно уже присматривались к нему, поскольку многое из того, что он говорил и писал, было близко к ереси. Сейчас он бился над ответом на вопрос: что такое человек, каково его место в мире? Он находил это место где-то посередине между телесно-земным и небесно-духовным. Он был убежден, что человек сочетает в себе эти два начала – он может возвыситься до Бога и столь же легко впасть в скотское состояние, подобно тому кентавру, которого не так давно изобразил Сандро. Познав это, человек может творить сам себя, опираясь на волю и разум. Вот так на картине Сандро Афина Паллада укрощает кентавра, звериное начало в человеке. Так в разъяснениях Пико его картина, прославлявшая Лоренцо, получила неожиданно еще и другой смысл, о котором Сандро и не подозревал. Выходит, он тоже проник в сокровенные глубины философии! Это льстило, но было необъяснимо и поэтому пугало. Спустя год свои мысли Пико развил в знаменитой «Речи о достоинстве человека».

Конечно, Боттичелли мог бы гордиться тем, что принят в доме на виа Ларга, что у него сильные покровители, которые в случае необходимости не дадут его в обиду, что он может почти на равных говорить с членами Платоновской академии,

мудрейшими людьми Италии. Многие ему завидовали, но сам он никак не мог решиться, с кем ему идти. После возвращения из Рима он почти не работал на церковь, будучи целиком занят выполнением заказов Медичи и его друзей. Прежние сомнения – после того как он окончательно разуверился в благочестии папы – вроде бы отступили куда-то далеко, на задний план. Во всяком случае, теперь его меньше терзали мысли о греховности его образа жизни. Но наступали дни, когда они обрушивались на него с новой силой. Он, конечно, не ведал, что точно в таком же положении находится не только он один, но и множество флорентийцев, у которых вдруг проснулись сомнения в том, правильно ли они живут.

Рождество, а затем и карнавал прошли по-прежнему празднично. Была отпразднована и женитьба Торнабуони, а Сандро так и не успел закончить последнюю, третью, фреску на вилле Лемми. Пользуясь теплыми днями, он по просьбе самого Лоренцо отправился писать фрески на виллу Спедалетто близ Вольтерры. Вместе с ним там работали Перуджино, Гирландайо и недавний его ученик Филиппино Липпи; все они старались превзойти друг друга, и работать в наполненной завистью атмосфере Сандро скоро надоело. Из заказанных ему шести фресок он завершил только три – тоже на темы из античной мифологии, но без обнаженных фигур. После этого вернулся в город и больше в Спедалетто не приезжал, ссылаясь на занятость. [12] Великолепный по-прежнему был всецело занят политикой и даже на свадьбе своего родственника ухитрился провести переговоры с приглашенными на нее миланцами. О занятиях философией ему приходилось только мечтать. Зато его усилия были вознаграждены. Летом 1484 года Венеция, которая все это время вела войну – одна против всех, – решила пойти на мировую. 7 августа между венецианцами и конфликтующими с ними сторонами был подписан договор.

Мечта Лоренцо вроде бы осуществилась – в Италии на какое-то время воцарилось спокойствие. Походило на то, что лишь один еле дышащий папа Сикст был недоволен этим. Вот уже несколько недель он был болен и ничего не знал о ведущихся переговорах. Заключение мира было для него полной неожиданностью, и когда ему на следующий день после подписания договора сообщили об этом событии, он пришел в такую ярость, что отдал Богу душу. В Риме по этому поводу шутили, что папа был настолько воинствен, что погиб, едва только услышал слово «мир». Впрочем, о его смерти никто не печалился, особенно во Флоренции. Почему-то все были уверены, что теперь все пойдет иначе – церковь обретет свой прежний авторитет, грех будет искоренен. Человеку так

мало нужно для надежды! Подобного рода ожидания не миновали и дом на виа Ларга, но там к этому событию подходили с сугубо земной меркой – возникла возможность исполнения желания Лоренцо получить кардинальскую шапку для своего младшего сына.

Сандро был свидетелем того, как готовилось посольство в Рим для поздравления папы Иннокентия VIII с избранием его на Святой престол. 52-летний кардинал Джанбаттиста Чибо был известен благочестием и рвением в делах веры, и от него ждали перемен к лучшему. Никто еще не знал, что главным итогом его недолгого понтификата станет булла *«Summis desiderantes affectibus»* («Всеми силами души»), положившая начало небывалым по жестокости гонениям на ведьм по всей Западной Европе. В течение следующих двух столетий костры, зажженные с благословения папы, унесли жизни сотен тысяч безвинных людей.

Сам Лоренцо посольство не возглавил – эту роль доверили его 13-летнему сыну Пьеро. Конечно, ученик Анджело Полициано мог произнести подобающие случаю слова о том, что Флоренция желает жить в мире с новым папой и что сын Лоренцо Джованни вполне достоин того, чтобы получить высокий сан. Но Великолепного явно волновало опасение, как бы Пьеро не испортил цель посольства своим строптивым поведением. Он наставлял его: «Когда ты находишься в обществе других юношей из посольства, то веди себя серьезно и вежливо. Поступай с ними как с равными и следи за тем, чтобы не претендовать ни на какие привилегии по сравнению с другими, так как хотя ты и мой сын, но именно поэтому ты также гражданин Флоренции, как и все остальные».

Надо отдать должное Пьеро – он успешно справился с поручением. Папу поразили способность мальчика толково излагать свои мысли, его манеры и умение держать себя в обществе. Если бы он знал, скольких трудов это стоило его учителям! Но как бы там ни было, отношения со Святым престолом были урегулированы к великой радости флорентийцев. Иннокентий снял с Лоренцо проклятие прежнего папы и благословил его. Жизнь входила в прежнюю колею. Ко всему прочему завершились работы по восстановлению сгоревшего Санто-Спирито, и после долгого перерыва на художников словно из рога изобилия посыпались новые заказы. Получил заказ и Сандро – ему было поручено написать большую картину для алтаря в капелле Барди. И хотя он был не особенно доволен, что его обошли при распределении других заказов, но и полученный им был довольно почетен. Ведь недаром же резную позолоченную раму для его картины поручили исполнять

первому ювелиру города Джулиано да Сангалло. Было видно, что от него ожидали нечто из ряда вон выходящее – картину, достойную великого мастера.

Писать ему предстояло Мадонну с двумя Иоаннами – Крестителем и Богословом. Не так-то просто было возвращаться к образу Богоматери, который он уже давно не писал, занимаясь выполнением заказов друзей Медичи. Он понимал: ему предстоит доказать, что он не стал еретиком, посещая дом на виа Ларга. Поэтому он должен тщательно избегать всего, что могло бы быть расценено как привнесение язычества в святой образ. Когда картина была готова – а это случилось спустя год, – многие были поражены: да Сандро ли это? Это же не его манера! Здесь не было ничего от того, что раньше приводило в восторг его друзей. Фигуры массивны, грузны и при этом как-то неестественно вытянуты. Сандро явно переусердствовал, стараясь ничем не отступить от прежних канонов – от картины так и веяло старомодностью.

Оставалось только пожать плечами, ибо и сам художник не мог толком объяснить, что с ним произошло. Может быть, таким образом он хотел подчеркнуть свою приверженность истинной вере; но зачем же возвращаться к прошлому настолько, чтобы перечеркнуть достижения и своего учителя, и свои собственные? Правда, пока еще никто не предполагал, что здесь кроется гораздо большее, чем желание угодить заказчику или же показаться более добродетельным, чем это было на самом деле. И традиции Санто-Спирито, которые надо уважать, тут тоже были ни при чем. Уже намечался разрыв со всем тем, что еще недавно составляло суть его творчества. И прощанием его с этим прошлым стала картина, к которой он приступил одновременно с выполнением заказа для Санто-Спирито – картина, которая обессмертила его имя.

Лоренцо ди Пьерфранческо все-таки добился своего. Он хотел во что бы то ни стало заполучить Венеру, и живописцу пришлось уступить его настойчивым просьбам. Видимо, и здесь победил дух той состязательности, которая была свойственна флорентийским живописцам. Как ни расписывали ему красоту Венеры, сколько бы ни цитировали гимны Гомера и стихи Лукреция и Горация, сколько ни приводили доводов в пользу того, что нет особого греха в изображении древней богини в обнаженном виде, Сандро не поддавался на уговоры. Нет, он решительно против того, чтобы воспевать языческого идола! Он сдался лишь тогда, когда Анджело Полициано прочитал свои стихи, посвященные утраченной картине Апеллеса, которая изображала Венеру Анадиомену. В этих стихах говорилось о том, как из волн морских

поднимается только что родившаяся Венера, придерживая волосы правой рукой и закрывая грудь левой, как она выходит на берег, и там, куда ступает ее божественная нога, расцветают цветы, как спешат к ней нимфы, чтобы набросить на ее прекрасное тело звездоукрашенные одеяния. Вот что изобразил Апеллес, и неужели Сандро не равен ему? Самого Фичино волновало нечто другое. В мифе древних о том, как оплодотворенное Сатурном море породило Венеру, он видел скрытый смысл: божество оплодотворяет человечество, которое порождает красоту. Какой художник может устоять перед соблазном выразить такое в красках! И Сандро решился.

Он уже видел свою картину – в зеленых тонах, пронизанную лучезарным светом, обязательно с вкраплениями золота. Золото – это ведь символ божественного света, который, если верить Фичино, и порождает красоту. Впрочем, об этом говорил и фра Филиппо, объясняя ему, тогда еще несмышленышу, почему у его предшественников было так много золота на картинах. Все это он хорошо представлял. Видел, как ветры гонят раковину со стоящей в ней Венерой к берегу. Раковина на картине должна быть обязательно, это символ порочной женщины – ведь, как ни оправдывай древнюю богиню, она была и остается в глазах Сандро блудницей. Изобразив раковину, он выразит свое отношение к богине и хотя бы таким образом уменьшит свой грех. Знай об этом Марсилио, он бы наверное постарался отговорить его от подобного замысла. А может быть, и нет – его философской задаче это никак не противоречило. Ведь и они сами, когда говорили о Симонетте Веспуччи, сравнивали ее с Венерой, прибывшей во Флоренцию в карете, как богиня в раковине. Этот образ ему запомнился еще тогда. И богине, которую он изобразит на своей картине, он придаст черты той земной женщины, которая все еще живет в его памяти, хотя многочисленные поклонники давно уже забыли о ней. Его же она порой еще посещает в снах, зыбкая и невесомая, будто платоновская идея красоты. Как некогда писал Великолепный:

> …пока
> Не встало солнце: верь, Амур, что сниться
> Ее лицо и голос будут мне,
> И белая в моей руке рука.
> Не будь завистлив, дай мне насладиться
> Неслыханным блаженством хоть во сне![13]

Итак, он решился – пути назад нет. Он обговорил лишь одно условие: он напишет эту картину, но не в своей мастерской, а на

вилле Лоренцо, как только потеплеет. Писать он будет без помощников, поскольку желает избежать праздного любопытства и ненужных для него разговоров. Кроме того, картину он напишет не на доске, а на холсте. Все подумали, что Сандро хочет немного поэкспериментировать – этот способ лишь недавно был завезен в Италию из Бургундии. Но они ошиблись, ибо Сандро просто стремился подобрать материал менее прочный, чем дерево: так было больше надежды на то, что картина скоро погибнет. Ведь ее он не собирался создавать для потомков, подобно своим Мадоннам. Лоренцо согласился на эти условия: хорошо, он подождет до весны. Вначале он надеялся получить картину к маю, когда должна была состояться его свадьба с Семирамидой д'Аппиано, дочерью синьора Пьомбино. Но потом, хорошо зная Боттичелли, махнул рукой на срочность – все равно невеста, воспитанная в строгих правилах, вряд ли восхитилась бы, узрев обнаженное тело богини.

Заказ, который ему предстояло исполнить, не давал Сандро покоя, мешая спокойно работать над алтарем для капеллы Барди. Он стремился не думать о том, что ему предстояло написать – весна уже близко, наступает то время, когда он переберется на виллу Лоренцо, и тогда его помыслы будут всецело заняты языческой богиней. Сейчас же ему нужно завершить тот труд, который исключает всякие сомнительные мысли. Хорошо было фра Филиппо – ему не нужно было исполнять такие заказы. Интересно, согласился бы он написать Венеру, если бы ему это предложили? Последние штрихи на алтарь наконец были положены, и он сам слегка удивился тому, какой сухой и бездушной вышла эта картина. Но зато никто не мог упрекнуть его в том, что он хоть в чем-нибудь обнаружил свое легкомыслие. Предоставив Сангалло делать раму, он собрался было выехать за город, когда совершенно неожиданно у него объявился новый заказчик.

Это был его сосед по дому Марко Веспуччи. Да, тот самый Марко, чья жена некогда была первой дамой Флоренции, память о которой уже давно исчезла у многих, но только не у Сандро. Можно было, конечно, увидеть перст судьбы в том, что Веспуччи вдруг пришла в голову мысль почтить память своей покойной супруги и что он вздумал обратиться за этим именно к Сандро. Боттичелли не отказал ему, но попросил подождать, пока он исполнит срочный заказ.

Его надежды на то, что он быстро справится с картиной для Лоренцо, не оправдались: слишком сложной оказалась работа над темой, которая все-таки оставалась чуждой для него, несмотря на все его беседы с поклонниками древней философии. Хотя он

почти во всем следовал сюжету, изложенному в тех стихах, которые вручил ему Полициано, все-таки было трудно уйти из мира святых и Мадонн в совершенно иной мир. Может быть, потом его не зря обвиняли в том, что он многое позаимствовал из тех традиций и приемов, которые выработали его коллеги для изображения сцен из Священного Писания. Возможно, действительно в позе его Венеры было нечто общее с позой Христа, над которым совершается обряд крещения. Но, в принципе, здесь не было ничего необычного – ведь он должен был на что-то опираться и от чего-то отталкиваться!

То, что работа двигалась очень медленно, можно было объяснить и тем обстоятельством, что его то и дело отвлекали: философы, как назло, в это лето избрали виллу Лоренцо ди Пьерфранческо местом для проведения своих встреч и диспутов, а в их присутствии он не мог работать, ибо еще на примере «Весны» убедился, что их советы не только полезны, но и весьма обременительны, поскольку каждый из них считает правильным только собственное мнение и толкование. Повторения этого он не хотел. Сколько мифологических сюжетов ему пришлось запихнуть в свою «Весну», чтобы удовлетворить все их пожелания! В дни их собраний он предпочитал работать над другими заказами; поскольку это были портреты и изображения Мадонн, они мало интересовали его друзей.

Лоренцо все реже появлялся в их компании, и виной тому была не только болезнь, медленно сводящая его в могилу, но и невозможность надолго оставлять город. Над Флоренцией словно тяготело какое-то проклятие: едва удавалось избежать одного конфликта, как тут же возникал другой, не менее сложный и опасный. В этом 1485 году опасность пришла оттуда, откуда ее меньше всего ждали. В июне в Неаполе неожиданно вспыхнуло восстание против господства короля Фердинанда. Восставшие были поддержаны Венецией и папой. Согласно заключенному ранее договору, Лоренцо должен был прийти на помощь Фердинанду. Но не только эта формальность сковывала его: он был убежден в том, что свержение Фердинанда может разрушить столь опекаемое им равновесие в Италии. Именно в этом он пытался убедить Синьорию, когда добивался от нее согласия поддержать неаполитанского короля. В конце концов это ему удалось, но решение Синьории вызвало недовольство Иннокентия VIII, а ко всему прочему против Фердинанда выступила и Франция. Недовольство французского короля могло привести к мерам против филиалов банка Медичи в его владениях.

Вот в каком положении совершенно неожиданно оказалась Флоренция, начавшая уже мечтать о длительном и прочном мире.

Великолепному снова было не до философии и живописи. Почти все лето ему пришлось провести в городе и вести переговоры, чтобы предотвратить нависшую опасность. Видимо, не без его помощи Фердинанду в конце концов удалось договориться с мятежниками, которым он дал торжественное обещание не применять каких-либо репрессивных мер.

Когда в августе стало известно о умиротворении в Неаполе, картина Сандро, воспевающая Венеру, была почти готова. По размеру она оказалась почти такой же большой, как «Весна» – 184 Х 285 сантиметров, – да и герои на ней изображались те же. Снова в центре композиции изображалась Венера, в которую вдыхают животворный дух соединившиеся дух-Зефир и материя-Флора. Появился и новый персонаж – Ора, или Время года, которая символизирует определенный момент творения или, шире, саму Историю. Она торопится набросить на обнаженные плечи богини расшитый маргаритками плащ Скромности, чтобы сохранить ее невинную пока еще красоту от чужих взоров.

Напрасно было бы искать в «Рождении Венеры» ту тревогу, в которой жила Флоренция в те дни. Казалось, Боттичелли не пережил всех этих волнений и они не коснулись его. Обнаженная богиня стоит в легкой раковине, которую ветры несут к берегу. Ее влажные золотые волосы развеваются по ветру. Богиня словно соткана из света, и вся картина пронизана им. Это не женщина из плоти, а поистине создание иного неведомого мира. И художник с полным основанием и достоверностью мог отвергать замечания о том, что он опять погрешил против реальности: ведь его Венера неизбежно должна была перевернуть раковину, если бы подчинялась земным законам. Да это бы и случилось, если бы она была просто женщиной. Но ведь это богиня!

От Симонетты в ней тоже осталось немного, но он ведь и не создавал портрет реальной дамы. Это – тот идеал красоты, который уже сложился у него и от которого он не отступал. Так он ее понимал: хрупкая, с маленькой головой, длинной шеей, с покатыми плечами и длинными, ниспадающими на плечи и грудь золотистыми волосами. Не женщина, существовавшая когда-то в действительности, которую ему, видимо, придется еще изобразить, выполняя заказ Веспуччи, а зыбкое воспоминание о ней, преображенное прошедшими годами. Вероятно, такой представлялась Данте его Беатриче, когда он воспевал ее спустя много лет после ее смерти. И так же, как и великий поэт, Боттичелли воспел свою любовь.

Конечно, он не предполагал, что создал что-то почти невероятное, поистине вечное. Это, может быть, понимают Лоренцо ди Пьерфранческо и его друзья. Они в восторге, Лоренцо

считает, что картина эта бесценна и ее вряд ли можно оплатить какими-либо деньгами. Но платить надо – и Сандро получает за свою Венеру столько же, сколько обычно получал за Мадонн. Дело кончено, и теперь его надо как можно быстрее забыть, ибо грех, совершенный им, все время тяготит его душу.

Глава восьмая
Медичи и Савонарола

Приближалась осень. Из Неаполя пришло известие, что Фердинанд нарушил данное своим противникам слово: примирившиеся с ним мятежники были все до одного казнены. Великолепный впал в меланхолию. Мир опять оказался под вопросом, мечта о спокойствии в Италии не сбывалась. Вспоминались слова Фичино, сказанные им, когда он разглядывал «Венеру» Сандро – насколько приятнее было бы жить на земле, если бы здесь господствовал не Марс, а Венера! Он погрузился в размышления, а спустя некоторое время добавил: среди всех планет Марс, видимо, выделяется своей силой, недаром же он сообщает людям величие и мощь. Потом еще подумал и закончил: но Венера все-таки затмевает его и, как кажется, никогда Марсу не победить ее. Из этих слов философа и родилась идея следующей картины, которую Сандро и предложил Марко Веспуччи, потерявшему уже всяческое терпение. Роль умиротворительницы воинственных мужчин, как полагал художник, вполне подошла бы для Симонетты, проживи она дольше.

Всю зиму Сандро работал над заказом Веспуччи. Деньги, заплаченные Лоренцо ди Пьерфранческо за «Рождение Венеры», давали ему возможность не торопиться и обдумать все более тщательно. Да и работать было удобнее в собственной мастерской, а не где-то на вилле, полной посторонних людей. Если тему его композиции подсказало случайно оброненное замечание Фичино: победа любви и милосердия над войной и страданиями, – то с формой, в которой ее нужно было воплотить, дело оказалось куда сложнее. Прежде всего необычными оказались размеры картины, которая потребовалась Марко – ее длина раза в три превышала высоту, что создавало немалые неудобства. Дело пошло на лад лишь после того, как на память ему пришел саркофаг, который он видел в Риме. Он был перенесен в Ватикан с какого-то древнего погребения и вызывал жаркие споры среди ученых мужей, которые никак не могли прийти к единому мнению по поводу высеченных на нем фигур. В итоге большинство склонялось к тому, что на нем изображена сцена из древнего мифа, повествующего о том, как Вакх обнаружил на острове Наксос Ариадну и похитил ее, оставив с носом героя Тезея.

Впрочем, скульптор мог и не думать ни о каком мифе, а

просто изобразил супругов, возлежащих друг против друга, как было принято в древности на пирах. Эту мысль Сандро и рискнул тогда высказать, но где ему было спорить со знатоками древностей, которые даже в простых вещах видели какой-то потаенный смысл! Ведь и в его произведениях они зачастую усматривали значительно больше, чем он изображал. Ну и Бог им судья! Ему сейчас важнее была композиция будущей картины. И этот саркофаг пришел ему на память, когда он увидел длинную доску, на которой ему предстояло написать свое полотно.

Конечно, на сей раз он был далек от мысли изобразить Венеру в обнаженном виде, ибо Марко вряд ли пришлось бы по душе такое изображение покойной супруги. Да и сам Сандро отверг бы такое предложение, если бы оно ему было сделано. Поэтому его Венера облачена в одежды состоятельных флорентиек. Облокотившись на подушку, она смотрит на безмятежно спящего Марса. Ее черты не так идеальны, как те, которыми он наделил волнорожденную Венеру, но ведь Симонетта вовсе не была идеальной красавицей. Марс, не прикрытый никакими одеждами, напоминает того юношу, который был изображен им в виде святого Себастьяна. Как давно это было! Но он отбросил все уроки Верроккьо. Анатомических подробностей здесь мало – слишком плавные линии, никакой угловатости. Марс беспробудно спит. Его шлем и копье похищены маленькими шалунами-сатирами, которые забавляются ими как игрушками. Один из проказников забрался в панцирь грозного бога войны и весело выглядывает оттуда. Другой сатир изо всех сил дует в раковину над ухом спящего. И даже осы – символ рода Веспуччи, – вьющиеся над головой бога, не в силах его разбудить. Венера действительно крепко усыпила Марса. Если бы так было и в жизни!

Его друзья-философы могли быть довольны – они воспитали достойного адепта. Может быть, он и не второй Апеллес, но вполне способен выражать их мысли и рассуждения в безупречной художественной форме. И Сандро тоже было чем гордиться: ведь он сам без чьей-либо помощи написал картину, которая всецело удовлетворила даже изысканного Полициано. Он еще не мог предполагать, что это – его последняя картина, посвященная языческим богам. Мучительный период раздвоенности надвинулся на него вплотную, но пока он лишь предчувствовал это.

Во Флоренции что-то продолжало меняться. Речь шла не о каком-то новом заговоре против Медичи, процессы были значительно глубже – изменялись сами настроения горожан. Наступающие перемены можно было почувствовать уже по

карнавалу, который в новом, 1486 году прошел на редкость скучно. Вместо обычного бесшабашного веселья он приобрел черты какой-то навязчивой назидательности. И случилось это не только потому, что Великолепный на сей раз отказался принимать участие в его подготовке и проведении – просто почему-то изменилась обстановка. Не было колесниц с восседающими на них Флорой и прочими весенними божествами, не проходила по улицам города Весна, рассыпающая щедрые дары. Даже прежние песни, казалось, звучали как-то приглушенно и далеко не весело. Это настроение особенно усилилось после того, как черные буйволы проволокли по улицам Флоренции колесницу Смерти, напомнившую всем о тщете и суетности этой жизни.

Дальше – больше: на улицах Флоренции появились люди в белых одеждах, которые публично каялись в своих прегрешениях и призывали к этому других. Их становилось все больше, и в основном это была молодежь, которая вдруг потребовала отказа от роскоши и лжеучений. В народе они получили прозвище «пьяньони», то есть «плакс». Сначала на них смотрели с недоумением и насмешками, но постепенно чувство беспокойства, распространяемое ими, стало затрагивать все больше и больше народа. Церкви были заполнены людьми, спешащими искупить свои грехи. И ко всему прочему распространился слух о том, что Иннокентий VIII собирается ввести святую инквизицию, которая будет расследовать преступления против веры и сурово карать отступников и еретиков. Было над чем задуматься. В доме на виа Ларга все реже собирались философы, и в этом была повинна не только болезнь Лоренцо, терзавшая его все сильнее. Теперь в ней видели проявление гнева Господнего. Марко Веспуччи недолго хвастался картиной Сандро – ее пришлось убрать подальше от посторонних глаз. Купцу при нынешних обстоятельствах не пристало кичиться приверженностью языческим богам. Не состоялись в этом году и ставшие традицией чтения Платонова «Пира» – хотя в этот день члены академии и собрались у Лоренцо, но свой диспут посвятили темам более благочестивым.

Поворот горожан к Богу, конечно, не мог пройти мимо внимания Синьории – ей тоже нужно было что-то предпринимать, чтобы показать свою приверженность Церкви. Было решено украсить зал приемов в палаццо Веккьо изображением Мадонны, дабы все входящие в этот зал – будь то свои горожане или послы из других краев – видели, что Синьория, несмотря на все распространяемые о ней зловредные слухи, пребывает в лоне благочестия и истинной веры, что она всецело полагается на

защиту святой покровительницы города. Этот замысел не мог быть осуществлен без благословения Лоренцо, и конечно же он одобрил его. Он же назвал и исполнителя этого замысла – Боттичелли, кто же еще? Те, кто видел в доме Великолепного «Мадонну Маньификат», не колебались в выборе – Синьории нужно нечто подобное. Заказ был почетным, он закреплял за Сандро неофициальное звание первого живописца города и давал ему возможность искупить ту вину, которую он принял на себя, согласившись выполнить греховное желание Лоренцо ди Пьерфранческо. Никто не высказывал никаких пожеланий, никто на этот раз не учил его, как следует писать; ведь здесь ему не было равных и никто из флорентийских живописцев не мог быть ему конкурентом. Он принял этот заказ с великой радостью.

Работая над тондо, которое впоследствии получило название «Мадонна с гранатом», Сандро стремился воспользоваться всем тем, чего он достиг, выполняя заказы неоплатоников. Другое исполнение вряд ли могло понравиться Лоренцо – он ведь сам назвал образец, которому Сандро должен был следовать. Мадонна с младенцем окружена ангелами, читающими Книгу судеб и держащими терновые венцы, переплетенные розами – символы будущих страданий Христа. О том же, как и в «Мадонне Маньификат», напоминает гранат в руке младенца.

Эта картина вряд ли добавила что-либо новое к тому, чего он достиг. Но в ней появилось нечто, лишавшее ее той светлой атмосферы, которая чувствовалась в «Мадонне Маньификат». Это пока еще не было возвращением к живописи, существовавшей до фра Филиппо, которое столь явственно чувствовалось в его «Мадонне с двумя Иоаннами», но уже не имело ничего общего с «Рождением Венеры». Это чувствовалось, но было пока каким-то неуловимым, словно набежавшая на картину тень из прошлого. Писал он свое тондо не спеша, тщательно обдумывая каждую деталь. Ведь эта картина была обречена на долгую жизнь – так он, по крайней мере, думал. Находясь в зале приемов Синьории, она еще долго после его смерти будет повествовать о нем и о его мастерстве.

1487 год изобиловал событиями, которые отвлекали его от этой основной работы, заставляли прерываться, а потом снова входить в соответствующее настроение, столь необходимое для живописца. Лоренцо, как всегда смотревший далеко вперед и, видимо, чувствовавший приближение своего конца, решил устроить судьбу своих детей. На осень были назначены сразу две свадьбы: Пьеро должен был взять в жены Альфонсину Орсини, а дочь Великолепного Маддалена соединялась браком с Франческетто Чибо, незаконным сыном папы Иннокентия. Орсини

поддерживали дружеские отношения с неаполитанским Фердинандом, а Чибо, естественно, гарантировал не менее дружеские связи с Римом.

Лоренцо по-прежнему был силен в политических расчетах, и, пожалуй, даже тяжелая болезнь не в силах была подорвать его способности. Свадьба Маддалены должна была состояться в Риме, но это отнюдь не означало, что флорентийские живописцы оставались без заказов и различных поручений. Опять Боттичелли и его коллеги были заняты по горло, подготавливая свадебные торжества для детей Лоренцо. В конце лета супруга Великолепного Кларисса вместе с Маддаленой отправилась в Рим, чтобы осуществить там последние приготовления к свадьбе. Никто не отговаривал их, не предупреждал, что это время года особенно гибельно для тех, кто отвык от римского климата. Случилось непоправимое – Кларисса тяжело заболела. Но на это обстоятельство мало кто тогда обратил внимание, ибо Флоренция всецело была поглощена другим событием, гораздо более важным для города, чем недомогание нелюбимой супруги Великолепного – флорентийцы отвоевали Сарцану. Весь год велась борьба за нее, и вот в июне, когда Лоренцо лично отправился к войскам, крепость была взята. Возвращение Великолепного во Флоренцию праздновалось как большой триумф. Пришлось украшать городские улицы и площади сообразно чести великого триумфатора.

Участие Сандро в подготовке триумфа Лоренцо и свадеб его детей не помогло заделать ту трещину, которая пробежала в отношениях между ним и обитателями дома на виа Ларга. Он все больше отходил от них, и теперь на столе у него вместо диалогов Платона появились труды блаженного Августина и других отцов церкви. С того дня, как он получил заказ на фреску в Оньисанти, Августин привлек его внимание, и вот теперь он окончательно вытеснил своими трудами весь тот вздор, которым занимались флорентийские философы. Сандро искал в его трудах средство для укрепления своего мятущегося духа, которое не мог найти у Платона.

Как быстро менялись настроения во Флоренции! Тяга к покаянию усиливалась. Триумф Лоренцо по поводу взятия Сарцаны мало что изменил в усиливающемся негативном отношении к тому образу жизни, который он вел и который, по мнению простого люда, был непростительно греховным. Не помогло здесь и то, что Лоренцо стал более внимательным к нуждам церкви и монашеским орденам. В этом видели лишь заигрывание с папой ради того, чтобы тот надел кардинальскую шапку на его младшего сына. Ведь хитрости Лоренцо было не

занимать. И даже веселясь на свадьбе Пьеро, гости не скупились на слова осуждения в адрес хозяина.

Сандро усердно читал труды святого Августина и все больше отвергал тот образ жизни, который он вел до сих пор. Конечно, ему не все было понятно в писаниях отца церкви, приходилось обращаться к знающим людям за советами – он всеми силами хотел исправиться, стать на путь истинный. И ему охотно помогали: разве не праздник для церкви, когда еще один заблудший встал на путь исправления и покаяния? Еще на одного сторонника меньше у Лоренцо – ведь это тоже что-нибудь да значит в борьбе за исправление нравов! О нравах сейчас пеклись больше, чем когда бы то ни было. И когда капитул церкви святого Варнавы обратился к Сандро с просьбой написать алтарь, то условия ему были поставлены жесткие – никаких новшеств, все должно быть просто и без украшательства, как у первых христиан! Даже «Мадонна с гранатом», уже висевшая в зале Синьории, его заказчикам казалась неприемлемой. Смущали слишком уж светлые и радостные краски – они мало настраивали верующих на покаяние. Их больше устраивала «Мадонна с двумя Иоаннами», которую сам Сандро считал неудачной. Все остальное они решительно отвергали, так как оно вошло в практику при Медичи, а стало быть, искажало истинную веру. Но Сандро согласился без всяких колебаний, тем самым отрезая себя от прошлого и прежних друзей.

Да, с ним тоже происходили перемены. Овладевшие им беспокойство и неуют стали заметны в его произведениях. В линиях, мастером которых он некогда был, стала появляться какая-то изломанность, краски будто потускнели, в его картины помимо воли самого автора вторгался мрачный колорит. Покоя и плавности движений в написанных им фигурах уже не было, усилилась тяга к неестественным жестам, долженствующим изображать сильные чувства. Говорят, что душевное состояние художника получает отражение в его картинах, и это в полной мере подтверждали работы Сандро, написанные им в ту пору, когда он отошел от прежних друзей и начал усиленно читать творения Августина. Работа над алтарем шла трудно, ибо она творилась на переломе времен, столь существенном для истории Флоренции и всей Европы. И хотя в это же самое время росла надежда на то, что скоро произойдут изменения к лучшему, на душе было тревожно и будущее рисовалось ему в совсем нерадостных красках.

Еще менее лучезарным оно казалось в доме на виа Ларга. Кларисса так и не смогла оправиться от болезни и по-прежнему оставалась в Риме. Во Флоренции долгое время ходили слухи, что

она просто сбежала от мужа под опеку своего знатного семейства, но слухи оказались ложными – она действительно была тяжело больна и умерла в следующем 1488 году. Болезнь продолжала терзать и самого Лоренцо. Но даже не она сильнее всего удручала Великолепного. Его больше мучило другое: Пьеро, которому он, видимо, уже очень скоро должен был передать управление делами рода Медичи, явно не подходил на эту роль, и его отец видел это лучше всех остальных. Во Флоренции, где теперь во всем видели перст Божий, во всех этих бедствиях рода Медичи усматривали наказание Господне за все те грехи, которые были совершены Лоренцо. Сандро временами мучила совесть, что в это трудное для Великолепного время он отступил от него. Но, видимо, действительно слаб человек – прежде всего он думает о самом себе и спасении собственной души.

Согласившись на условия, которые обеспечивали ему новый заказ, он, конечно, не думал, что берет на себя обязательства, делающие невозможным возвращение к прошлому, что теперь у него не будет той свободы, которую он имел, работая на Медичи, что ему придется все свои поступки соизмерять с мыслью о том, что о нем могут подумать не в меру благочестивые заказчики. Новое положение, в котором вместе с ним оказались и другие живописцы Флоренции, вынужденные втискивать свое творчество в определенные рамки, обременяло его коллег. Некоторые уже присматривали себе место в других городах. Покинул Флоренцию Филиппино Липпи – он отправился в Рим, чтобы расписывать капеллу Караффи в Санта-Мария сопра Минерва. Что ни говори, этот заказ был выгоден для человека, обремененного большой семьей, и Рим, который при папе Иннокентии продолжал украшаться, манил к себе многих. Но вряд ли флорентийские художники стали бы искать счастья в чужих краях, если бы не предчувствовали, что в скором времени им придется трудно в родном городе. Сандро словно не видел всего этого – то ли потому, что слишком углубился в вопросы веры, застилающие ему взгляд на происходящее, то ли просто продолжал хранить верность родному городу.

Написание картины для алтаря церкви Святого Варнавы заняло гораздо больше времени, чем он предполагал, и дело было не только в ее огромных размерах, но и в том, что непреклонная воля заказчика сковывала его кисть. Было трудно возвращаться к стилю, который он давно уже оставил позади, а вернее, вообще никогда им не пользовался. На ум ему сами собой приходили некоторые детали из недавнего прошлого. Вот два ангела раздвигают тяжелый темно-красный занавес, обрамленный горностаем, перед сидящей на троне Мадонной, будто собираются

дать представление. Так обычно начиналось действо на сцене в доме на виа Ларга. Два других ангела демонстрируют зрителям гвозди и терновый венец – символы Христовых мук. Конечно, это была не столь уж изощренная символика – он был способен и на большее – но от него требовали простоты и понятности, так что сойдет. На левой стороне картины Сандро поместил святого Варнаву, поднявшего руку для благословения и повернувшегося к святому Августину, который вроде бы и не обращает на него никакого внимания, так как сосредоточенно пишет что-то в своей книге. Рядом с Августином стоит святая Екатерина, которая взирает на Марию. Справа расположилась группа святых – Иоанн Креститель, Игнатий и архангел Михаил. Никаких отклонений от строгой симметрии – и никакой жизни. Все неестественно, зажато, сковано. Сандро словно задался целью написать картину, в которой ничего бы не оставалось ни от его прежнего стиля, ни от всех достижений флорентийских художников.

Но все-таки работа над алтарем захватила Сандро, как захватывает стремление создать что-то новое, отклоняющееся от прежнего. Жаль, конечно, что это новое он искал в уже преодоленном. Его отдаление Лоренцо воспринял спокойно – уж он-то знал неверность человеческой натуры. К тому же у него и так хватало забот, чтобы беспокоиться о состоянии духа живописца. Сначала свадьба Пьеро, потом посыпавшиеся словно из рога изобилия несчастья: смерть жены и дочери Луиджины, обострение наследственной болезни, которую бессильны были излечить самые искусные врачи. Но никто не снимал с него городских дел, и все ожидали от него правильных решений, хотя и поносили при этом на всех перекрестках. Такова несправедливость жизни!

Сандро пытался оправдать свое отдаление от Лоренцо тем, что ему в гораздо большей степени приходится считаться с отношением к нему горожан. Великолепный при всей критике, обрушивающейся на него, все-таки остается Медичи, и этого у него никто отнять не может. При случайных встречах с прежними друзьями Сандро чувствовал, что и их охватило какое-то беспокойство, что Платон и у них отошел на задний план, что многие из них также обратились к трудам отцов церкви, пытаясь найти в них объяснение происходящему. Лоренцо с его безошибочным инстинктом чувствовал, что на сей раз речь идет о гораздо большем, чем недовольство его образом жизни. Подобное недовольство его предки и он сам в большинстве случаев успешно устраняли, потакая толпе, подкупая ее празднествами и зрелищами. Сейчас происходило нечто другое. Многие стали искать примирения с Церковью, даже Пико делла Мирандола,

труды которого порицались Ватиканом, встал на этот путь и готов был отказаться от прежних «заблуждений». Новые веяния в Риме давали основания предполагать, что Церковь рано или поздно исправится и отбросит прочь все то, что отталкивало от нее верующих. Все теперь жили в предчувствии, что вот-вот что-то должно случиться – то ли светлое и радостное, освобождающее всех от какого-то чудовищного гнета, то ли темное и страшное, как грозные видения Апокалипсиса.

Неслучайно Сандро, прервав на время работу над алтарем для церкви Святого Варнавы, написал «Благовещение». В картине в соответствии с новыми требованиями не было ничего лишнего: почти пустая комната с виднеющимся за окном садом. В нее стремительно врывается ангел, упавший на колени перед Марией, которая в испуге отшатнулась от конторки с открытой на ней книгой и одновременно наклонилась к ангелу, чтобы услышать то, что он ей скажет. Многие в городе ждали благой вести о том, что скоро все изменится к лучшему, наступит покой и страсти улягутся. Это и пытался отразить Сандро в своей картине. Но от других его произведений, в том числе и от алтаря святого Варнавы, эта картина отличалась тем, что в ней самой покоя как раз и не было – наоборот, чувствовались какие-то неустойчивость и смятение. В этом, пожалуй, и можно было обвинить Сандро, ибо тема Благовещения всегда писалась живописцами без всяких там драматических жестов. Но упрекать его в этом было некому, все были заняты своими делами, и в душе у многих было такое беспокойство, что до предчувствий других не было дела.

Неизвестно, что вдруг породило страх перед будущим у граждан пока еще благополучного города Флоренции. Пресловутая склонность горожан верить разного рода предзнаменованиям, столь поражавшая иноземцев? Пророчества, что вот-вот сбудутся предсказания Апокалипсиса? Деяния пап и их присных, порочащие Церковь, которая должна была печься о душах пасомых? Родившись где-то в низах, среди ремесленников в беднейших приходах города, страх ширился и постепенно захватывал и тех, кто, казалось, не верил ни в Бога, ни в дьявола, преклоняясь перед языческими философами и поэтами. Лоренцо начал слагать хвалебные гимны Господу, зиждителю и повелителю Вселенной. Фичино будто потерял интерес к своей академии и реже стал взывать к авторитету Платона для подкрепления своих тезисов, а его вилла перестала быть прибежищем «еретиков» всех мастей. Полициано сожалел о написанных в молодости стихах и при случае заявлял, что с радостью собрал бы их и сжег; впрочем, ему верили меньше всех новообращенных. Даже мудрейший Пико вдруг заявил, что

отвергает поэзию, ибо, как он убедился, она лишь развращает души. Флоренция будто очнулась от чар, доселе насылавшихся на нее «идолопоклонниками», и готова была броситься в противоположную сторону, покаяться и понести заслуженное наказание.

Исподволь страх вполз и в мастерскую Сандро: смех и шутки стали редкими – не только потому, что число заказчиков резко убавилось, ибо воспоминание о том, что некогда он ревностно служил «идолопоклонникам», теперь отпугивало многих от дома на виа Нуова. Может быть, Сандро и не так грешен, как его ученые друзья, но лучше на всякий случай держаться подальше. Однако если быть откровенным, не только это лишало Сандро заказчиков: любителей античности в городе пока еще хватало. Однако стремление Сандро оживить прежнюю манеру письма, существовавшую до Джотто, было им непонятно: если живописец решил потрафить вкусам тех, кто возмечтал жить в прошлом, заниматься самобичеванием и рядиться ради спасения грехов в домотканые холсты, а не в бархат, то им с ним не по пути.

Оказалось, что недоброжелателей у Сандро немало, и теперь трудно было предугадать, с какой стороны можно ждать удара. Поэтому были все причины опасаться, что его «Мадонна с шестью святыми» может быть отвергнута, несмотря на его старания избежать всего, что можно было бы расценить как нарушение канонов церковной живописи. В его понимании они сводились к тому, чтобы выражение лиц было как можно постнее, одеяния как можно беднее, а колорит как можно мрачнее, ибо светлые краски, как он слышал, навевают верующим не покаянные, а игривые мысли. Трудно ломать себя, но, кажется, он все-таки преуспел: работа была в конце концов принята, более того, выражено пожелание, чтобы он написал еще четыре картины – разумеется, меньшего формата, – повествующие о жизни и деяниях святого Варнавы.

Будь это раньше, он поблагодарил бы заказчика и без промедления взялся за кисть, зная, что во время работы его посетят Божественное вдохновение или, на худой конец, сестрицы-музы. Но сейчас разумнее было поостеречься: для вдохновения или муз ныне оставалось мало простора, ибо было введено правило, что любая картина, предназначенная для церкви, нуждалась в одобрении не только дарителя или заказчика, но и теолога-эксперта. Может, и существовали подробные жизнеописания святого Варнавы, но Сандро они были неизвестны. Что касается Нового Завета, то там живописец вычитал не так уж много, чтобы позволить фантазии разыграться в допустимых пределах: Варнава сопутствовал апостолу Павлу,

вместе с ним основал церковь в Антиохии и был побит камнями – вот, пожалуй, и все.

Раньше этого было бы достаточно для четырех картин, но теперь художнику приходилось осторожничать – а Сандро вдвойне, – поэтому он избегал каких-либо композиций, рассказывающих о драматических событиях, передающих движение или переживания, ибо здесь таился простор для подозрений «ревнителей веры». Одному не понравится выражение лица, якобы не соответствующее святости момента, другому жест, третьему еще Бог весть что, и этого достаточно, чтобы перечеркнуть весь многомесячный труд. И без того в мастерской пылилось немало работ, от которых отказались заказчики, предпочитавшие не дразнить гусей. Учитывая, что денег и без того было в обрез, рисковать не стоило.

Это был один из немногих случаев, когда Сандро отказался от разработки новой для него темы: Варнаву он рисовать не будет, так как не считает себя способным должным образом отразить деяния святого. Вместо этого он предлагает храму четыре деяния из жизни блаженного Августина. Здесь он больше чувствовал себя на коне: с тех пор как он работал над фреской для Оньисанти, он прочитал почти все труды отца церкви и немало из того, что о нем было написано. «Исповедь», которая теперь заняла почетное место на его книжной полке рядом с Дантовой «Комедией», он перечитывал не раз, пытаясь найти опору в борьбе с былыми увлечениями «язычеством». Августин как-то успокаивал: ему ведь тоже пришлось преодолевать влияние «совратителей с пути истинного», но в конце концов он вышел победителем, Предложение рассказать о нем было еще одной попыткой укрепить себя в вере, глубже постигнуть христианское учение. И оно – к его великой радости – было принято. А начал он серию с того, над чем сейчас билась его мысль. Существует легенда: Августин, гуляя по берегу моря, увидел мальчугана, переливавшего воду из залива в вырытую им в песке ямку. Столь странное занятие привлекло внимание святого и побудило его задать вопрос, что, собственно говоря, мальчик делает – ведь море перелить невозможно. На это он получил ответ: «То же, что и ты! Ты своим слабым умом пытаешься постичь непостижимое, как я – перелить море».

Все они походили сейчас на святого Августина, пытаясь разгадать Божий промысел. Впрочем, 1489 год выдался на редкость спокойным. Может быть, впереди их не ожидало ничего страшного? Но нечто будто витало в воздухе, и Флоренция не была уже такой же, как прежде. Может быть, именно это затишье волновало флорентийцев, которые тем и отличались, что, не

переживая невзгод реальных, терзались опасностями мнимыми – обязательно должны прийти мор, голод и смута, предсказанные в Апокалипсисе. До ожидаемого в 1500 году светопреставления оставалось еще целое десятилетие, но появлявшиеся во все большем числе пророки всех мастей, обещая его наверняка, призывали отречься от всего богопротивного и покаяться в грехах. И прежде в город приходили ревнители веры со своими пророчествами, но их или встречали насмешками, или же, выслушав и проводив с почетом за городские стены, возвращались к прежнему образу жизни.

Но сейчас было иначе – проповеди могли упасть на подготовленную почву, беда стояла у порога. Как ни скрывали обитатели палаццо на виа Ларга состояние здоровья его владельца, но в городе ни для кого не было тайной, что оно ухудшается ото дня ко дню. Будь иначе, зачем вызывали из Пизы врача Лоренцано, о котором поговаривали, что он при желании может оживить и мертвого? Почему Великолепный перестал бывать в Синьории и отказывается принимать послов, наезжавших во Флоренцию, если это его святая обязанность? Вскоре флорентийцам стал известен еще один секрет палаццо. Принимая во внимание тяжкий недуг Лоренцо, папа уважил, наконец, его просьбу: его сыну Джованни была тайно передана кардинальская мантия – правда, с оговоркой, что о возведении его в сан будет объявлено только через три года, когда он достигнет семнадцати лет. Все указывало на то, что смерть Великолепного близка, и он уже приготовился к ней. Кроме новых неурядиц, распрей между именитыми семействами, волнений ремесленной черни и заговоров, его кончина ничего не сулила. Все помнили, как вошел во власть сам Лоренцо, и поэтому уже сейчас сокрушались, что его место согласно традиции должен занять его старший сын Пьеро. В бесконечных пересудах предпочтение отдавалось Джованни как более хитроумному и изворотливому. Зная и того, и другого отпрыска Великолепного, Сандро полагал так же.

Лоренцано отбыл в Пизу в начале лета, передав надлежащие наставления Пико делла Мирандоле, который в придачу ко всем другим наукам был сведущ также и в медицине. Перед его отъездом Сандро выполнил еще один заказ Лоренцо, как оказалось, последний: врач отказался принять какое-либо вознаграждение, и Великолепный отблагодарил его портретом, написанным первым живописцем Флоренции, каковым Сандро продолжали считать. Позируя художнику, Лоренцано избегал разговоров о здоровье своего пациента, но уже один его удрученный вид говорил о том, что он не уверен в успехе лечения.

От Лоренцано Сандро первым узнал новость, которая стала достоянием горожан лишь спустя некоторое время: Великолепный поручил нескольким доверенным лицам разыскать доминиканца Савонаролу и уговорить его, забыв нанесенные ранее обиды, вернуться во Флоренцию, чтобы проповедовать здесь. Лоренцано одобрял это решение, ибо был рьяным сторонником восстановления истинной веры и полагал, что Савонарола служит этому благородному делу. Сандро, как впоследствии и многие его сограждане, не сомневался в том, что это решение Великолепного было принято под влиянием Лоренцано и Пико, хотя причины назывались разные. Одни утверждали, что, чувствуя приближение смертного часа, Лоренцо решил загладить свою вину – ведь не кто иной, как он, изгнал фра Джироламо из Флоренции, и за это с него спросится на том свете. Другие всезнайки с пеной у рта доказывали: ничего подобного – Лоренцо всегда стремился заполучить для Флоренции самое лучшее, а кто еще так глубоко разбирается в вопросах веры, как Савонарола? Это Пико посоветовал ему сделать доминиканца наставником Джованни, чтобы подготовить того к будущей кардинальской карьере. Непохоже на правду, но в такое смутное время все может быть. Впрочем, пока что Джованни уехал вместе с Лоренцано в Пизу, чтобы постигать теологию в тамошнем университете. Флоренция еще раз подтверждала, что необыкновенно плодовита на всевозможные слухи.

Что бы там ни говорили и что бы там ни выдумывали, но мотивы решения Лоренцо были более весомыми, чем замаливание грехов или обучение Джованни, раз уж он платил черной неблагодарностью папе – ибо не было в Италии более яростного критика Святого престола, чем фра Джираламо. Для тех, кто стоял к Великолепному ближе других, причины его решения были ясны: настроения флорентийцев, зыбкие и непредсказуемые, в очередной раз изменились – они жаждали теперь не хлеба и зрелищ, а пришествия пророка, который вразумил бы их и наставил на путь к спасению. Приходилось во имя спокойствия города дать жаждущим хлеб духовный. Позже и современники, и историки ломали голову над тем, почему Лоренцо, несомненно обладавший большим политическим талантом, не просчитал заранее последствия этого фатального для него и для его семейства шага. Возможно, причиной тому была его болезнь, а может, процессы, которым он хотел воспрепятствовать, зашли слишком далеко и у него не оставалось другого выхода. Но факт остается фактом: он сделал шаг, который не стоило делать.

Что касается Сандро, то сообщение о том, что во Флоренцию

приглашен Савонарола, не особенно взволновало его: Лоренцо всегда знает, что нужно делать. Художника занимали более насущные проблемы – число клиентов продолжало катастрофически уменьшаться. Это плохо не только потому, что его кошелек становился все более тощим, но и потому, что он уже неоднократно наблюдал: живописец, к которому перестают обращаться, очень скоро превращается в ничто. Сколько таких бедолаг кануло в безвестность в одной только Флоренции!

Чтобы вновь доказать свое мастерство и начавшую уже забываться известность, Сандро еще в прошлом году взялся за написание большой картины для принадлежащей ювелирам капеллы Святого Элигия (Сант-Элиджо) в соборе Сан-Марко. Темой картины стало прославление вознесенной на небеса Богоматери и наделение ее венцом Царицы мира и заступницы страдающего человечества. По замыслу художника, свидетелями этого события становятся избранные святые, включая покровителя цеха ювелиров Элигия – он изображен в митре и с епископским посохом. Там же застывший в благоговении святой Иероним и сосредоточенно пишущий что-то в тетради святой Августин. Им повествует о свершившемся Иоанн Богослов, который поднял вверх раскрытую книгу с пустыми страницами, – ему еще предстоит вписать туда слова своего «Откровения». Над ними в золотом сиянии, под дождем из роз вьются ангелы, возвещая хвалу Марии. Эти золотые лучи освещают скалистый пустынный пейзаж, посреди которого стоят святые, подчеркивая контраст горестей земной жизни с небесным блаженством, все сильнее влекущим к себе художника.

«Венчание Марии» сразу же получило широкую известность, но собратья по ремеслу встретили его с недоумением. Если верить Сандро, его «новая манера» сводилась к тому, чтобы не рассказывать о событиях, а заставлять зрителя думать. Поэтому прежде всего его нужно ошеломить, поразить необычностью – ради этого он и шел на нарушение уже сложившихся и привычных для флорентийцев приемов письма. Но для большинства эта его манера казалась возвращением к давно отброшенному, преодоленному живописью. У его сограждан не было желания и терпения докапываться, чего хотел Сандро, сознательно искажая пропорции, нарушая законы перспективы, относя существенное событие на задний план и помещая на переднем второстепенные персонажи, дробя композицию на отдельные группы. Если уж он собирается о чем-либо поведать, то пусть пользуется нормальным языком, а не несет тарабарщину. Что это за картина, если ее приходится разгадывать часами? А потом вдруг оказывается, что она говорит совсем не о том, что на ней написано. Оказывается,

ее автор следует за видными философами и богословами, которые утверждают, что любое произведение, кроме очевидного смысла, имеет второй, третий и так далее – нужно только найти слово или фразу, которые будут ключом к ним. Так и в картине нужно искать фигуру, а может быть, просто жест, которые откроют в ней больше, чем видно глазам. Ну уж нет – это занятие для философов, которым некуда девать время. Все должно быть просто и ясно, а не перевернуто с ног на голову, когда, видя Савла, следует подразумевать Павла, а в полуодетой блуднице видеть любовь небесную.

Картина, которую Боттичелли писал с большим напряжением и в которую постарался вложить все свои думы, желая языком живописи выразить все то, что наболело на душе, не удостоилась даже критики – ее просто подняли на смех. И было за что: в нарушении всех канонов, в вычурности и неестественности фигур Сандро, по мнению коллег, превзошел даже самого себя. Это же надо додуматься – установить для каждой фигуры свой угол зрения! Если это новая манера, то что же тогда называть бредом? Оставался бы уж при старой! А если он, подобно поэту, хотел рассказать о многом, то лучше бы промолчал!

Тоска – тягучая, неослабевающая – окончательно зажала в тиски разум Сандро. Критика «Венчания» породила предчувствие, что для него начался нисходящий путь и предстоит изгнание с Олимпа флорентийской живописи. Тоска день за днем убивала желание творить. Превратиться, подобно Уччелло, в посмешище, предмет шуток и отчасти жалости коллег? Нет, не к такой судьбе он стремился. Кого или что винить в этом? Господа, лишившего его искры таланта за идолопоклонство и чрезмерную гордыню? Бывших друзей, увлекших его на путь соблазнов и греха? Ведь было же первое предупреждение свыше, когда для него наглухо закрылся смысл Дантова «Рая»! Он презрел его – и вот расплата. Остается отложить кисть, все кончено. Вместе с Лоренцо уходят сладкие мечтания о золотом веке, и жизнь мрачнеет, как и краски на его картинах!

Хаос мыслей и чувств овладел не только Сандро. На Лоренцо, который не раз спасал Флоренцию от всевозможных передряг, поставили крест. Чиновники Синьории, посещавшие по делам Великолепного в его загородных виллах, где он теперь пребывал большую часть года – с ранней весны до поздней осени, – привозили неутешительные вести: недуг окончательно свалил Лоренцо, он не может самостоятельно передвигаться, и слуги переносят его с места на место в кресле или на специально сделанных носилках. Во время бесед он неожиданно умолкал и надолго задумывался, но по всему видно, что размышляет он не о

судьбах города. Он равнодушно отнесся даже к распространившимся слухам, что дела его банка из рук вон плохи и он поправляет их за счет флорентийской казны, тратя городские деньги на покупку домов и вилл. На вопрос о том, возможно ли улучшение его здоровья, Пико лишь пожимал плечами и говорил, что все в руках Господа. Во Флоренции знали, что подобный ответ означает, что надо готовиться к худшему. Оставалось уповать лишь на появление нового спасителя отечества.

Он явился в майский вечер 1490 года в образе монаха-доминиканца – босого, в потрепанной сутане и надвинутом на глаза островерхом капюшоне. Никем не встреченный, он бочком проскользнул в городские ворота и скрылся в монастыре Сан-Марко. Так состоялось второе пришествие фра Джироламо Савонаролы.

Посланцам Лоренцо не стоило большого труда разыскать монаха, который в свое время потешал косноязычием всю Флоренцию. За прошедшие несколько лет он благодаря своему упорству и истовой вере в свое призвание многого достиг в искусстве проповедничества. Слава его перешагнула границы итальянских республик, герцогств и княжеств, и его не так-то легко было уговорить возвратиться во Флоренцию – он наотрез отказался вновь посетить город, увязший в разврате, содомии и прочих грехах. На первых порах не помогли даже обращения к руководителям доминиканского ордена: разве они в силах заставить своего собрата изменить данному им слову! Но тут Савонароле явилось видение: глас свыше приказал ему идти во Флоренцию и «вызволить город из когтей Сатаны». И он пошел – именно пошел, как ему было велено, отказавшись от предлагавшихся ему повозки и коня, чтобы выполнить волю Господню. Такова легенда, сложившаяся вскоре после его появления в городе, видимо, с его же собственных слов.

Призывая к себе неистового обличителя папства, Лоренцо, скорее всего, рассчитывал на непостоянство флорентийцев в их симпатиях и антипатиях: получив желаемое, они, как дети, скоро разочаруются, и толки о новоявленном святом утихнут сами собой. Да и что нового может сказать монах кроме того, что и так знает каждый житель города? Вскоре Великолепный убедился, что здесь он заблуждался. То, что он считал очередной причудой сограждан, оказалось сложившимся убеждением, а прежний робкий, запинающийся почти на каждом слове проповедник превратился в пылкого и уверенного в себе оратора. Безусловно, во Флоренции ведали о том, что творится в Ватикане. Но когда Савонарола поднимался на церковную кафедру и приступал к

своим антипапским филиппикам, словно луч света выхватывал из темноты пороки, в которых погряз Рим, показывая всю их пагубность. Казалось, зычный голос Савонаролы не только достигал отдаленных уголков церкви, но и проникал в каждую душу, заставляя слушателей трепетать, биться в истерике, каяться, пробуждая в них желание немедленно покарать грешников.

Савонарола не призывал ни к милосердию, ни к насилию – он просто обличал, и каждый делал из его обличений выводы в соответствии со своим темпераментом. Очень скоро ни одна церковь не могла вместить желающих послушать его проповеди, и тогда новый мессия перенес свои встречи с паствой в сад монастыря Сан-Марко. Каждому его слову верили безоговорочно, лишь немногие скептики отваживались робко сомневаться в его откровениях, и уж только самые отчаянные головы рисковали утверждать, что, судя по уродливому лицу и косящим глазам доминиканца, он или безумец, или просто-напросто плут, норовящий использовать веру флорентийцев в своих интересах.

Сандро не был исключением среди прочих: забросив работу, он теперь почти ежедневно торчал в монастырском саду. Как и другим, ему казалось, что фра Джироламо способен ответить на все вопросы, которые терзали его, подать нужный совет. Его охватывал какой-то трепет, когда к ним выходил этот невысокий узкогрудый монах в белой сутане с черной накидкой и капюшоном, надвинутым почти на самые глаза. Вот он простирает руки к небу, некоторое время медлит, потом резким движением отбрасывает капюшон и вперяет в собравшихся глаза, горящие прямо-таки безумным блеском. Начинает говорить, и каждому кажется, что он обращается именно к нему, видит его насквозь, измеряя все его пороки и добродетели. Сандро испытывает то же чувство. Когда Савонарола обличает тех, кто предался пороку гордыни и тщеславия, ему кажется, что он подразумевает именно его. Когда проповедник громит еретиков, променявших Христа на языческих идолов, он отводит глаза в сторону и боится взглянуть на окружающих. А дома опять накатывает страх перед Страшным судом, перед муками ада, и в памяти оживают рассказы о терзаниях грешников, так пугавшие его в детстве. Нет для него спасения, никакие покаяния и молитвы не откроют ему двери в тот «град Божий», в который Савонарола обещал превратить Флоренцию, если ее граждане искренне раскаются!

С каждой проповедью фра Джироламо все ближе подбирался к делам города, и у многих складывалось впечатление, что по наитию свыше он знал все, что происходило в нем. Начав с

обличения Рима, он скоро перешел к бичеванию прегрешений флорентийских семейств, но, не ограничившись этим, стал клеймить пороки живущих в городе философов-совратителей. На первый взгляд казалось, что произнесенное им сегодня повторяет вчерашнее, что он, словно гвозди, вбивает в головы паствы одни и те же обличения, изрекает одни и те же предсказания. Но тот, кто еще не потерял способности самостоятельно мыслить, видел, как от одной проповеди к другой общие места обрастают примерами из жизни их родного города, как сокрушаются не ереси вообще, а именно те, которые содержались в трудах Фичино, Пико и других недавних авторитетов. Оказывается, монах знал их творения, и знал неплохо!

Купцы, ростовщики, изготовители «предметов тщеславия», то есть всего, что порождает роскошь и при этом бесполезно, поэты, куртизанки, содомиты – никто не был обойден Савонаролой. Можно было предугадать, что скоро дойдет очередь и до живописцев. И настал день, когда Сандро услышал гневные слова, которые фра Джироламо обрушил на «сладострастные картины, музыку, книги о любви, обращающие душу ко злу», а также на «отцов, развешивающих в своих домах изображения голых мужчин и женщин на пагубу сыновей и дочерей».

По своему обыкновению, в следующей проповеди Савонарола повторил сказанное накануне, но теперь заклеймил и тех, кто способствует этому богомерзкому делу. «Вы, живописцы, – гневно гремел его голос, – творите зло, ибо именно вы заполнили храмы всяческими предметами тщеславия. Неужели вы верите, что Дева Мария носила такие платья, какие вы пишете? Вам говорю я: она была одета как бедная девушка, просто и скромно, так, что лик ее был едва виден. Вы же обряжаете Богородицу в одеяния шлюхи!» Фра Джироламо порицал и то, что на прихожан с алтарей взирают не пророки и святые, а покровители и соседи живописцев, которых те на постеснялись поместить на картинах, предназначенных для назидания и поклонения. Похоже было, что будь на то воля монаха, он допустил бы лишь ту живопись, которая «подражает природе». Звери, деревья, цветы, когда они «выглядят как настоящие», – вот что доставляет истинную радость и удовольствие. Вся остальная живопись – зло, поскольку она или вводит в соблазн, или отвлекает внимание верующих во время молитвы.

Сандро ловил себя на мысли, что в словах фра Джироламо содержится истина: примерно так же в последнее время думал и он сам. Оглядываясь на прожитую жизнь, он теперь видел, как мало способствовал укреплению веры и сколь многое сделал, чтобы разрушать ее. И сейчас он был готов не сетовать на свои

злоключения, а терпеливо переносить их как наказание за прошлые грехи. Наверное, не один он поддался влиянию монаха: во время проповедей Савонаролы все чаще слышались стенания и плач раскаявшихся грешников. Приверженцев Савонаролы, «плакс», становилось все больше. Одетые в белые рубахи, с обмотанными вокруг головы концами капюшонов, они прямо-таки наводнили город, донося в самые отдаленные его улочки и предместья слова своего пророка, сокрушая языческих идолов и забрасывая грязью и нечистотами кавалеров и дам, рискнувших появиться на улице в модных одеждах.

Удивительно, что среди «плакс» было много молодежи, еще недавно поступавшей так же, как ныне преследуемые ими. Складывалось впечатление, что речь идет не о раскаянии, а просто о новом развлечении. Это молодые люди ввели в моду после проповедей фра Джироламо водить хороводы вокруг церквей, вовлекая в них монахов и случайных прохожих, распевая гимны, славящие Христа, и требуя свержения тирана Лоренцо, который-де препятствует превращению Флоренции в град Божий.

Из палаццо на виа Ларга доходили слухи о том, что Великолепный озабочен настроениями горожан и своим бессилием что-либо изменить. Избавиться от этого тщедушного монаха, сеятеля беспорядков, было невозможно, ибо он понимал, что теперь такой шаг наверняка вызовет бунт флорентийцев. Но он был не силах просто устраниться: это было не к лицу человеку, столько лет управлявшему городом. Семья, друзья, члены Синьории ничего не могли ему посоветовать: опасным было и оставлять Савонаролу в городе, и изгонять его. Советники разводили руками, расписываясь в своем бессилии. Единственный выход, который мог бы сулить успех, состоял в том, чтобы показать, что Лоренцо по-прежнему крепко держит бразды правления, и добиться того, чтобы Савонарола хотя бы для видимости признал это.

Нужно было искать компромисс – ограниченная способность Лоренцо вести дела принуждала к этому. Следовало организовать личную встречу между соперниками, которыми они, как это было ясно, стали к этому времени. Но Джироламо наотрез отказался от встречи с Лоренцо. Все попытки организовать ее кончались неудачей. Не дал результатов и совет, переданный Савонароле от имени Великолепного одним из его друзей, – не поносить в проповедях имя Лоренцо. Фра Джироламо выслушал его и ответил: «Передайте Лоренцо, что он должен покаяться в своих грехах, ибо Господь никого не щадит и не боится князей земных». Когда же посланец вспылил и пригрозил монаху изгнанием, тот презрительно усмехнулся: «Вашего изгнания я не страшусь… Хоть

я и чужой здесь, а Лоренцо первый среди граждан, но я останусь, а он уйдет». После этой встречи Савонарола, сославшись на свое новое видение, напророчил в ближайшем будущем смерть трем тиранам – Лоренцо, папе Иннокентию VIII и Фердинанду Неаполитанскому. Предсказания взбудоражили город – о нем толковали больше, чем о неудавшейся попытке примирить того, кто еще правил, и того, кто уже фактически прибрал Флоренцию к своим рукам. А ведь в этом пророчестве не было ничего сверхъестественного: все трое названных давно уже были не в добром здравии.

Город менялся на глазах: если раньше он кичился своей роскошью, то теперь как будто стал стесняться богатства и даже просто обеспеченности. Пришла серость – в костюмах, в убранстве домов, во всем. Стали больше говорить о смерти, чем о жизни. Фра Джироламо призывал каждого гражданина обзавестись черепом и, почаще созерцая его, размышлять о бренности земного существования. В почет вошли прорицатели, астрологи и гадалки. Марсилио Фичино, вспомнив свое прежнее увлечение, занялся составлением гороскопов и наблюдениями за светилами. Но небо не сулило ничего хорошего. Некоторые живописцы закрыли свои мастерские: одни – чтобы не грешить, другие – просто потому, что не стало заказчиков. Кое-как перебивались лишь самые известные и искусные. Портреты не заказывали – могут заподозрить в гордыне. О языческих богах и подумать было страшно, не то что держать их изображения в доме. Да что там греческие и римские идолы! Не покупали даже Мадонн, ибо Савонарола разъяснил флорентийским грешникам: на Страшном суде никто за них заступаться не будет – ни Богоматерь, ни святые, все они предстанут перед Христом, который и воздаст им по делам их. В глазах монаха картины безусловно были предметами роскоши и тщеславия, и владельцы, несмотря на сожаления о прежних временах, покорно отдавали их «плаксам», ходившим по домам и собиравшим все, что, по их мнению, могло ввести в грех.

Однако по-прежнему находились люди, не считавшие грехом заботиться о красоте города. Сандро, уже склонявшийся к убеждению, что живопись является богопротивным делом, был немало удивлен, когда ему сообщили, что он избран в комиссию Синьории, созданную для оценки итогов соревнования среди архитекторов и живописцев по украшению фасада собора Санта-Мария дель Фьоре. Ему поручили также вместе с другими живописцами подготовить картоны мозаики для купола капеллы Святого Зиновия. Для работ в соборе всегда избирали самых искусных мастеров, так что Сандро мог гордиться оказанной

честью. Однако никогда еще он не приступал к работе с предчувствием, что завершить ее не суждено. И все-таки осуждаемая Савонаролой гордыня брала верх: он докажет всем злопыхателям, что талант его не угас!

Но этот пыл скоро остыл, когда в комиссии начались бесконечные споры, а эскизы стали отбрасываться один за другим, поскольку проповеди фра Джироламо окончательно смутили умы и теперь каждый в еще большей степени, чем раньше, опасался, что его упрекнут в служении культу тщеславия. Комиссия собиралась все реже, работы над куполом капеллы не начинались, а к лету проект и вовсе тихо скончался, и о нем предпочитали не вспоминать. Говорили, что не нашли богатого жертвователя, ибо денег в городской казне не было.

В июле 1491 года Савонарола стал приором монастыря Сан-Марко – руку к этому, безусловно, приложил Лоренцо, так как при назначении на этот пост требовалось его согласие. Великолепный сделал еще один жест, чтобы добиться примирения со строптивым монахом, и казалось, на этот раз встречи между ними было не избежать: согласно флорентийской традиции, новый приор был обязан посетить правителя города и выразить ему свою благодарность. Однако Савонарола и теперь уклонился от визита, заявив, что своим назначением он обязан только Господу, но отнюдь не человеку, ввергнувшему Флоренцию в пучину грехов. Когда Великолепному доложили о нежелании монаха посетить его, он только вздохнул и сказал: «Чужой вошел в мой дом, но несмотря ни на что отказывается приветствовать хозяина». Но фактически Лоренцо таковым уже не был. Похоже, именно он стал чужим, выронив из-за болезни поводья управления городом и не имея уже ни сил, ни желания подбирать их.

Под Новый год, 21 марта, Флоренцию облетела весть, что Великолепный покинул свое палаццо и удалился на виллу Кареджи. Его сопровождали только супруга, Полициано и Пико. В этом не было бы ничего необычного – так он поступал каждую весну, – но вскоре на виллу был срочно вызван Пьеро, и у отца с сыном состоялся длительный разговор с глазу на глаз. Для флорентийцев это говорило многое: так поступали все Медичи, удаляясь от дел.

Вскоре горожан поразила еще одна новость: Савонарола посетил виллу Лоренцо и беседовал с ним. Это событие сразу же обросло всевозможными домыслами. Одни утверждали, что доминиканец по собственной воле отправился к умирающему, чтобы дать ему отпущение грехов. Другие отвергали столь благородный жест с его стороны: ничего подобного, это Лоренцо

всячески умолял монаха явиться к нему. И о самой исповеди ходили разные слухи: по одним сведениям, Великолепный якобы покаялся во всех своих грехах и изъявил готовность передать городу купленные за последнее время здания, после чего Савонарола отпустил ему грехи. По мнению других, ничего подобного не было – Савонарола потребовал от Лоренцо, чтобы тот от себя лично и от имени потомков отказался от власти, но Великолепный не стал его слушать и молча отвернулся к стене. Отпущения он, естественно, не получил. Истину определить было трудно, ибо при беседе никто не присутствовал, и поэтому каждый излагал ее содержание в зависимости от своих интересов.

Разбираться в том, кто ближе к правде, пришлось недолго: 8 апреля 1492 года Лоренцо Великолепный отошел в мир иной, где уже не подлежал людскому суду и пересудам. Правда, тут же разнесся новый слух: Великолепного отравили приверженцы Савонаролы. На следующий день после смерти правителя в одном из городских колодцев обнаружили труп врача, который вместе с Пико пользовал больного. Поскольку смерть всякого великого деятеля, а именно таким был Лоренцо, неизбежно обрастает всякими домыслами, то об этом некоторое время посудачили и постарались забыть.

Никто, даже противники покойного, не оспаривал того факта, что Лоренцо деи Медичи был действительно велик в своих делах и помыслах. Последнюю дань уважения ему отдала без малого вся Флоренция. К его гробу флорентийцев влекло не праздное любопытство, как это иногда бывает, а искреннее желание проститься с тем, кто в течение длительного времени с честью отстаивал достоинство, блеск и силу республики. В эти траурные дни люди не вспоминали о прегрешениях Великолепного и даже Савонарола воздержался от его критики. Всеми правдами и неправдами Сандро добился возможности присутствовать на заупокойной мессе. Много раз в своей жизни он провожал в последний путь близких ему людей, но сейчас случай был особенный – в глубине души это, видимо, осознавал каждый. Не у одного из присутствующих промелькнуло то же чувство, что и у него: хоронят не только Лоренцо, но и прежнюю Флоренцию. *«Requiem aeternam dona eis Domine»* – «Покой вечный даруй им, Господи»… И не только Лоренцо, но и его соратникам, умершим и еще живущим… А затем ужасный *Dies irae* – «День гнева»: «Трепет и ужас обнимут души, когда протрубит труба архангела и придет Судия судить живых и мертвых, когда откроется все сокровенное, все дела и помышления людей…» Это была истина, и не к ней ли готовил их всех фра Джироламо? Рыдания раздавались под сводами собора. Слезы струились и по щекам

Сандро: Страшный суд грядет, он уже близок!

Предчувствия неотвратимых бед усиливались. В эти дни из долины Арно поползли на город необычно плотные туманы, которые тоже воспринимались как дурное предзнаменование. Пьеро предложили занять место отца, и он с готовностью согласился. Многие в городе не хотели этого, но уступили традиции, находясь под впечатлением смерти и похорон Лоренцо. Но для Пьеро и его родственников это предложение было само собой разумеющимся: пост правителя Флоренции принадлежит роду Медичи и передается от отца к сыну. Традиции и законы республики были им чужды – недаром их считали в городе пришельцами, тупыми и спесивыми римлянами. Гордыня и правда слишком часто застилали им глаза. Звание «герцог Флоренции» звучало превосходно, а все остальное было неважно.

Избрание Пьеро на место отца, по сути, прошло незаметно: оно мало кого волновало, поскольку с сыном Великолепного не связывали больших надежд. На его покровительство мало кто рассчитывал, Сандро тем более, ибо хорошо знал Пьеро с детства. Он не ждал от преемника Лоренцо ничего хорошего и разделял мнение, что Пьеро подобен карлику, влезшему в сапоги великана. Прежние Медичи знали, кому они обязаны своей фактической властью, и поступали соответственно. Они не считали зазорным общаться с ремесленниками как с равными и понимали, сколь важно во имя престижа поддерживать живописцев, поэтов, философов, скульпторов, распространявших их славу. Они знали многое – прежде всего то, как нужно и возможно править во Флоренции. Пьеро вопреки советам отца вбил себе в голову лишь одно: по праву рождения он будет рано или поздно повелевать всем этим флорентийским сбродом. Но такого в их городе никогда не бывало; при всех поворотах судьбы сохранялась по крайней мере видимость того, что она управляется всем народом.

Отпрыска Великолепного обучили сочинять стихи – это было, пожалуй, все, что он знал об искусстве, большего ему не требовалось. Живопись его не интересовала, так что ждать от него какого-либо покровительства было бы наивным. Плохо в такие времена оказаться без поддержки. С усилением влияния Савонаролы богатые меценаты, тянувшиеся за Медичи, на всякий случай отошли в сторону; это началось еще при Лоренцо, когда они провалили проект мозаики для капеллы Святого Зиновия. Теперь же их нежелание попасть в передряги еще больше усилилось. К этому добавлялось то, что Сандро всегда считался приспешником Медичи, а такое не прощается во времена, когда симпатии народа изменились. А если кто и позабыл об этом, то им напоминала фреска с изображением повешенных, правда, уже

сильно подпорченная ветрами и дождями.

Не только Сандро оказался в таком положении: на площади перед палаццо Веккьо, этой «ярмарке новостей», все чаще стали поговаривать о раскаявшихся скульпторах и живописцах, дававших немыслимые обеты, чтобы расположить к себе Савонаролу, о покинувших город художниках, отправившихся в добровольное изгнание, чтобы не умереть с голоду. И все это происходило во Флоренции, которая всегда как магнит притягивала к себе служителей муз! Каяться Сандро было поздно, а покинуть Флоренцию – родной и любимый город – означало своими руками вырыть себе могилу. Но все-таки ему не хотелось сложа руки идти на дно – сказывалась натура флорентийского ремесленника, всегда боровшегося до конца. Стиснуть зубы, задавить растерянность и меланхолию, писать и писать, пусть даже нет заказчиков: ведь не вся же Италия отреклась от искусства!

Когда Сандро писал свое очередное «Благовещение», многие знавшие об этом расценивали его новую работу как попытку польстить Савонароле, добиться его расположения. Но какую цель преследовал сам Сандро, было неведомо. Не исключено, что в картине был заложен тот самый второй смысл, свойственный «новой манере» Сандро: фра Джироламо, подобно архангелу Гавриилу, принес Флоренции благую весть о спасении. Возможно, но пойди угадай! А может быть, Сандро продолжал упорствовать и вступил в спор с Савонаролой, пытаясь доказать, что нет ничего греховного в том, чтобы писать изображения Мадонны – ведь, по преданию, этим занимался сам апостол Лука! Не исключено и такое.

Ясно лишь то, что Сандро действительно преследовал какую-то цель – иначе зачем ему было собирать столько народу, чтобы показать свою картину? Собравшиеся не знали, что и сказать. Если подходить со старыми мерками, то работа казалась по крайней мере странной; простота в ней была доведена до предела. Неужели Сандро обленился настолько, что отказался почти от всего, что украсило бы картину? Какие там украшения, если Пресвятая Дева принимает архангела в комнате, где отсутствуют не только портьеры, но и какая-либо мебель! Что до ландшафта, то он едва виднеется в двух окнах. А жесты, а мимика! Недаром, Леонардо, увидев «Благовещение», съязвил: у Мадонны Боттичелли такое выражение на лице и такая поза, что она того и гляди выпрыгнет в окно. Одним словом, картину сочли очередной неудачей Сандро, а тот, для кого она якобы предназначалась, промолчал. В конечном итоге Сандро удалось все-таки продать ее какому-то благочестивому купцу,

подарившему ее своей приходской церкви.

Жаль, что усилия пропали даром – «новая манера» никак не прививалась. Нужно было всерьез задуматься о завтрашнем дне. Сейчас в лучшем положении находились те живописцы, которые прирабатывали каким-нибудь побочным ремеслом: содержали мелочную лавку, трактиришко, плотничали или малярничали. Он ничего этого не умел – да и пристало ли первому живописцу Флоренции стоять у прилавка или красить заборы? Ему и так приходилось не брезговать всякими мелочами, как в молодые годы. Но эти поделки много не приносили, средства таяли, а экономить он так и не научился.

Если Сандро, создавая «Благовещение», и правда надеялся на чью-то поддержку, то помощь пришла к нему с другой стороны. Все тот же Лоренцо ди Пьерфранческо, прослышав о его неудаче, пригласил его к себе и предложил вернуться к так и не завершенному проекту – иллюстрированию «Божественной комедии» Данте. Было видно, что прежде чем сделать это предложение, он продумал все до мелочей. Никто – в том числе и самые фанатичные «плаксы» – не смог бы найти что-либо еретическое в этом заказе. Проповеди проповедями, обличения обличениями, но никакой Савонарола не посмеет покуситься на поэму, ставшую флорентийской святыней. Зная въедливый характер Сандро, Лоренцо исходил из того, что теперь тот засядет за книги, пока не разберется во всем до конца. Оплачивать труд он обязался частями по мере его готовности. Иными словами, не оскорбляя самолюбия живописца, он предложил ему помощь, которая могла длиться несколько лет. Ну, а там будет видно. Сандро согласился: все-таки было заманчиво еще раз попытаться взять ту крепость, перед которой он когда-то спасовал. Неужели «Рай» так и не откроется ему?

Не то было время, чтобы откровенно поведать о своих истинных намерениях даже близким друзьям, но из намеков Лоренцо и случайно брошенных им фраз можно было понять, что он не одобряет деятельность приора Сан-Марко, грозившую вырубить под корень все то, что упорно насаждали Медичи. Походило на то, что Лоренцо убедил себя: он должен взять на себя роль продолжателя традиций их прославленного семейства, постараться сохранить, удержать в руках расползающееся и рушащееся наследие. О Пьеро он был невысокого мнения – что с него взять, он не Медичи, а истинный Орсини! Глупости, совершаемые им внутри города и вне его, вряд ли доведут до добра. Он так и остается несмышленышем, к тому же опьяненным призрачной властью. То, что происходит сейчас, вероятно, заставляет Лоренцо переворачиваться в своей гробнице!

Многие опасности витали в воздухе, и не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять: Флоренция лишалась своих прежних союзников и еще больше подзадоривала своих противников. Не Пьеро и не Савонарола был сейчас нужен ей, а такой хитрый, цепкий и дальновидный политик, как Козимо или Лоренцо. 3 июля 1492 года исполнилось еще одно пророчество фра Джироламо: умер папа Иннокентий VIII. Перед лицом смерти благочестие изменило ему, и в Италии ходило много страшных слухов о его стремлении продлить жизнь путем омоложения: он якобы питался лишь материнским молоком, принимал ванны из крови зарезанных детей, не считал святотатством обращаться за помощью к некрещеным евреям и маврам. Все это казалось невероятным, но могло быть и правдой – папы на все способны, так говорил Савонарола.

Флоренция не испытывала особой печали по поводу смерти Иннокентия – он никогда не был ее искренним другом. Хуже было то, что кардинал Джованни Медичи умудрился сразу же оскорбить нового папу – горделивого испанца Родриго Борджиа, принявшего имя Александра VI в честь древнего македонского завоевателя. Тем самым папа давал знать о своих планах: предполагалось, что он объявит новый крестовый поход против неверных. То, что новый папа был избран в результате беззастенчивого подкупа кардиналов, не составляло тайны, но нечего было трубить об этом на весь белый свет, как делал Джованни, прославляя свою неподкупность. Мало того, он заявил: мы сами залезли в пасть хищному волку, которого нужно уничтожить немедленно, чтобы не случилось беды. После этого на всяких планах заручиться расположением нового папы можно было поставить крест.

Дальше – больше: потомки словно задались целью разрушить все, что досталось им от предков. Козимо на смертном одре завещал Флоренции: что бы ни случилось, она должна сохранять добрые отношения с Миланом. Будь у Пьеро хотя бы толика ума, он бы согласился с предложением герцога Лодовико Моро направить в Рим на празднества по случаю избрания папы единую делегацию от Милана, Флоренции и Неаполя. Даже глупцу было бы ясно: это предупреждение Александру не затевать свары с союзом трех крупнейших государств Италии. А что вышло? Фердинанд Неаполитанский заявил: о союзе с Миланом не может быть и речи, и вообще он за то, чтобы устранить от власти узурпатора Моро, свергнувшего своего племянника Джан Галеаццо. Пьеро потянулся за ним: он желает послать от Флоренции самостоятельную делегацию, да такую, чтобы она своим блеском и пышностью затмила миланскую. Лодовико,

пожав плечами, ответил, что в таком случае он будет искать новых союзников за Альпами.

Кем окажется этот союзник, знали все – герцог прямо указал на Карла VIII, короля французов. После смерти Рене Анжуйского, случившейся десять лет назад, права Анжуйской династии на неаполитанский престол якобы перешли к нему. И с кем же в итоге осталась Флоренция? Милан против нее, Неаполь, который и раньше не питал к ней особых симпатий, далеко и в друзья не напрашивается. Рим вообще можно списать со счетов, да и Савонарола был бы против дружбы с ним. За какие-нибудь полгода-год этим Орсини удалось развалить все.

За заказ Лоренцо ди Пьерфранческо Сандро принялся сразу же, но на свою беду начал с «Рая». Опять гордыня одолела: неужели он так туп, что не может осилить богословия, если уж Платон оказался ему по плечу? Он явно переоценил себя, столкнувшись с той же проблемой – в этой части поэмы нет никакого действия, кроме скольжения Данте в сопровождении Беатриче из одной небесной сферы в другую и встреч со святыми, объясняющими постулаты истинной веры, которые невозможно выразить средствами живописи. В голову ему неожиданно приходили размышления, не имеющие никакого отношения к тому, над чем он сейчас бился. Например, как, достигнув глубин Земли, девятого круга Ада, Данте начал свое восхождение к Чистилищу и Раю, не повторив уже пройденный им путь? Ведь Сандро, как и большинство его современников, исходил из того, что Земля плоская. Ему было известно, что и богословы, и геометры, и астрономы пытались по-своему объяснить этот поворот, но понять этого он не мог. А сколько потайных туманных мест еще впереди! Отбросить их и писать только то, что ясно? Нет, он все-таки хотел докопаться до сути. Лоренцо угадал правильно: он обеспечил Сандро работой и помощью надолго.

Однако ученые занятия пришлось прервать: жизнь снова вторглась в его планы. Немного поболев, умер брат Джованни, которому уже перевалило за семьдесят. Этот 1493 год вообще был богат на смерти; многие из тех, кого он знал, ушли в мир иной, Сандро никогда не предполагал, что смерть брата принесет ему столько забот. На него сразу обрушились все житейские хлопоты, которых он, «птичка Божия», всегда стремился избежать. Согласно предсмертной воле Мариано в случае смерти старшего брата дом и прочее имущество, принадлежавшее ему, переходило к следующему по старшинству сыну с обязательством последнего позаботиться о семье усопшего. С этим особых затруднений не возникло, никто с ним судиться не собирался, так как брат вкладывал имеющиеся у него деньги в непреходящие ценности –

дома и земельные участки; так поступали многие, включая и самого Лоренцо Великолепного. В одно из этих владений и перебралась супруга Джованни с детьми – ее-то ничто не привязывало к дому на виа Нуова, который для Сандро был семейной святыней. Что касается заботы о них, то пока что они удовлетворились не столь уж большой суммой, а в будущее Сандро старался не заглядывать.

Сложнее было с младшим братом Симоне, который, еще в молодые годы занявшись коммерцией, отправился странствовать по Италии. Ему нужно было выделить его часть или сберечь ее до его возвращения, если таковое состоится. Его следы затерялись: по одной версии, он пребывал в Риме, по другой – в Неаполе, по третьей – его вообще уже не было в живых. Перед смертью Джованни начал его разыскивать, но не довел начатое до конца. Поиски брата стоили больших денег, но волю родителя следовало исполнить. Но даже это не столь угнетало Сандро, как свалившиеся на него хлопоты по хозяйству: слуги, провизия, дрова, уборка мусора перед домом, выплаты городским властям, погашение накопившихся долгов. Брат как-то шутя справлялся со всем этим, а Сандро только предстояло постичь эту науку – какие уж тут ученые трактаты!

И надо же так случиться, что домашний уклад семейства Филипепи рухнул как раз в то время, когда в самом городе все рушилось и разваливалось под натиском неистовых проповедей Савонаролы и следующих одна за другой глупостей Пьеро. Не было никакой возможности целиком отдаться работе, приходилось думать о других вещах.

Глава девятая
День гнева

Флоренция походила на корабль, потерявший рулевого. Пьеро метался из стороны в сторону: то искал примирения с папой, то брался за поиски союзников, чтобы бороться с ним. Во всем этом сказывалось влияние семейства Орсини, которое, испокон веков враждуя с папами, время от времени пыталось наладить отношения с ними. Маневры Пьеро раздражали флорентийцев, которые никогда не питали особой приязни к Ватикану, а сейчас, под влиянием проповедей фра Джироламо, – тем более. В городе было мало желающих вдруг ни с того ни с сего раскрыть объятия сластолюбцу и убийце, обманным путем захватившему престол святого Петра и плевать хотевшему на Церковь, если она не приносила ему денег и власти. Заигрывания Пьеро с Александром VI порицались и отвергались. Но ослепленный властью наследник Лоренцо лез напролом. Он пропустил мимо ушей очередную проповедь Савонаролы, а именно к ней стоило бы прислушаться и сделать выводы, ибо фра Джироламо, обрушив в очередной раз на Александра поток брани, впервые заговорил о «биче», приготовленном Господом для изгнания христопродавцев из храма.

«Бич Божий» – так молва нарекла Карла VIII. Вести, приходившие во Флоренцию из Парижа – информаторы, которых еще Лоренцо насадил по всей Европе, не дремали, – сводились к тому, что французский король готовится к походу на Неаполь. Истинные цели этого предприятия простой народ приукрасил выдумкой, что Карл избран Богом, чтобы изгнать Антихриста из Ватикана, способствовать избранию «истинного папы», а заодно и очистить всю Италию от тиранов. Теперь об этом поведал «городу и миру» сам Савонарола!

Если Пьеро сам не понял, что скрывалось за словами монаха, то ему быстро подсказали, что проповеди неистового приора рано или поздно приведут к краху дома Медичи. Недовольство накапливалось, и достаточно малейшего повода, чтобы оно вырвалось наружу, как это не раз бывало во Флоренции. И Пьеро решился на шаг, которого избегал отец: под предлогом, шитым белыми нитками, он отослал Савонаролу в Болонью с тайной надеждой, что ему не позволят возвратиться в город. Фра Джироламо без пререканий согласился. Он-то смотрел значительно дальше, чем заносчивый правитель, и предвидел, чем кончится вся эта непродуманная затея. Во Флоренции сразу

же усилилось брожение, и то, что дело принимает скверный оборот, стало ясно даже для такого неумелого политика, как Пьеро. К своему удивлению, он обнаружил, что народной любовью он не располагает, надежных помощников у него нет, а если у Медичи и остались сторонники, то на них положиться нельзя. Савонаролу пришлось вернуть.

Гроза надвигалась медленно, но неотвратимо. На «ярмарке новостей» у стен Синьории поговаривали, что доверенные лица фра Джироламо и некоторых знатных семейств города уже побывали во Франции, чтобы побудить Карла прийти во Флоренцию, избавить ее от «тирана» и помочь построить в ней «царство Божие». Насколько это верно, судить было сложно, ибо, как всем известно, такие дела не делаются в открытую. Поэтому подобным слухам верили далеко не все. Люди пожимали плечами: неужели флорентийцы сами не справятся с каким-то Пьеро, неужели они убоятся головорезов Орсини?

Эти «головорезы», пожалуй, оставались единственной силой, к которой Пьеро мог питать какое-либо доверие. Присвоив право набирать телохранителей, предоставленное в свое время Лоренцо, он увеличил численность своей охраны и поставил во главе ее Паоло Орсини – своего дальнего родственника по материнской линии. Очень скоро от этих охранников не стало житья. Синьория была завалена жалобами по поводу насилий, грабежей, пьяных дебошей, устроенных ими. Пьеро неоднократно предупреждали, что творимые его людьми и от его имени бесчинства могут повлечь за собой печальные последствия, но эти уговоры оставались гласом вопиющего в пустыне. Молодой Медичи не обращал на них внимания: какие там последствия могут быть для правителя, избранного Богом! Может быть, у Пьеро и имелись какие-то способности, но талантом отличать желаемое от действительного он явно не обладал. Управлять таким городом, как Флоренция, ему было не по плечу.

Негодование нарастало. Все ждали предрождественской проповеди фра Джироламо, ибо казалось, что пришло время сбросить тирана. Однако многие были разочарованы: по неведомым им причинам монах воздержался от грозных инвектив против незадачливого, надоевшего уже всем правителя и пошел проторенной дорожкой – излил чашу своего гнева на Александра и римскую курию. Им и досталось в первую голову. Он не пожалел резких слов, чтобы отхлестать тех священнослужителей, которые лишь создают видимость, что служат Церкви, следуют Святому Писанию, блюдут строгость нравов и умеренность, на деле же способствуют тому, что грех стал считаться добродетелью, а добродетель – грехом. Простирая руки к небесам,

Савонарола призвал Бога покарать тех, кто пренебрегает исполнением долга, не может и не желает отличать добра от зла, правду от лжи, тех, кому наплевать на заботу о душах пасомых, ибо богатство для них превыше всего. «Нравы, – говорил фра Джироламо, – испорчены вконец. Столпы, на которые опирается нынешняя Церковь, лишь с виду порфировые, на деле же они деревянные. А то, что раньше всего лишь обслуживало богословие – все эти творения поэтов, ораторов, философов и астрологов, – теперь подменило собой Святое Писание. Достаточно посетить дома высоких прелатов Рима, чтобы убедиться в этом: они чтут лишь поэзию и ораторское искусство язычников и не стесняются с пеной у рта доказывать, что души можно спасти, если следовать поучениям Вергилия, Горация, Цицерона и иже с ними. Впрочем, ходить далеко не надо – таких лже-учителей хватает и во Флоренции».

Те, кто недоуменно пожимал плечами, не понимая, почему в столь благоприятный момент Савонарола оставил в покое Пьеро, торопили события. Что такое для приора нынешний правитель Флоренции, если он осилил самого Лоренцо – камушек под кузнечным молотом, подгнившее деревце перед ураганом! Он бил по главным противникам, мешавшим, по его мнению, построить «царство Божие» – по римской курии и «идолопоклонникам», возлюбившим язычество превыше заповедей Христовых. Флоренция загудела как потревоженный дымом рой пчел: «плаксы» были готовы хоть сию минуту идти громить осквернителей веры и новоявленных язычников. На всякий случай Синьория удвоила городскую стражу, но все понимали, что, если гнев народный выплеснется на улицы, она будет бессильна обуздать его. Сандро одолевал страх: еще по 1478 году он знал, сколь неистов флорентийский люд, впавший в ярость; тогда он не различает ни правых, ни виноватых, ни грешников, ни праведников. Здесь будут никчемными любые оправдания – их просто никто не станет слушать. И защиты искать не у кого, так как первые, которые покровительствовали ему, уступили место последним, для которых он всего-навсего живописец, осквернивший свою кисть изображениями языческих идолов.

В глазах истовых приверженцев фра Джироламо Сандро и подобные ему, безусловно, заслуживали того, чтобы их побили камнями. Лишь благодаря другим, более актуальным событиям чаша гнева Господнего не излилась на них. 25 января 1494 года умер, упав с лошади, престарелый король Неаполя Фердинанд. Сбылось третье предсказание Савонаролы – ушел из жизни еще один тиран. Следовательно, теперь нужно было ждать исполнения пророчества о приходе в Италию французского короля для

сокрушения Антихриста, засевшего в Риме. Теперь даже сомневающиеся поверили в божественный дар фра Джироламо. Умы флорентийцев только-только успели переключиться на эту проблему, как Пьеро, словно задавшись целью доказать, что для него нет ничего святого и запретного, подбросил новую.

Будь это не нынешний правитель Флоренции, может быть, совершенный им поступок и не вызвал бы такого возмущения – в богатых флорентийских семействах случалось всякое. Но недаром прадед Пьеро завещал всем Медичи блюсти совет Аристотеля «ничего сверх меры»! Флоренция взвилась от негодования, когда в одно прекрасное утро Паоло Орсини по приказу Пьеро заточил в городскую темницу его кузена Джованни ди Пьерфранческо деи Медичи. Это было слишком: во-первых, у Пьеро не было права использовать городскую тюрьму в личных целях, а во-вторых, не в традициях города вовлекать власти в семейные дрязги – их полагалось решать в тесном кругу, а инцидент действительно не имел никакого касательства к делам Флоренции. Начала всё ссора из-за того, что Пьеро на одном из балов стал слишком назойливо приставать к даме сердца Джованни. Слово за слово, тот дал ему пощечину и в результате оказался в тюрьме. Флорентийцы возмутились: Пьеро ведет себя как новоявленный Нерон, которому не помеха узы родства, а тем более законы и традиции города. Настоящий тиран, мнящий, что ему все позволено! Пьеро пришлось оправдываться: Джованни, оказывается, поплатился не за пощечину, а за сколачивание заговора против него и Флоренции. Он-де вел переговоры с французами и предлагал им напасть на республику. Довод малоубедительный и не умиротворяющий накаленные до предела страсти – ведь сам Савонарола нарек Карла новым крестоносцем, бичом Господа, избранным избавить Италию от Александра и вернуть Церкви ее истинное предназначение. Пришлось снова пойти на попятную и освободить кузена.

Доля истины в обвинениях Пьеро, очевидно, была. Готовя поход на Италию, Карл наводнил ее своими соглядатаями, которые шныряли повсюду, в том числе и во Флоренции, вынюхивая, что может ждать французское войско за Альпами. Естественно, они беседовали со многими, кто был связан с политикой и пользовался влиянием, а Джованни был одним из таких людей. Однако обвиняя его в тайных переговорах с французами, Пьеро скорее хотел припугнуть истинных заговорщиков. Опасность грозила ему не со стороны Джованни, который, как бы он ни относился к кузену, не мог предать его в силу принадлежности к клану Медичи да и в правители не лез. Кознями против Пьеро занимались другие люди.

В состав двух делегаций, которые Синьория направила в Лион, где находился Карл, чтобы обсудить с ним вопросы прохода французов через Тоскану и заручиться расположением короля, были (естественно, без ведома Пьеро) включены люди, которые клялись ему в верности, а на деле стремились свалить его: в первую – Пьеро Содерини, во вторую – Пьеро Каппони. Пока другие члены делегаций вели разговоры о том, сколько войск пройдут через флорентийскую территорию и каким образом Карл может оказать поддержку Пьеро для укрепления его власти, эти два посланца при тайных встречах с королевскими советниками говорили прямо противоположное. Они информировали французов, что флорентийцы стремятся избавиться от Пьеро, поэтому Карл поступит разумно, если не станет оказывать ему помощи во время неизбежного народного восстания. Памятуя об интересах республики, заговорщики просили Карла не вмешиваться в предстоящую борьбу, так как флорентийцы сами управятся со своим тираном. А если Карл сочтет нужным поддержать народ Флоренции, он мог бы закрыть в Лионе и других городах филиалы банка Медичи. На первый взгляд такая просьба казалась более чем странной, но по трезвому размышлению все становилось на место: возможно, во Флоренции и возникло бы какое-то недовольство против французов, но оно было бы несравнимо с недовольством против Пьеро, который якобы не сумел найти с королем общий язык.

Переговоры с флорентийцами подтверждали донесения агентов, направленных в Италию: в городе не все ладно, власть Пьеро и его авторитет призрачны, своим неумелым тиранством правитель лишь раздражает подданных. Проповеди Савонаролы, в которых он славит Карла как освободителя, уже подготовили почву, чтобы французов встретили как друзей. Тогда с Флоренцией можно поступать так, как заблагорассудится: она слаба и не окажет никакого сопротивления. Вскоре поступили сведения, что вину за изгнание флорентийцев из французских владений действительно возложили на Пьеро, а закрытие банка в Лионе существенно подорвало его и без того расстроенные финансы. Поползли слухи о предстоящем банкротстве семейства Медичи. В планы итальянской кампании поэтому были внесены изменения: ее стало возможным осуществить уже осенью 1494 года. Перейдя Альпы и пройдя через земли миланского союзника, французы могли зазимовать в Тоскане, а весной будущего года продолжить поход на юг.

Все лето предчувствия резкой перемены в жизни каждого флорентийца витали в воздухе. Сандро, естественно, не принадлежал к числу тех, кто был посвящен во все эти интриги,

но прежнее его соприкосновение с большой политикой подсказывало, что происходит нечто серьезное. Разговоры о скором разорении Медичи побудили и его – пока не поздно – забрать все деньги, хранившиеся в их банках, и по примеру других приобрести землю и виллу у ворот города. «Вилла» – громко сказано, на самом деле он стал владельцем небольшого домика и сада, где росли отживающие свой век маслины.

Впоследствии он не пожалел об этом приобретении. В городском доме становилось все труднее работать: поздней осенью 1493 года во Флоренцию возвратился его брат Симоне, которому уже перевалило за сорок. Он действительно был в Неаполе, когда ему стало известно о смерти Джованни, которого он недолюбливал. Теперь ничто не мешало ему возвратиться к родным пенатам, тем более что это сулило неудачливому коммерсанту средства на жизнь. Поселился он в родительском доме, и, откровенно говоря, Сандро на первых порах был рад этому, так как надеялся, что брат снимет с него часть забот. Однако скоро выяснилось, что Симоне не тяготеет к такого рода занятиям. В отличие от Сандро он не был склонен копаться в своих переживаниях и какие-либо сомнения его одолевали редко. Он любил толкаться среди народа, собирать новости, узнавать, кто чем живет и чем дышит. Он быстро разобрался, что происходит в городе, и безоговорочно стал на сторону фра Джироламо. А поскольку Симоне родился не в воскресенье и соли в его голове было достаточно, он без особого труда возглавил «плакс» их прихода, а дом Сандро превратил в место их сборищ.

Слушать проповеди Савонаролы – это одно. Они могут пробудить в душе ненависть или, напротив, желание перестроить жизнь, покаяться в совершенных или мнимых грехах. Другое дело – присутствовать на шабашах его ретивых приверженцев, которые могут привести к прямо противоположному. Если то, что они проповедуют, и есть благочестие, то лучше все-таки оставаться грешником! Пляски с пением переиначенной «Вакхической песни» Лоренцо, которая теперь начиналась так: «Да здравствует Христос, король, вождь и господин, да живет он в наших сердцах!» – походили на радения бесноватых. Их бесконечные угрозы по адресу «осквернителей веры», «пленников тщеславия», «идолопоклонников» побуждали не каяться, а бежать вон из Флоренции, пока еще не поздно – пусть даже в «вертеп пороков», как теперь именовали Рим. Спорить с ними было бесполезно, как вскоре убедился Сандро. Бросалось в глаза дремучее невежество во всем, что они тем не менее с яростью отрицали; они обо всем судили понаслышке. Призывая к царству Божию, не читали даже святого Августина, не говоря о других Отцах Церкви, а из

бранимых ими язычников в лучшем случае могли назвать Вергилия, поскольку слышали о нем в начальной школе. По их мнению, достаточно было того, что обо всем этом знает почитаемый ими фра Джироламо, а их дело маленькое: сокрушить нынешнюю Церковь и искоренить всю скверну.

Разве можно было говорить с ними всерьез о «Граде Божьем» Августина, о высокой философии Платона, о стихах Полициано и о поисках флорентийскими живописцами идеалов красоты? Для них существовали только листки с проповедями Савонаролы, которые регулярно вывешивались на стенах домов и церквей. Две напасти терзали «город цветов» – банды Орсини и толпы «плакс», и порой трудно было понять, кто из них несноснее. Жить в городском доме становилось не только трудно, но и опасно: что может взбрести в головы друзьям Симоне, если они вздумают покопаться в его мастерской? Благо, что она пока их не интересовала, да и брат как-то сдерживал их.

Большую часть лета Сандро провел на своей вилле, наведываясь в город лишь для того, чтобы посмотреть, не разнесли ли ревнители веры его мастерскую, и забрать кое-какие книги, рукописи и принадлежности для рисования. В тени старой маслины он предавался размышлениям о том, что сейчас происходит во Флоренции, и о том, что ушло, как он теперь понимал, безвозвратно: второй Лоренцо вряд ли появится на его веку. Что сулило ему ближайшее будущее? Ему настойчиво советовали встать на сторону Савонаролы. А разве он сам не склонялся к этому, питая веру, что фра Джироламо несет спасение? Но после того, что он увидел и услышал в своем доме, у него возникли сомнения в том, что все образуется, если горожане последуют за приором Сан-Марко. Эх, если бы не этот его «ищущий разум», насколько бы все было проще! Зачем ему надо что-то выяснять для себя? Не утверждал ли Екклесиаст, что многие знания приносят многие печали?

Как все-таки тягостно жить, зная, что вот он – конец света и Страшный суд! То, что он близок, говорят многие предвестия. Рассказывали, что в Апулии ночью на небе взошло сразу три солнца и были жуткие молнии и гром, а в Ареццо несколько дней в воздухе пролетали на огромных конях вооруженные всадники и слышались звуки барабанов и труб. Правда, сам он ничего подобного не видел. Над ним бегут обыкновенные облака, торопясь покинуть Флоренцию, как и многие его друзья. И они не рождают у него, как это бывало раньше, никаких образов. Просто рваные клочья, обрывки иллюзий…

Но, может быть, он просто не может видеть то, что открыто другим? Вне всякого сомнения, душу надо спасать, следует

покаяться и вести безупречную жизнь. Он понимает тех, кто требует от богачей поделиться с бедными, как поступали первые христиане, он согласен, что люди должны быть равны и жить в братстве и доброжелательстве – он ведь и сам порой завидовал тем, кому позволялось недоступное ему, и тянулся к ним и за ними. Но угодно ли Богу, чтобы ради этого все оделись в рубища и питались акридами? Он с теми, кто призывает очистить Церковь, вернуть ей первоначальную суть защитницы людей и примера благочестия, изгнать из нее любостяжателей, лжецов, двуличных священнослужителей. Таким, как папа Александр, в ней, безусловно, не место. Никакие мирские страсти не должны обуревать тех, кто призван заботиться о спасении душ. Всякий намек на роскошь должен быть изгнан из храмов – но не картины, нет! Ведь даже знающие богословы считают их символами, напоминающими о вере и поучающими тому, как должен поступать христианин.

Вдали от любопытных глаз он перечитывает книги, купленные, когда он тянулся за друзьями и старался постичь мудрецов, живших до Христа. Читает придирчиво, стремясь, как его учили, понять не только явное, но и скрытое. Любой текст, любая картина содержат аллегорию – ее можно увидеть лишь разумом, глаза здесь бессильны. Платон… Сандро не видит, чтобы он, как утверждают, разрушал истинную веру. Аристотель… не он ли признан авторитетом самой Церковью? Лукиан… конечно, есть к чему придраться, но пусть об этом судят более искушенные умы. Боккаччо… разве его «Декамерон», известный каждому флорентийцу, или книги, живописующие подвиги древних мужей и дам, так уж страшны для истинной веры?

Вспоминается святой Августин, предостерегавший христиан от чтения книг язычников, которые могут поколебать нестойкие умы. Но ведь сам святой прилежно читал их, если судить по его творениям, и это не отторгло его от Бога, а привело к нему. Что-то здесь не так – не в этом, видимо, причина упадка нравов. Но в чем? Ему, конечно, не сравняться с Данте, но почему, если живописцы вводят христиан в соблазн, великий поэт воспел Джотто, почему не поместил древних языческих философов и поэтов в ад, а отвел им особое место? Поистине, многие знания приносят многие печали, потому что они ставят неразрешимые вопросы и ум изнемогает в поисках ответа на них. Блаженны нищие духом!

Конечно, он не богослов, он полагается на здравый человеческий разум, и когда громоподобный рык проповедника не повергает в трепет, многое из того, что он говорил,

представляется сомнительным. В чем, собственно говоря, его, Сандро, грех? Да, в его жизни, как и у всякого флорентийца, жившего при Медичи, бывало разное, но вряд ли на Страшном суде его будут судить за Мадонн, которые он рисовал для верующих, или за украшение храмов – ведь этим он служил вере. Пусть он писал Богоматерь и святых не в тех одеяниях, как этого требует фра Джироламо, однако у него и в мыслях не было тем самым оскорбить их – просто так было принято. Но рассуждая подобным образом, оправдывая себя, он нет-нет да и ловил себя на мысли, что пытается уйти от главного – от вины за написание кумиров, языческих идолов. Этого не вычеркнешь и никаких доводов в свою защиту не приведешь. Конечно, он может сказать: идеи Платона он понимал как аллегории божественного замысла сотворения мира и взял-то из них одну-единственную – идею красоты. На большее он и не замахивался, не дерзал – ведь было сказано святому Августину: не перелить море в ничтожную ямку в песке.

Времени для размышлений было более чем достаточно, ибо Дантов «Рай» по-прежнему не давался ему. Постигнуть эту часть поэмы, видимо, было выше его сил. Решение так и не находилось – может быть, настроение у него было не то, что необходимо для воплощения подобного замысла. Если в терцинах поэта и скрывались какие-то аллегории, которые можно было бы изобразить средствами живописи, то он не улавливал их, а создание собственных считал невозможным. Беатриче от его усердия придать ей величие превращалась в безжизненную статую. Пытаясь передать слова Данте, что в ее присутствии он чувствовал себя ничтожеством, Сандро решил написать ее на две головы выше своего спутника, но получилась какая-то чепуха. Полной неудачей закончились и попытки показать, что Данте и Беатриче находятся не где-нибудь, а на небе: он помещал их фигуры сбоку, сверху, даже вниз головой, проводил линии, долженствующие обозначить небесные сферы, разбрасывал по полю звезды – нет, не то! Пришлось снова отложить все в ожидании счастливого озарения.

Одно бросается в глаза в этих рисунках – Данте и Беатриче одиноки в бескрайних небесных сферах. Одиноки, как он сам, хотя этого нельзя утверждать в полной мере: изредка его посещают друзья. Немного их осталось. Приходит Фабио Сеньи, который приносит из города неутешительные новости – о них не хотелось говорить, старались беседовать о другом, пытались разобраться в том, что сейчас мучило обоих, говорили о книгах, которые теперь избегали читать, дабы не впасть в грех. Не Фабио ли подал ему мысль повторить картину Апеллеса «Суд», которую

описал Лукиан? Не он ли напомнил Сандро завет Альберти: восстановить картины, написанные древними, от которых сохранились только описания?

Вряд ли Сандро собирался состязаться с Апеллесом, ведь нельзя в полной мере судить о том, чего уже нет. Вероятно, его привлекло другое: осуществить замысел можно, так как никто бы не мог упрекнуть его в прославлении языческих идолов, а подтекст картины не пришлось выдумывать – это была его собственная судьба. На ней изображен восседающий на троне Судья – царь Мидас с ослиными ушами, которому античная мифология определила роль судьи в царстве мертвых. Ему что-то нашептывают в уши Невежество и Подозрение, а Клевета тащит к нему за волосы очередную свою жертву. Здесь же вьются Ненависть, Заблуждение и Обман. В стороне стоит нагая Истина, рядом с нею Раскаяние в виде отвратительной старухи. Пороки, напротив, не такие уж отталкивающие, как им полагалось бы быть – их нежные лица напоминают граций с прежних полотен Боттичелли.

Скрытый смысл очевиден: это же суд над самим Сандро! Это клевета притащила его на судилище, это невежество и подозрение обвинили его, христианина, в вероотступничестве и идолопочитании, это вокруг него увиваются ненависть, заблуждение, обман. Почему раскаяние получилось у него столь неприглядным, можно только догадываться. Нет, к Савонароле эта картина не имела никакого отношения, как и к выполнению завета Альберти – она касалась его одного. «Суд» (позже он получил название «Клевета Апеллеса») Сандро подарил Сеньи, как ни тяжело было расставаться с ним. И хотя Фабио всячески старался вручить ему деньги, он наотрез отказался от возмещения. Да и как определить стоимость этой картины? Она была не из тех, что пишут ради заработка, ценность ее не выражалась в стоимости холста и красок. Последний всплеск некогда могучей фантазии, прощание с самым дорогим, с ним самим – прежним Сандро. Предполагал ли он, что больше ничего подобного не напишет? Сеньи понял это, ведь недаром же он чаще, чем другие, встречался с Боттичелли и, если не знал, то угадывал его мысли. Здесь же, на вилле, он написал четверостишие, которое потом будет прикреплено к раме картины:

> Чтоб не могли оскорбить клеветой владыки земные,
> Малая эта доска памятью служит всегда.
> Точно такую поднес Апеллес владыке Египта —
> Дара достоин был царь, дар был достоин царя.[14]

Картина была в надежных руках, в безопасности: никто не уничтожит ее, что могло бы случиться, останься она в его мастерской, никто не скажет о ней худого слова, ибо Сеньи не будет показывать ее невежественным олухам. Жаль конечно, что ее увидят немногие, но кто же выставляет свои чувства на всеобщее обозрение? Их доверяют лишь самым надежным друзьям.

На вилле он собирался оставаться как можно дольше – осень обещала быть длительной и теплой. Однако получилось иначе. В начале сентября дорога, ведущая из Флоренции, ожила: пешеходы, всадники, повозки неожиданно выплеснулись на нее неиссякаемым потоком. Разговоры, как обычно, были разные, зачастую противоречащие друг другу, но главное в них сводилось к Савонароле и его недавней проповеди. Она потрясла многих, ибо пока еще была жива вера в пророческий дар фра Джироламо, а он предвещал в самом ближайшем будущем потоп, который зальет всю Италию. Поскольку в прошлом его пророчества сбывались, люди поверили и в это – причем в потоп не иносказательный, а самый настоящий, описанный в Библии. По рассказам очевидцев, фра Джироламо настолько образно живописал это предстоящее событие, что горожан охватил ужас. Некоторые бросились вон из Флоренции – повыше в горы, другие, махнув на все рукой, стали безропотно ожидать гибели. Многим даже не пришло в голову, что в словах доминиканца скрывается какая-то аллегория. Это поняли только те, кто знал, что к чему и в каком направлении развиваются события. Сандро, собрав пожитки, поторопился вернуться в город, ибо теперь только его стены могли уберечь от надвигающейся беды.

20 сентября потоп, который обещал Савонарола, обрушился на Италию: перевалив через Альпы, воинство Карла VIII наводнило северные долины. Король стремительно двигался к Милану. В крайней спешке итальянские государства спешили наверстать упущенное, кое-как подлатать ту систему союзов, которая была создана Лоренцо и рассыпалась после его смерти. Преемник Фердинанда Альфонсо Неаполитанский и папа Александр VI отреагировали первыми – ведь им угрожала наибольшая опасность от вторжения. Они вступили в союз, и войска Альфонсо двинулись на север, чтобы остановить продвижение французов. От Милана союзникам ожидать было нечего, Лодовико откровенно приветствовал вторжение Карла. Флоренцию тоже можно было сбросить со счетов – если там и не провозглашали громогласно здравиц в честь Франции, то и не

скрывали симпатий к ней. К тому же у нее вдруг обострились собственные проблемы: в Пизе началось брожение с требованием возвращения независимости, неспокойно было и в Лукке.

Потоки беженцев накатывали один за другим; теперь уже не угроза потопа снимала людей с насиженных мест, а страх перед вторжением неприятеля. Если в самой Флоренции давно забыли, что такое присутствие иноземной солдатни, то в ее окрестностях хорошо представляли, что оно означает и к каким последствиям ведет. Сентябрь – самый благодатный месяц для заготовки припасов на зиму, но сейчас, как кажется, никто об этом не думал. Синьория ломала голову над тем, выполнит ли Карл обещания, которые давал раньше, если вступит во флорентийские владения, удовлетворится ли тем, что Флоренция выделит ему сто кавалеристов за десять тысяч дукатов в год. А Пьеро играл в мяч со своими приспешниками и, похоже, спокойно ждал развития событий. Поговаривали, что через своих агентов, и в частности через бывшего управляющего своего банка в Лионе, он выторговал у Карла обещание наградить его герцогским титулом в обмен на то, что он признает себя вассалом Франции. Уже достаточно познакомившись с Пьеро, флорентийцы были уверены в правдивости этих слухов.

Город распался на два лагеря: одни предлагали встретить французов как друзей, другие же требовали готовиться к обороне; по этой причине горожане то бросались ремонтировать обветшалые крепостные стены, то расходились по домам и начинали чистить ковры и гобелены для торжественного приема гостей. Но те и другие были едины в том, что правлению Пьеро надлежало положить конец, иначе он доведет Флоренцию до еще большей беды. Именно в эти дни, 29 сентября, умер Анджело Полициано, но на его кончину мало кто обратил внимание – а ведь она, по сути, подводила черту под золотым веком Флоренции.

Французы вошли в Милан, где встретили самый теплый прием. Войско Альфонсо было разбито у Рапалло, где оно попыталось воспрепятствовать продвижению части французской армии, которая выгрузила пушки с кораблей в Генуе и шла на соединение с главными силами. Карл VIII мог торжествовать. Балы следовали за балами, охота за охотой, а тем временем солдаты грабили, насиловали, сокрушали монументы, устраивали дебоши – словом, вели себя так, словно находились в завоеванной стране. Лодовико подсчитал плюсы и минусы пребывания таких союзников в своих владениях – минусов было несравненно больше. Перспектива, что французы останутся зимовать в его владениях, совершенно не устраивала его. Он осторожно стал

намекать Карлу, что тому стоило бы направить свои стопы во Флоренцию: она ближе к Неаполю и богаче, у нее хватит продовольствия, чтобы прокормить солдат, которые, словно саранча, пожирали все.

Карл колебался, но в конце концов согласился с доводами Лодовико. Пожалуй, миланец прав: Флоренция вряд ли станет сопротивляться, ибо он получал достоверные сведения, что в городе неспокойно. Видимо, народ в самом ближайшем будущем поднимется против Пьеро. Король будет нужен и тем и другим, но пока еще не решил, на чью сторону ему выгоднее встать. Но кого бы он ни поддержал – все равно это будет прекрасным оправданием того, чтобы остаться на зиму во Флоренции. В октябре французы вторглись в Тоскану, осадили Сарцану и Пьетрасанту, Лукка, как и предполагалось, сама распахнула перед ними ворота и перешла на сторону Карла, за ней последовал еще ряд городов.

Вскоре французы подошли к Пизе. Пизанцы, которые почти целый век мечтали о возвращении независимости, отнятой у них флорентийцами, с восторгом приветствовали своего «освободителя». Но на всякий случай Карл оставался вне стен города – нужно было выждать, как отреагирует на все это Флоренция. Сарцана и Пьетрасанта еще сопротивлялись, но их капитуляция была предрешена – у защитников иссякало продовольствие. Главным для того, чтобы сделать республику более уступчивой, был, конечно, захват Пизы – тем самым блокировался выход Флоренции к морю. Теперь Карл мог спокойно выжидать – ясно, что флорентийцы не начнут военных действий, поскольку собственным войском не располагают, а кого-либо нанимать у них не было времени.

Король ждал не напрасно: вскоре к нему прибыла делегация флорентийской Синьории, которая не скупилась на заверения в дружбе и опять затянула песню о том, что флорентийцы сыты по горло правлением Медичи и Карлу не следует оказывать ему никакой помощи. Одновременно она советовала королю продвигаться дальше на юг, пока еще стоит хорошая погода, а его противники не успели собраться с силами. Карл выслушивал посланцев, кивая головой – не в знак согласия, просто у него была такая привычка, многих вводившая в заблуждение. То, что предлагала ему эта делегация, было ничтожно в сравнении с тем, что можно было, как он знал из переговоров с Лоренцо Спанелли, ожидать от правителя города. Он ждал Пьеро, и тот не замедлил явиться. Французы расщедрились на почести и приняли его как коронованную особу.

Дальнейшее покрыто мраком, так как источники расходятся,

излагая содержание состоявшихся бесед. Ясно лишь одно: Пьеро ответил согласием на все требования Карла. Он уступил французам Пизу, Ливорно, Пьетрасанту и Рипафратту, он гарантировал им беспрепятственный проход через флорентийские владения, он обещал выплатить огромную сумму и в довершение всего просил Карла прибыть во Флоренцию и быть гостем в его доме. Близкий советник короля в своих мемуарах искренне удивлялся тому, что Пьеро безоговорочно пошел на такие колоссальные уступки и французы без каких-либо усилий получили даже больше того, о чем они смели мечтать. Дипломат объяснял все это «молодостью и неопытностью Пьеро в политике».

Дальше идет разноголосица: одни утверждают, что Пьеро сделал это с согласия Синьории, но на определенный срок, другие же стоят на точке зрения, что ни на что подобное Синьория не соглашалась и Пьеро действовал на свой собственный страх и риск. Но как бы то ни было, Флоренция в один день, вернее в один вечер потеряла все, что приобрели Медичи – от Козимо до Лоренцо – за шестьдесят лет своего правления. Совершив все это, Пьеро отбыл во Флоренцию в сопровождении квартирмейстера короля сьера де Бальзака, который должен был подготовить палаццо Медичи к приему высокого гостя. А Карл 9 ноября 1494 года в сопровождении огромной свиты торжественно въехал в Пизу, где якобы должен был расположиться на длительный отдых – хотя, как писали, он всего-навсего лишь хотел взглянуть на знаменитую Пизанскую башню.

Молва обогнала Пьеро: он еще находился в пути, а во Флоренции уже знали, что он преподнес в подарок французам значительную часть флорентийских земель. За что? Ответ был готов – за корону герцога, которую он купил такой дорогой ценой. Даже приводили детали: Пьеро, приблизившись к королю, якобы упал перед ним на колени, и тогда Карл ударил его по плечу плашмя мечом, посвятив тем самым в рыцари и вассалы и попутно даровав ему титул герцога. Этому верили и не верили, но верить было выгоднее. А когда был пущен слух, что красные лилии в гербе Флоренции будут заменены на белые, французские, последняя капля переполнила чашу гнева – горожане стали вооружаться.

Тем временем в Пизе разворачивались другие события. До Флоренции дошло несколько их версий. Одна из них гласила: когда король обедал в своей резиденции, его посетила делегация дам города в роскошных нарядах и, упав перед ним на колени, стала молить даровать Пизе свободу. Будучи дамским угодником,

Карл не смог им отказать и милостиво разрешил быть свободными. Другие версии носят более прозаический характер. Известно одно: в день въезда французского короля в Пизе произошло восстание против флорентийского владычества. Собравшаяся толпа с криками бросилась к мосту через Арно и сбросила с него «мардзокку» – мраморного льва, копию скульптуры Донателло, символ мощи флорентийской Синьории. После этого гнев пизанцев обратился против флорентийского гарнизона. Французы не вмешивались – это было не их дело. Но на всякий случай на следующий день Карл выехал из Пизы и взял курс на Флоренцию, отказавшись от длительного отдыха. То, что это не был лишь визит вежливости, явствовало из того, что следом за ним направилось все его воинство.

Пьеро возвратился во Флоренцию 8 ноября и сразу же натолкнулся на прием, который не сулил ничего хорошего. Страсти накалились до предела. Ему открыто бросали обвинения в предательстве, в глаза называли трусом. На что он надеялся – трудно сказать, видимо, лишь он один в городе не понимал, что может произойти в самом ближайшем будущем. Он даже не соизволил посетить Синьорию. Тогда гонфалоньер Пьеро Каппони предложил созвать Совет семидесяти и потребовать от Медичи отчета о его переговорах с Карлом. Естественно, весть об этом разнеслась по городу, а в дом на виа Нуова ее принес Симоне, который всегда был в курсе дел. Он торопился – спешил со своими «плаксами» к палаццо Веккьо и приглашал с собой Сандро, но тот не пошел: зная характер сограждан, он предвидел, куда движется дело. Перекинув через плечо белый балахон и водрузив на голову капюшон, Симоне поспешил к своим товарищам.

Собравшийся совет пригласил Пьеро и потребовал объяснить, по какому праву он раздаривает владения города, на каком основании и с чьего согласия ведет переговоры с иностранцами и почему он не явился в Синьорию по возвращении в город. Пьеро начал путаные объяснения, которые в итоге свелись к тому, что он, как правитель Флоренции, волен поступать так, как считает нужным для блага города. Тон его становился все более заносчивым, хотя он должен был бы заметить, что в зале закипает недовольство. Пьеро так и не понял, что он вызван в палаццо Веккьо вовсе не для приветствий и здравиц. В самом патетическом месте его речи он неожиданно был прерван Каппони, который встал и заявил, что настала пора положить конец правлению «мальчишки» и передать город в руки опытных государственных мужей. Прений не было – предложение поддержали все. Пьеро начал было протестовать, но его не стали

слушать. В ярости он выскочил из зала, а совет принял решение объявить его предателем и поставить вне закона. Затем была сформирована делегация в составе пяти человек, в которую включили и Савонаролу, – она должна была встретиться с королем и исправить то, что еще можно было исправить.

Это была самая бурная, самая бессонная ночь со времен памятного мятежа 1478 года. Город не спал, жребий был брошен, пути назад не было, и к утру каждый флорентиец должен был сделать свой выбор. Несмотря на запрет, почти во всех домах горели огни. К рассвету Флоренция была готова ответить на вопрос, с кем она связывает свою дальнейшую судьбу. Принял решение и Пьеро деи Медичи. Утром 10 ноября он появился перед палаццо Веккьо со своим отрядом наемников и потребовал впустить его в здание. Через закрытую дверь ему ответили: он может войти во дворец, но только один, без оружия и через боковой вход. Пьеро отказался, забрал свое воинство и отправился на виа Ларга. Он не успел дойти до своего палаццо, как над Флоренцией загудел колокол башни Джотто. Горожане стали стекаться к площади перед Синьорией. Там они услышали, что совет объявил Пьеро изменником. Появившийся перед толпой безвестный монах-доминиканец – Савонарола еще ночью выехал на переговоры с Карлом – благословил собравшихся. Толпа качнулась в сторону виа Ларга, мгновение помедлила и вдруг рванулась вперед, увлекая зазевавшихся, выплевывая изувеченных и раздавленных, разрывая рты криком: «Народ и свобода!» Мелькали белые рубахи и куколи «плакс», вздыбились копья, косы, железные прутья, заколыхались кресты в руках «ангелов в белых одеждах». Толпа катилась, пополняясь прибывавшими из боковых улиц.

Из палаццо Медичи выскочил кардинал Джованни вместе с «головорезами» Орсини и заорал боевой клич Медичи, но его никто не подхватил. Толпа ломила напролом. Джованни и наемники юркнули за двери палаццо. Здесь он узнал, что его брат с Орсини и несколькими слугами уже покинули дворец, чтобы успеть проскочить, пока Синьория не распорядилась закрыть городские ворота. Джованни последовал их примеру. Он попытался найти убежище в монастыре Сан-Марко, но его туда не пустили. Два дня кардинал прятался в городе, а потом, надев сутану простого монаха, выскользнул за ворота и скрылся. Весь вечер над городом гремел набат колокола, временами прерываясь, потом, словно накопив ненависть, снова начинал гудеть. В предместьях уже полыхали виллы Медичи, а в городе толпа утоляла свою ярость, громя дома друзей Пьеро.

Сандро не откликнулся на набатный зов: как бы

неприязненно он ни относился к Пьеро, тот все-таки принадлежал к семейству, много сделавшему для него. Оставшись дома, он не находил себе места – то бесцельно бродил по комнатам, заходил в мастерскую, невидящими глазами рассматривая накопившиеся в ней картины, то сидел перед потухшим очагом, уставившись в него. Под утро пришел Симоне, белый балахон которого в некоторых местах был запачкан кровью. Буркнув, что все кончено, он повалился на постель и заснул мертвецким сном. Сидеть дома стало невмоготу, и Сандро, набросив плащ, отправился к месту главных событий.

Палаццо Медичи ощерилось разбитыми окнами, у его стен валялись обломки мебели, разбитые рамы картин, домашняя утварь, обрывки одежды и прочий хлам, который всегда оставляет за собой разбушевавшаяся толпа. У взломанных дверей стояли стражники – Синьория, как только ей стало известно, что бунтовщики ворвались во дворец, направила туда всю городскую стражу, оказавшуюся в наличии, чтобы спасти имущество Медичи, ныне ставшее достоянием республики. Лишь с большим трудом – не без помощи «плакс» – людей вытеснили из дворца, но многое уже было погублено: не имея возможности излить свой гнев на хозяевах, восставшие отыгрались на их имуществе. Теперь слуги Синьории были заняты сбором уцелевшего, чтобы отправить на хранение в городские склады.

Сандро подвернулся кстати: нужен был человек, сведущий в живописи – ведь не всякие картины достойны охраны властей. Лишь по этой причине ему удалось проникнуть внутрь палаццо. Страшное зрелище и чудовищные звуки: под ногами хрустели осколки посуды, стекла витрин и смальта разбитых вдребезги мозаичных столиков, сквозняк играл разорванными книгами и рукописями, работавшие небрежно отбрасывали ногами лохмотья разорванных картин. И так везде – где меньше, где больше – в комнате, где он прощался с Джулиано, в кабинете Лоренцо, где он не раз вместе с другими слушал, как Великолепный читает свои стихи и новеллы, в столовой, где иногда собирались члены Платоновской академии. Руины его молодости и зрелости… Симоне был прав, когда изрек, что все кончено! В буфетной какой-то француз, истошно крича и размахивая охапкой бумаг, другой рукой старался вырвать из рук служителя золотой кубок. Это был сьер де Бальзак, квартирмейстер короля – мешая французские и итальянские слова, он требовал возмещения ущерба, нанесенного ему закрытием банка Медичи в Лионе. Мерзкая картина мародерства, хруст стекла, шелест бумаги…

На улице было не радостнее – из внутреннего дворика палаццо выволакивали статую Донателло «Юдифь и Олоферн».

Это тоже было решение Синьории: перенести Юдифь из дворца Медичи, что на виа Ларга, в палаццо Веккьо. Через год в ознаменование годовщины изгнания Медичи на ней было приказано выбить надпись: «Exemplum Salutis Publicae Cives Pusuere MCCCCXCV» – «Поставлена гражданами как пример общественного блага. 1495 год». К этому времени фреска Сандро, изображавшая повешенных мятежников, по приказу Синьории была сбита со стены палаццо Веккьо. Все поистине было кончено – золотой век Медичи канул в Лету. Это было, пожалуй, самое сильное потрясение, пережитое Сандро. Он считал его последним, но как порой заблуждается человек!

Во Флоренции наводили порядок, а на полпути к Пизе флорентийская делегация торговалась с Карлом. Французы наотрез отказались что-либо менять в договоренности с Пьеро – им было безразлично, с согласия Синьории или вопреки ей бывший правитель Флоренции пошел на уступки. Они сохраняли за собой все отторгнутые ими области, но в конце концов все-таки согласились возвратить их после того, как Карл войдет в Неаполь. Но Пиза не подпадала под эту договоренность. На упрек флорентийцев французы ответили, что произошло недоразумение: Карл не знает итальянского языка, а его кивок головой был неправильно истолкован. В итоге Флоренции все-таки надлежало выплатить королю сто двадцать тысяч дукатов и она должна была принять его в своих стенах как почетного гостя.

Условия были тяжелыми и унизительными, но что делать? Карл все-таки оставался победителем, а «тот, кто разбит и бежит, – как писал флорентийский посол в Венеции Паоло Содерини, – повсюду встретит унижение, и даже его друзья станут врагами». Кроме того, у Карла состоялась беседа с глазу на глаз с Савонаролой. По свидетельству современников, проповедник произвел на короля огромное впечатление. Он ежился под взглядом фанатика-доминиканца, когда тот убеждал его не задерживаться во Флоренции, не обижать ее, а идти на Рим, ибо истинная миссия Карла заключается не в возвращении неаполитанского престола, а в изгнании из Ватикана Антихриста и восстановлении истинной Церкви. Карл вроде бы поверил в это свое предназначение, ибо слава Савонаролы как пророка и провидца дошла и до Франции. Делегация возвратилась в родной город, который скрепя сердце начал готовиться к встрече незваного гостя.

Что касается Пьеро, то он со своими спутниками сначала пытался обосноваться в Болонье, но потом счел за благо убраться подальше от Флоренции и перебрался в венецианские владения. В город его, однако, долго не впускали: лазутчики донесли, что его

изгнал Карл, и, не желая до поры до времени ссориться с французами, венецианские власти решили переждать. Его томление у стен Венеции продолжалось до тех пор, пока французский посол Филипп де Коммин не сообщил, что Пьеро бежал из Флоренции «от страха перед народом, а не от короля». Тогда Медичи было разрешено войти в город с небольшим отрядом, после чего Синьория предписала флорентийскому послу немедленно покинуть Венецию.

Теперь весь город готовился к встрече французского монарха. Было решено оказать ему самый пышный прием в надежде смягчить его требования. Флоренция спешно приводила себя в порядок. Ворота Сан-Фридиано надлежало украсить зелеными ветвями, белыми щитами с золотыми лилиями и надписями, заверявшими французов в дружбе. Улицы вычищали и посыпали песком. На четырех мостах через Арно по требованию Савонаролы установили таблицы с цитатами из Библии. Палаццо Медичи срочно приводилось в порядок – вставили стекла, почистили портал, выгребли мусор, в котором еще долго потом рылись горожане, пытающиеся найти что-либо ценное, и некоторым из них везло. Снова привезли мебель и постарались расставить ее так, как она стояла раньше. На триумфальные арки, которые обычно сооружались по подобным поводам, времени не хватило. Боттичелли неожиданно для себя тоже получил то ли приглашение, то ли предписание принять участие в обновлении декораций для представления «Благовещение Девы Марии» в церкви Сан-Феличе ин Пьяцца. Отказаться Сандро не решился; к тому же он по-прежнему считал себя первым живописцем Флоренции и хотел послужить родному городу.

За неделю, даже меньше, с приготовлениями кое-как управились. 17 ноября 1494 года, несмотря на проливной дождь, флорентийцы запрудили улицы, по которым должен был проехать Карл, выбрав самые широкие, чтобы не стеснять шествие. С балконов свисали гобелены и ковры, горожанам было приказано выходить из домов только в праздничных одеждах, У ворот ждали музыканты и колесница, на которой, дрожа от холода всем телом, жались друг к другу три самые красивые девушки, едва прикрытые, как на прежних картинах Сандро, прозрачной кисеей. Раньше они должны были бы изображать граций, но теперь в угоду фра Джироламо назывались Верой, Надеждой и Любовью. Улицы были полны людей, и никто не знал, что в эти часы на загородной вилле умер в одиночестве и отчаянии Пико делла Мирандола. Говорили, что он отравился, не в силах пережить крушение своей мечты о золотом веке.

Въезд короля был обставлен по всем рыцарским правилам:

впереди, трубя изо всех сил, шествовали герольды, за ними следовала рака с мощами святого Дионисия, покровителя Парижа, за ней – сам Карл на черном коне, в огромной белой шляпе и голубом плаще, в окружении шотландской охраны. За ним вышагивали знаменосцы с поникшими под дождем стягами, волы волокли пушки, гарцевали конники. Потом опять шли шотландцы в коротких юбках, за ними – швейцарцы с их непомерной длины копьями и немецкие ландскнехты в причудливых одеяниях. Казалось, все племена варварской Европы вливались во Флоренцию. Навстречу идущим двинулась колесница с девицами, и толпа нестройно возопила: «Франция! Франция!» – все-таки, если верить Савонароле, это входил не победитель, а освободитель Италии от тиранов и избранник Господа.

Не один Сандро, по-видимому, удивлялся, как и почему этому шестнадцатилетнему замухрышке – по описаниям современников, Карл был щуплым, небольшого росточка – удалось перевернуть всю Италию с ног на голову. И, наверное, не у него одного всплывали в памяти гневные строки Данте, обращенные к Флоренции:

> За краткий срок ты столько раз меняла
> Законы, деньги, весь уклад и чин
> И собственное тело обновляла!
> Опомнившись хотя б на миг один,
> Поймешь сама, что ты – как та больная,
> Которая не спит среди перин,
> Ворочаясь и отдыха не зная…

Дождь испортил все торжество. Многие увидели в явлении, обычном для этого времени года, небесное знамение, сулившее всяческие невзгоды, и для французов они начались уже на следующий день. Всю ночь по повелению Синьории в окнах горели свечи в знак радости флорентийцев, но она была кратковременной и кончилась, как только погасли огни. Прежде всего городские власти выгнали прочь шлюх, прибывших вслед за воинством Карла, – сведущие люди говорили, что их было до восьмисот. Потом выяснилось, что король не намерен покидать Флоренцию в ближайшем будущем, и на французов стали посматривать косо. Некоторые горожане на всякий случай припрятали драгоценности, заложили камнями и забили досками окна и парадные двери. Город словно готовился к бою, женщин и детей укрывали в монастырях.

19 ноября в Сан-Феличе давали представление, декорации

для которого делал Сандро с другими художниками. Французы на нем были, но Карла никто не увидел. «Благовещение» ставили еще дважды, но король отсутствовал и на этот раз. Говорили, что он все же посетил церковь инкогнито и представление ему очень понравилось. Однако люди, осведомленные лучше других, уверяли: Карл отказался входить в церковь, так как боялся покушения, вспомнив судьбу Джулиано Медичи. Остерегаться кинжала, и правда, стоило: флорентийцы проявляли все большую враждебность, по городу распространились слухи, что Карл якобы отправил в Болонью своих посланцев, чтобы они вернули сбежавшего Пьеро. После этого внезапно поднял трезвон колокол Джотто, и, как по мановению волшебной палочки, улицы Флоренции были перекрыты завалами из разной домашней рухляди. Французы схватились за оружие, но колокол умолк так же внезапно, как зазвонил. Перепуганному Карлу объяснили, что произошло недоразумение – Синьории доложили, что к городу со своим отрядом приближается Пьеро.

Но несмотря на то что французы чувствовали себя в городе не особенно уютно, они все-таки намеревались зазимовать во Флоренции. Все эти дни Карл торговался с Пьеро Каппони, которому было поручено вести с ним переговоры, об изменении прежних условий. Синьория не уступала: Каппони упорно пытался выпроводить короля из Флоренции. И та и другая стороны выдвигали все новые и новые требования. Карл явно тянул время, ставил заведомо неприемлемые условия, и переговоры грозили продлиться до весны. Тем временем произошел еще один инцидент: швейцарская гвардия Карла, размещенная за городом, вдруг снялась со своего места, вошла в город и двинулась к площади Синьории. Не успела она пройти и полпути, как дорогу ей преградила разъяренная толпа флорентийцев, а с крыш домов посыпались камни, бревна, стрелы. С большим трудом удалось остановить разгорающуюся стычку.

Карл между тем продолжал торговаться: о роли спасителя веры, предназначенной ему Савонаролой, он и думать забыл. Флорентийцы тоже не уступали. Переговоры стали походить на толчение воды в ступе. В конце концов Карлу надоело заниматься столь неинтересным делом, отвлекаясь от развлечений, которые ему предлагала Флоренция. При очередной встрече с Каппони он бросил на стол перед ним лист бумаги со своими условиями и потребовал принять их без оговорок – в противном случае он прикажет трубить в боевые трубы. Но, как говорится, нашла коса на камень: Каппони был военным человеком и не привык, чтобы им помыкали. Он взял лист, бегло прочитал и, не обнаружив

ничего нового, разодрал его пополам, ответив Карлу: «Что ж, труби, а я прикажу звонить в колокол!» – после чего повернулся и вышел из комнаты.

Ни тот ни другой не выполнили своей угрозы. Посовещавшись с военачальниками, Карл решил уступить. Знающие люди посоветовали ему умерить пыл: сражение в таком обширном и тесном городе привело бы к потере значительной части армии. К тому же французы вдоволь наслушались рассказов о недавних событиях и верили, что в ярости флорентийцы могут разрывать людей на куски чуть ли не голыми руками. Карл снова вернулся к Каппони и согласился на условия Синьории: Франция вступала в военный союз с республикой, города, захваченные ею в Тоскане, будут возвращены Флоренции, как только Карл войдет в Неаполь; король сместит Александра VI и заключит его в тюрьму. За все это Флоренция тремя частями выплачивает Карлу сто двадцать тысяч дукатов. Кроме того, король на следующее утро после подписания договоренности покинет город вместе со своими солдатами, пушками и лошадьми. Не веря больше честному королевскому слову, Синьория заставила его поклясться перед алтарем святого Иоанна, что он исполнит договоренность в точности, – Карл уступил и в этом. Утром 27 ноября, через десять дней после торжественного приема, Карл оставил Флоренцию. Народу на этот раз собралось значительно меньше, колесницы с полуголыми дамами отсутствовали, музыканты не играли.

Савонарола постарался разъяснить флорентийцам, что вторжение Карла в их город есть не что иное, как предостережение: их ожидают еще большие испытания, если они будут вести прежнюю греховную жизнь. Задумываясь над последствиями визита короля, горожане видели, что на сей раз они действительно отделались легким испугом. Конечно, кого-то малость пограбили, кому-то в стычке расквасили нос, однако все это, конечно, мелочи… Впрочем, виллу Сандро разорили начисто: все, что можно было унести, исчезло, а более громоздкие вещи разнесли вдребезги – ландскнехты похозяйствовали во всю пьяную силушку. Но чего можно ожидать от заальпийских варваров? Город возблагодарил судьбу, что у него есть фра Джироламо, молитвы которого доходят до Господа, который печется о них и знает все наперед. Не он ли предсказывал нашествие «нового Кира» и своими молитвами отвел от Флоренции большую беду? Что могли бы сделать Синьория со всей ее мудростью и Каппони со всей его храбростью, если бы Господь не внял Савонароле?

Все больше флорентийцев – простых и знатных – примыкало к фра Джироламо, уверовав в его чудодейственное могущество и

его предсказания. Все больше «плакс» появлялось на улицах, все сильнее становилось их рвение в деле служения Богу. Савонарола в эти дни не появлялся на церковной кафедре: он уединился в своей келье в Сан-Марко и, как перешептывались, под диктовку Бога писал план будущего устройства Флоренции. Пока что республикой вместо Совета семидесяти управлял Совет двадцати во главе с Каппони. Город затих в ожидании своей судьбы. Но кое-какие изменения уже происходили: на очередные два месяца была избрана новая Синьория, и по воле Господа жребий пал сплошь на сторонников фра Джироламо. Открытые приспешники Медичи были изгнаны из города – кто на длительный срок, кто навсегда, – и теперь шла охота на затаившихся друзей Пьеро.

Сандро ждал, что в один прекрасный день и ему будет приказано покинуть город, но о нем, слава Богу, забыли – какой-то живописец, даже самый известный, опасности представлять не может. Похоже, беду от него отвело и то, что его дом с наступлением холодов стал любимым местом сборищ для друзей Симоне, которые теперь пользовались большим влиянием. Но на всякий случай пришлось наглухо заделать двери мастерской. Объяснение было правдоподобным – отапливать ее нечем, поскольку в городе не успели запастись дровами, а рисовать он все равно не собирается. Управление вконец разладилось, и теперь зимой флорентийцев терзал холод, весной – голод, болезни и прочие напасти. Но они верили, что фра Джироламо не даст погибнуть избранному им городу.

Власти распродавали имущество Медичи, чтобы пополнить городскую казну и выплатить Карлу обещанную сумму – оставалось еще две трети долга. Это надлежало сделать, ибо король держал свое слово. Доходили вести о том, что Карл без боя овладел Римом – наскоро сколоченная папой армия под предводительством Джованни делла Ровере перешла на сторону французов, а клан Орсини последовал за ней. Все важнейшие крепости в папских владениях оказались в руках Карла, и Александру пришлось удалиться в хорошо укрепленный замок Святого Ангела. Штурмовать его Карл не собирался – если папа сам заточил себя в тюрьму, то этого достаточно. Он двинулся дальше на юг и 22 февраля 1493 года вошел в Неаполь, где также не встретил никакого сопротивления.

Новый год Флоренция отмечала скучно и неторжественно. Никаких празднеств на площади Синьории не устраивалось: не состязались в своем искусстве певцы, не ходили на задних лапах дрессированные медведи, не крутили сальто акробаты. Все это было запрещено, как вводящее в соблазн. Ожидали новогодней проповеди фра Джироламо; с утра к Санта-Мария дель Фьоре

стекался народ, чтобы услышать очередное видение Савонаролы. Все церкви были переполнены, ибо теперь каждый флорентиец обязан был под страхом наказания посещать церковные службы – кара за ослушание грозила ему не только на небе, но и здесь, на земле. «Плаксы» ретиво следили, чтобы горожане свято исполняли эту свою обязанность. Не было никакой уверенности не только в соседях, но и в ближайших родственниках – все подозревали друг друга в доносительстве. Теперь Лоренцо ди Пьерфранческо больше не откровенничал с Сандро – до него дошли слухи о сборищах «плакс» в его доме, в которых якобы участвовал и живописец. Впрочем, от услуг Боттичелли он не отказался и регулярно присылал ему деньги за порученную работу.

О предстоящей проповеди толковали на всех углах; она обещала быть особенно важной, если для ее подготовки фра Джироламо столько дней пребывал в уединении. Сандро тоже решил пойти к собору, хотя попасть внутрь у него было мало надежд, раз уж народ осаждает ворота с ночи. Но он все-таки рискнул, и не напрасно: сотоварищи Симоне протолкнули его в собор. Ждали долго, ибо шествие с молебнами, организованное Савонаролой перед проповедью, потратило на обход города гораздо больше времени, чем первоначально планировалось. Наконец монах появился на кафедре с распятием в руках, откинул капюшон и начал говорить. Два часа собравшаяся толпа в благоговейном молчании, не шелохнувшись, внимала ему, боясь пропустить хотя бы слово. И было к чему прислушиваться столь внимательно!

Там, где царили нажива и похоть, говорил фра Джироламо, теперь должна восторжествовать добродетель. Флорентийцы наконец избавились от дьявольской тирании Медичи и пошли путем, угодным Богу. Всевышний избрал его, недостойного, чтобы вести их. Хотя его паства склонна к грехам и добродетель не уважает, любовь Бога столь велика, что он готов простить Флоренцию. Более того, Господь открыл ему свое желание дать в короли их городу своего Сына, Иисуса Христа. Еще ни один народ не удостаивался такой чести. Желают ли флорентийцы иметь такого правителя? В ответ прогремело единодушное: «Да здравствует Христос, наш король!»

Что надо сделать, чтобы заслужить такую милость? Прежде всего искоренить тех, кто мечтает о возвращении старых времен. «О да, – голос монаха возвысился, породив грозное эхо в застывшем нефе собора, – среди вас есть такие, которые испорчены настолько, что вынашивают втайне планы возвращения Медичи. Бог требует от властей выявить таких

пособников Сатаны и привести их на суд. Для них не может быть пощады, они должны быть преданы смерти. Я говорю вам: подвергните их справедливому наказанию. Долой с них головы! Пусть они даже будут почетными гражданами – долой, говорю я вам, их головы с плеч!»

Благословив собравшихся, Савонарола покинул кафедру. Так пробил первый час вступления Флоренции в «царство Божие». Преобразования, начавшиеся задолго до этой знаменательной проповеди, пошли полным ходом. Были ликвидированы все прежние учреждения республики за исключением Синьории, но и в ее составе произошли изменения – на сторонников Медичи при выборах почему-то упорно не падал жребий. В остальном же за образец бралось устройство Венецианской республики. Был образован Большой совет, в который Сандро имел бы все шансы попасть, если бы пожелал, – его возраст находился в пределах, установленных законом, а его дед и отец были гражданами Флоренции. Недолго просуществовавший Совет двадцати ликвидировался и вместо него создавался Совет восьмидесяти. Возникла комиссия из «добропорядочных граждан» по исправлению прежних флорентийских законов и разработке новых. Был введен новый поземельный налог и создан ломбард, где можно было занять деньги под гораздо меньшие проценты, чем у ростовщиков. Всем жителям поголовно было предписано жертвовать на церковь – и не какие-то там крохи, а солидные суммы и драгоценности.

Для людей, подобных Сандро, эти нововведения были бы не так уж плохо, если бы не та серость жизни, которая обрушилась на них. Фра Джироламо заявил во всеуслышание, что он не примет никакой официальной должности, однако ни для кого не было секретом, что именно он стал «наместником Христа» в обновляющейся республике; власти не предпринимали ничего без его одобрения и благословения. По его требованию и наитию свыше вводились все новые запреты и ограничения, дабы Флоренция, еще недавно бывшая Вавилоном, стала святым городом, примеру которого обязательно последуют другие города Италии. Пение, танцы, карнавалы и прочие греховные увеселения были строго запрещены, картежникам грозила публичная порка розгами, сквернословам – прижигание языка, чтение языческих и богомерзких книг каралось суровой епитимьей. О живописи пока не говорилось ничего, но было достаточно и того, что содержалось в проповедях фра Джироламо; на всякий случай от нее нужно было держаться подальше.

Бдительность «ангелов в белых одеждах» увеличилась вдвое. Люди, которые так или иначе были связаны с Медичи, жили

теперь в постоянном страхе, а многие из них сочли за благо убраться из города. Что им еще оставалось делать, если книги, которые они читали и писали, в одночасье превратились в «рассадники зла», картины, которые они создавали и перед которыми молились, – в «поругание веры», одежды, которые они носили, – в «усладу Сатаны»! С благословения своего патрона «плаксы» врывались в дома и уничтожали все то, что, по их мнению, служило похоти и вводило в соблазн – книги, картины, рукописи, одежду, парики, благовония. Никто не решался не только выставить их за дверь, но и сказать хотя бы слово против – это значило лишь навлечь на себя еще большие подозрения, а то и попасть за решетку. Городские тюрьмы теперь были переполнены не преступниками, а грешниками.

Лоренцо ди Пьерфранческо теперь не встречался с ним, да и другие давние знакомые затаились. Искать друзей в такую пору, как говаривали флорентийцы, было все равно что ловить комаров зимой. Собеседниками Сандро – опасными и непредсказуемыми в своих действиях – остались только Симоне и его друзья, стремившиеся «вернуть его на праведный путь». Но главным все-таки было то, что он начинал верить – безоговорочно, не так, как раньше, – что фра Джироламо изрекает истину и что он сам должен отречься от прошлого, преодолев на пути к очищению любые страдания, моральные и физические. А их было достаточно – запертая мастерская постоянно вводила его в соблазн, он боялся даже проходить рядом с ней, а если был вынужден делать это, то осенял себя крестным знамением. Рисовать он перестал, из книг читал только Библию и находил в ней массу подтверждений того, что Савонарола воистину прав. Но порой дьявол нагонял на него такую тоску, что хотелось плюнуть на все запреты.

Теперь он полностью осознал, какие терзания пережили святые отшельники, но был слишком слаб, чтобы последовать их примеру. Частенько он запирался у себя в комнате и пил вино – один, скрытно от всех, ибо теперь и это было грехом, но что в его положении значил какой-то там лишний грех? Тоска на время отпускала, но на следующий день она с еще с большей силой вгрызалась в него. За дверями мастерской таились, ожидая своего часа, непоборимые соблазны. Он верил, как и многие из живописцев, что по ночам написанные им картины оживают – ведь они несут в себе частицу души написавшего их. Ночами, как святого Антония, его начинал искушать дьявол: языческие идолы, обнаженные женщины, лжесвятые в роскошных одеждах, корча гримасы, обступали его – они жили, не желая исчезать из его воображения и памяти.

Глава десятая
Сожжение суеты

У любого из горожан были теперь похожие проблемы – Флоренция перестраивалась, и всем нужно было срочно перестраивать себя. Время от времени от этих забот флорентийцев отвлекали слухи о приближении войск Пьеро. Даже судьба отнятых у города владений мало интересовала их. Если что и беспокоило, так это отделение Пизы – весна заставляла задумываться о том, что у них отнят выход к морю, и от этого хозяйство города, и так уже пришедшее в упадок, разрушится еще больше. Одна за другой закрывались торговые фактории за границей, при Медичи внимательно следившие за событиями в Европе. Город терял свои глаза и уши, которые позволяли следить за происходящим. До горожан доходили лишь скудные сведения, согласно которым Пьеро якобы подобрал ключи к сердцу Карла VIII и договаривается с ним о своем возвращении во Флоренцию.

12 мая 1495 года Карл торжественно короновался в Неаполе; по этому случаю его воинство учинило в городе погромы и пьяные оргии. «Крестник» Савонаролы, похоже, забыл о своей миссии, оставил папу в покое, и тот вскоре оправился от своих страхов и начал сколачивать лигу против французов. Оказывалось, что жертвы, понесенные Флоренцией, напрасны и бесполезны для святого дела. А потом новости стали еще менее утешительными: Карл возвращается на родину, его войска поражены какой-то странной болезнью, сопровождающейся сильными головными болями, нарывами, язвами, параличом. Можно было, конечно, объявить ее наказанием Господним за забвение данной клятвы, но от этого Флоренции легче не становилось. Карл спешил – его войско таяло с каждым днем, но даже не это беспокоило его: он оказывался в западне. В Сицилии высадилась армия испанца Гонсало Фернандеса де Кордовы, победителя мавров. Александр VI добился союза с Венецией, к ним присоединился миланский герцог Лодовико Моро, который, по сути дела, и заманил Карла в Италию. Через Альпы перешли войска императора Священной Римской империи Максимилиана. Флоренция, сохраняя верность обязательствам, данным Карлу, фактически оставалась в одиночестве.

Савонарола все беды французов сводил к тому, что они не выполнили веление Господа и поплатились за это. В принципе, флорентийцам не было никакого дела до того, за что пострадали

французы – Господь с ними сам разберется. Несравнимо больше их волновало то, что Карл со своим хворым войском может снова войти во Флоренцию, потребовать денег и поступить с ними так же, как с неаполитанцами. Этого можно было ожидать: французский посол Филипп де Коммин посетил фра Джироламо и попросил его, как провидца, предсказать, сможет ли Карл благополучно вернуться во Францию. Савонарола ответил: Господь привел короля в Италию и он же выведет его обратно, но поскольку Карл не исполнил свой долг, позволив своим людям творить зло, грабить и обирать людей, которые сами открыли ему крепостные ворота, Бог накажет его. Таков его приговор, однако Господь может смягчить его, если на обратном пути Карл не причинит никому зла. Все это фра Джироламо просил передать королю, но, подумав, добавил, что лучше он сам переговорит с ним.

Памятуя о вспыльчивом нраве флорентийцев, Карл не решился на сей раз идти со своим войском через город. Он обогнул его с запада и направился прямо к Пизе. Во временной ставке в Поджибонси 15 июня 1495 года его посетил Савонарола, осыпавший короля упреками. Карл не исполнил Божью волю и поэтому бедствия, обрушившиеся на него, – это кара Господа за нарушение данного им слова и за обиды, причиненные мирному населению. Но наказание будет еще суровее, если Карл не вернется в Италию и не доведет до конца начатое дело. В этом случае доминиканец напророчил ему гибель. Зашел разговор и о возвращении Флоренции отнятых владений. Королю ничего не стоило на словах отдать их, поскольку теперь они мало его интересовали. Сложнее было с Пизой: здесь на требование возвратить ее Флоренции Карлу пришлось лишь пожать плечами – сразу после его ухода город был занят венецианцами, извечными конкурентами флорентийцев в торговых делах.

Под конец Савонарола предупредил Карла, что его могут перехватить объединенные войска папской лиги. Король знал об этом, но здесь оставалось уповать лишь на судьбу. 6 июля 1495 года его армия столкнулась с этими силами у Форново, была разбита наголову, но самому Карлу удалось ускользнуть. Нашествие «новых гуннов» бесславно закончилось, однако Италии это не принесло умиротворения – тут же начался дележ отвоеванного. Флоренция, оставшись союзницей Франции, оказалась в сложном положении. Все, что принесли ей Медичи – владения, влияние, богатство, – было утеряно всего за один год. Савонарола и это объяснял карой за грехи, что было слабым утешением.

Для тех, кто знавал Флоренцию во времена Медичи,

последующие два года показались кошмарным сном. Республика всецело находилась в руках Савонаролы, который прилагал все усилия, чтобы построить в ней «новый Иерусалим», а ее граждан ввести в царство Божие. Было запрещено почти все, что могло бы напомнить о старых временах. Во всех церквях непрерывно читались проповеди, сплошь состоящие из проклятий и призывов каяться. Шествия с распеванием духовных гимнов следовали одно за другим по самым различным поводам, город заполняли толпы кающихся, самобичующихся, стенающих, монастыри уже не могли вместить всех желающих уйти от греховного мира.

Серость стала главным цветом «города цветов», которым некогда была Флоренция: никто не решался надеть прежние наряды, о драгоценностях страшно было даже подумать. Дамы не решались делать прически, балконы, на которых они раньше подставляли солнцу волосы, чтобы придать им блеск, опустели. Процессии, шествия, молитвы… Сандро теперь не пропускал ни одной мессы, ни одной проповеди в Оньисанти – не только потому, что боялся доноса «плакс», но и в силу искренней потребности очистить душу. Проповеди фра Джироламо распространялись письменно и устно, их обличительный пафос нарастал, и люди начинали невольно мыслить так, как предписывал им их проповедник. Порой у Сандро мелькала мысль: а не удалиться ли ему, подобно коллегам Бартоломео делла Порта, Андреа делла Роббиа или Лоренцо ди Креди, в какой-нибудь из монастырей от всей этой суеты, ночных кошмаров и сомнений? Но всякий раз нежелание связывать себя по рукам и ногам обетами перевешивало.

А жить становилось все труднее: ведь не только проповедями жив человек, ему нужен и хлеб насущный. Заказов не было, денег тоже, и если бы не помощь еще оставшихся у него благодетелей, то в монастырь все-таки пришлось бы уйти – хотя бы ради пропитания. Самым страшным было то, что заказов не предвиделось и в будущем, ведь греховным стало буквально все. Богородица перестала быть заступницей, и непонятно было, каким святым еще стоило молиться, если сам Христос был теперь королем Флоренции, и кто сейчас рискнет украшать свою обитель их изображениями. Он даже не знал, сохранились ли те картины, которые он написал для своих прежних друзей, или же их уничтожили вездесущие «плаксы». А каких небесных и земных кар заслужит живописец, рискнувший нарушить запреты? Кто теперь закажет свой портрет, если в глазах Савонаролы это выражение тщеславия и гордыни? Почти все живописцы покинули Флоренцию, раздобыв себе заказы в других городах. А он вот словно прикипел к одному месту, не хочет с него никуда

сдвигаться и остается в городе, в котором он, как когда-то Вероккьо, не мог заработать даже на штаны.

Впрочем, после изгнания Пьеро во Флоренцию возвратился подающий большие надежды ваятель и живописец Микеланджело, покинувший город после того, как Пьеро приказал ему лепить скульптуры из снега. В какой степени он разделял мысли фра Джироламо, судить было трудно, но идея Христа как высшего судии, похоже, была ему близка. Не зная истинного положения, сложившегося сейчас во Флоренции, он горел рвением послужить родному городу. Однако и его услуги оказались не нужны. Ему удалось раздобыть лишь два заказа – на небольшие изваяния юного Иоанна Крестителя и спящего Купидона. Несколько раз Сандро встречался с ним, но сойтись поближе им помешали не только разница в возрасте, но и невыносимая привычка Микеланджело критиковать все, что было создано не им. Тем не менее, когда в июне 1496 года он снова покинул Флоренцию, в городе не нашлось никого, кроме Сандро, через кого он мог бы переслать небольшое письмецо Лоренцо ди Пьерфранческо с благодарностью за оказанное покровительство. После этого связь с ним прервалась, откровенно говоря, к великому облегчению Сандро: Микеланджело числился среди близких друзей Медичи, хотя таковым и не был, а к тому же он сейчас находился в Риме, среди врагов Флоренции, и переписка с ним могла принести массу хлопот.

Хотя сторонникам Медичи и была недавно объявлена амнистия, тем не менее их преследование продолжалось, особенно после того, как на Савонаролу было совершено покушение. Бродили слухи о новых заговорах, не стихали разговоры о том, что Пьеро при поддержке папы собирается напасть на Флоренцию, что, впрочем, соответствовало истине. Нетрудно было предугадать, чем закончатся переписка с Римом и посредничество между сбежавшим туда художником и представителем семейства Медичи, который хотя и вел себя лояльно по отношению к новым властям, но был на подозрении.

Да, непростыми оказались эти годы для многих флорентийцев! Выход в море был блокирован венецианцами, жаждавшими разорения своего конкурента, прежние торговые партнеры переключились на другие рынки, ремесленники, занятые кто политикой, кто спасением души, не работали, кассы цехов ограничили выдачу ссуд. Фра Джироламо обещал, что все наладится, как только Бог окончательно простит Флоренцию, а для этого нужно еще дальше продвинуться по пути покаяния и исправления. Вымели из города всех шлюх – благоденствия не наступило, изгнали евреев – закрылось большинство меняльных и

ростовщических контор, стали питаться только растительной пищей – разорились мясники, запретили упоминать имя Господа всуе, усилили наказания для сквернословов и картежников – ровным счетом никаких изменений. Или Савонарола неправильно толковал свои видения, или же Господь требовал чего-то другого. В других итальянских городах стали уже посмеиваться над флорентийцами.

Но насмешки – это еще полбеды: против обессиленной и разоренной Флоренции начались интриги. В итальянских землях она оставалась единственной союзницей Франции, которая, кажется, и думать забыла о ней. Скрытую борьбу против Флоренции и Савонаролы начал великий интриган Лодовико Сфорца по прозвищу Моро (Мавр), бывший друг Карла. Он забросал Рим посланиями, в которых предупреждал папу, какую опасность для Церкви таят в себе Флоренция и ее проповедник, писал даже о том, что Савонарола сам хочет сесть на престол святого Петра. Напуганный папа решил действовать более энергично, пока не стало слишком поздно. Он направил Савонароле бреве – личное письмо, – в котором просил его прибыть в Рим и там «выявить волю Божью», разобравшись, кто прав, а кто виноват. Но друзья предупредили фра Джироламо: если он отправится к папе, его намерены или убить по дороге, или же сразу по прибытии заточить в мрачный замок Святого Ангела. Савонарола сказался больным и не поехал.

17 февраля 1496 года он произнес одну из самых горячих своих проповедей, еще более страстно бичевавшую священнослужителей и еще беспощаднее осуждавшую их пороки. И хотя имя Александра в ней не было прямо названо, но имеющий уши, да слышит. Во Флоренции стали ждать ответного шага папы. Он оказался совершенно неожиданным: по совету некоторых прелатов, считавших, что подачка заткнет любой рот, Александр предложил Савонароле кардинальскую шапку и должность епископа Флоренции. Хитрость была шита белыми нитками. Фра Джироламо, к великому удовольствию своих сторонников, публично ответил папе: «Я не стремлюсь ни к шляпе кардинала, ни к митре епископа. Боже, я жажду лишь того, что ты дал своим святым – мученичества. Прошу тебя, дай мне красную шляпу, но красную от крови!»

В это же время Савонарола начал переписку с Карлом VIII, в которой предлагал ему созвать Всекатолический собор для отстранения Александра от папского сана. Во Флоренции монастырем Санта-Кроче вскоре было получено очередное бреве папы с требованием доставить ему «некоего Джироламо», впавшего в ересь, и запретить ему читать проповеди. Фра

Джироламо проигнорировал запрет, а выдать его папе во Флоренции мог бы только безумец. Какими бы ни были сомнения в пророчествах монаха, отправить его в Рим никто не решился бы – его бы растерзали на куски. Любовь простых горожан к своему проповеднику, казалось, была непоколебимой.

Тогда Александр прибегнул к более испытанному и простому методу: он двинул на Флоренцию свои войска под командованием Орсини с целью овладеть городом, навести там порядок и восстановить у власти Пьеро. Наемники дошли до Перуджи, остановились там и стали дожидаться, когда к ним присоединится Болонья, согласившаяся принять участие в этом предприятии. Болонцы, однако, колебались. Орсини ждал, пока у него не вышли все деньги, а так как ни от Медичи, ни от папы он не получил ни дуката, то отбыл в Неаполь, а Пьеро возвратился в Рим, где предался таким кутежам, что они затмили даже кардинальские оргии.

Да, непростым выдался этот 1496 год! Господь словно насылал на город одно испытание за другим, видимо, стремясь убедиться в готовности его граждан к возвращению в истинную веру. Не успели улечься страхи перед нашествием Орсини, как Флоренцию посетила новая беда, на сей раз более грозная – «черная смерть». Во всех церквях усиленно молились, устраивали шествия, давали обеты – вроде бы пронесло, чума свирепствовала недолго и жертв унесла не так уж много. Братьев Филипепи бедствие обошло стороной, но, вернувшись с загородной виллы, они недосчитались некоторых соседей.

Хотя большинство горожан пока еще верили Савонароле, но сомнения в его всемогуществе уже были посеяны: что же происходит, действительно ли он наделен даром провидения и божественной силой, если что ни день, то новая напасть, а жизнь год от году становится все хуже? В октябре пришла новая беда: войска императора Максимилиана по договоренности с венецианцами вошли в Пизу, а флот Венеции блокировал устье Арно. Над Флоренцией нависла опасность голода, так как прекратился подвоз хлеба, а ее собственные владения были вконец разорены. Савонарола решил провести 30 октября крестный ход и молебствия о ниспослании чуда. Действительно, только вмешательство высшей силы могло теперь спасти город.

Сандро участвовал в этом шествии и вместе со всеми истово молился о спасении Флоренции. Они проходили по площадям и улицам, и те, кто уже потерял веру в силу флорентийского пророка, насмехались над ними и бросали в них грязью. «Беснующиеся» – так стали называть тех, кто, отвергая Савонаролу, желал возвращения к старым порядкам. Они

действовали теперь совершенно открыто, не боясь наказания, ибо их ряды с каждым днем росли. Более того, они уже проникли в Большой совет и Совет восьмидесяти и получили возможность выручать своих друзей из беды.

Сандро заметил эту перемену в городе, потому что Симоне теперь частенько стал возвращаться домой злым и порядочно потрепанным. Какой-то мудрец сказал, что человек может претерпеть многое, но только до тех пор, пока не трогают его имущество. Увеличилось число горожан, которые не желали мириться с вторжением в их дома непрошеных визитеров, которые утаскивали все, что, по их идиотскому мнению, являлось предметом тщеславия и гордыни. Поэтому иногда «плакс» довольно сильно поколачивали. Однако на сей раз небо вняло их мольбам: именно в этот день из-под Пизы явился гонец, сообщивший, что буря разметала вражеские корабли. Воспользовавшись этим, несколько торговых кораблей прорвались в устье Арно и сейчас находятся на пути к Флоренции.

Итак, чудо свершилось, но веры в фра Джироламо оно не добавило, не увеличило число его сторонников, не наставило на путь истинный неверующих. Более того, стало известно, что «беснующиеся» в пику Савонароле решили отпраздновать карнавал так, как праздновали его в старые добрые времена, и стали уже готовиться к этому. Раньше они и подумать об этом побоялись бы. Савонароле с большим трудом удалось не допустить такого святотатства – он организовал на главных улицах шествие своих «ангелов в белых одеждах». Однако то, что на прежних запретах многие желали поставить крест, становилось очевидным, а городские власти не могли, а может быть, уже и не желали пресекать эти поползновения в корне.

Изменение атмосферы в городе для Сандро совершенно неожиданно проявилось в том, что после долгого перерыва на виа Нуова появился заказчик. Ему нужна была не какая-нибудь мелкая поделка, а картина – пусть и малого формата – на религиозную тему. К Сандро он обратился не только потому, что тот был одним из немногих известных живописцев, оставшихся во Флоренции, но и потому, что его считали мастером по картинам такого содержания. Так, по крайней мере, выразился пришедший. Для успеха работы стоило, конечно, узнать, был ли он сторонником Савонаролы или нет, но выспрашивать гостя, заводить с ним религиозные диспуты было ни к чему: каждый старался держать свое мнение при себе – так, на всякий случай.

Сюжет, предложенный посетителем, был нейтральным, но при соответствующих обстоятельствах его можно было истолковать и как подтверждение не раз высказанного

Савонаролой мнения, что истинно прекрасным может быть только молящийся человек. Заказчик пожелал, чтобы Сандро написал ему «Последнее причастие святого Иеронима». Суть этого довольно редкого сюжета состояла в следующем: согласно преданию, святой Иероним, предчувствуя приближение смерти, встал со своего ложа, на котором до тех пор лежал неподвижно, чтобы на коленях принять последнее причастие. Он был настолько слаб, что двум монахам пришлось поддерживать его, тем не менее после причащения он попросил оставить его в такой позе для последней молитвы. Молился он очень долго, но вплоть до самого конца Господь поддерживал его силы. Здесь не было ничего, что бы выходило за рамки проповедей фра Джироламо. Оставалось только не перегнуть палку в исполнении заказа и придерживаться как можно большей простоты. Но с этой задачей Сандро считал возможным справиться. Он дал согласие.

Почти год он не заходил в свою мастерскую, и вот он снова здесь. Открыты ставни, пыль покрывает начатые и не законченные когда-то доски, краски засохли, пауки сосредоточенно ткут паутину по углам – картина полного запустения там, где когда-то кипела работа, раздавались шутки и смех. Нет учеников – мастерство живописца в нынешней Флоренции не в почете. И вот освобождено место для работы, кое-как убран мусор, выброшены банки и склянки с засохшими красками, растираются новые. Кисти сами просятся в руки, но, начав картину, он лишний раз убедился, как вредно было бросать работу. Руки не слушались, в голове царила путаница, такой ясный, казалось бы, сюжет не находил своего воплощения.

Впервые случилось с ним то, чего не бывало раньше: ему, некогда писавшему сразу, «из головы», пришлось испортить несколько досок, чтобы в конце концов получилось то, что мало-мальски удовлетворило его. Поэтому некогда существовало несколько вариантов «Святого Иеронима». Оставшийся анонимным современник, видевший эти картины, назвал их «странными». Возможно, он сравнивал их с прежними работами Сандро. В этом случае они действительно могли показаться странными, ибо, стремясь к простоте, Сандро изгнал с полотна все, что можно было бы расценить как «предметы тщеславия». Действие, если так можно назвать застывшие, как изваяния, фигуры, разворачивается в сплетенной из тростника хижине, где стоит лишь ложе, прикрытое овчиной. Над ним распятие и три пальмовых ветви – символы Христа и вечной жизни. Простоты Сандро достиг, но вот превратить убогое в прекрасное ему не удалось, а ведь он стремился именно к этому. Иероним, творящий молитву, подчеркнуто некрасив – фигура его непропорциональна,

лысая голова непомерно велика, божественной красоты молящегося человека, о которой говорил фра Джироламо, нет и в помине. Остался ли заказчик доволен, неизвестно, но претензий к этой картине никто не предъявлял.

«Чудо», совершенное Савонаролой, подняло его несколько пошатнувшийся авторитет, и флорентийцы радостно восприняли его отказ последовать очередному требованию папы – покинуть Флоренцию и обосноваться в каком-нибудь монастыре. Но это не значило, что число противников фра Джироламо уменьшилось. Прежде всего против него копили злобу «жирные» – зажиточные граждане; среди членов Большого совета росло число тех, кто стремился избавиться от новой тирании.

Александр, потерпев неудачу в попытках заткнуть рот неистовому проповеднику, этому, по его выражению, «чересчур болтливому монаху», сделал ставку на флорентийскую Синьорию, чтобы ее руками расправиться с Савонаролой. Очередная смена ее состава вселяла в папу некоторые надежды, однако гонфалоньером стал Франческо Валори – сторонник фра Джироламо и один из организаторов штурма дворца Медичи. Свою деятельность он начал с того, что добился изгнания из Флоренции монахов-францисканцев, упорных противников доминиканца Савонаролы. Он заявил, что город и впредь будет следовать избранным путем: смирение, порядочность и справедливость для всех без исключения. Опираясь на поддержку властей, Савонарола решил устроить грандиозное зрелище – всеобщее покаяние и молебствие об отпущении грехов. Флоренция должна была избавиться от прежней скверны и вступить в царство Божие.

Все это масштабное предприятие было назначено на время карнавала, и весь период после Рождества 1496 года был посвящен подготовке к нему. Время было выбрано не случайно: именно карнавал во Флоренции отличался наибольшей распущенностью, прославлением Бахуса и Венеры, обжорством и пьяными оргиями. В ночь на вторник на площади Синьории обычно сооружались огромные костры из ненужной рухляди, вокруг которых всю ночь напролет плясали и пели горожане. Это веселье обычно кончалось пьяными побоищами, в которых многие, в основном молодые люди, получали не только синяки и шишки, но и более серьезные увечья. В предыдущий карнавал противники Савонаролы пытались восстановить эту традицию, но фра Джироламо удалось воспрепятствовать этому. Если уж народ так истосковался по зрелищам, то он получит их, но такие, которые не оскорбляют, а прославляют Бога! Костер будет, однако в нем будут гореть все еще остающиеся в городе предметы

роскоши. Танцы тоже будут, но это будут благочестивые хороводы «ангелов в белых одеждах». Будут и песни, прославляющие Господа, и сам Савонарола сочинил для этого соответствующие канцоны.

Симоне теперь целыми днями пропадал в городе вместе с другими «плаксами». У него неожиданно появилась масса дел: именно они должны были убедить горожан в необходимости всенародного покаяния и очищения от грехов. Он возвращался поздно вечером, почти перед самым закрытием городских ворот, нередко в синяках и злой, будто сам дьявол, ибо похоже было, что не все горожане готовы признать греховность своей прежней жизни – а ведь покаяние должно быть именно всеобщим. «Плаксы» обходили все без исключения дома и без лишних объяснений забирали оттуда карты, игральные кости, парики, карнавальные костюмы, косметику, шахматы, мячи, музыкальные инструменты, маски, щипцы для завивки волос, броши, зеркала, картины, скульптуры, книги и все остальное, что, на их взгляд, можно было отнести к «предметам тщеславия». Все это под пение молитв они стаскивали на площадь Синьории и сваливали там в кучу.

Только теперь Сандро понял, куда так таинственно исчезли с его полок книги Боккаччо, Пульчи, Петрарки. Слава Богу, они хоть оставили нетронутым Данте! Он понимал, что очень скоро «плаксы» доберутся и до его мастерской. Странно, что они до сих пор не трогали его: ведь Симоне не раз намекал или говорил открыто, что в их среде его по-прежнему считают сторонником Медичи и не слишком ему доверяют. Они, безусловно, следят за ним. Зачем? Он ведь и сам готов ради спасения своей души добровольно отречься от всего, что ему было дорого в прошлом. Может быть, его ошибка в том, что он не говорит об этом вслух, но ведь Господу не нужны слова.

В некоторых домах «ангелов в белых одеждах», когда они требовали выдачи им «предметов тщеславия», встречали кулаками и палками. Пришлось придать им в помощь солдат городской стражи, которые охраняли блюстителей нравов и препровождали их обидчиков в тюрьму. Некоторые же, проникшись страхом перед небесной карой или земным судом, добровольно везли и тащили на площадь Синьории то, что, по их разумению, могло стать помехой для вхождения в рай. И Сандро решился последовать их примеру. Из тайников старого дома он извлек еще хранившиеся там после проведенной им чистки картины и рисунки, а также подаренные его прежними друзьями рукописи, которые теперь, безусловно, могли считаться греховными и которые могли доставить ему неприятности, когда

он предстанет перед грозным небесным судьей.

Что было у него в мыслях в эти часы, когда он в последний раз рассматривал все то, что связывало его с прошлой жизнью и теперь станет ничем, золой, прахом? Что двигало им в эти страшные часы – желание освободиться, наконец, от прежних грехов? Страх перед тем, что бдительные стражи морали обнаружат у него доказательства прежних привязанностей? А может быть, то и другое вместе? Возможно, Сандро убеждал себя, что эта его жертва действительно спасет родной город от бед, как некогда он убеждал себя в том же, отправляясь в Рим расписывать Сикстину. Может быть, он действительно думал, что все то, что сейчас лежало перед ним бесформенной грудой, было всего-навсего дьявольским искушением, которому он не мог противостоять. Как бы то ни было, решительный шаг был сделан – осталось погрузить все это на тележку и отвезти на площадь Синьории.

Он был не одинок: из всех улиц и переулков, выходящих на площадь, выливались людские ручейки – горожане везли, волокли, несли все то, что, по их разумению, тешило дьявола и мешало им войти в Царство Небесное. Все это сбрасывалось на площади, и «плаксы» бдительно охраняли собранное от возможных покушений пока еще не раскаявшихся сограждан. Сандро, освободившись от груза, обошел всю площадь и увидел несколько своих картин, в том числе и одну Мадонну – видимо, город уже перестал нуждаться в ее высоком заступничестве. Остальные были из тех картин, которые он и его ученики написали во времена Великолепного, когда богатые семейства охватило поветрие украшать свои дома изображениями языческих богов и богинь. Эти картины теперь были обречены, спасти их никто не мог. Но все-таки не их искал он, до боли, до слез напрягая свои глаза. Интересно, добрались ли «плаксы» до виллы Пьерфранческо? Или же тот надежно припрятал те две его картины, которые все время не уходят у него из памяти? Странное все-таки существо человек! Вот и он, совершивший когда-то непростительный грех, шарит сейчас по этим грудам предметов роскоши и боится увидеть, что «Весна» и «Венера» лежат где-то здесь и по ним ступают грязные башмаки толпы.

Вернувшись домой, он нашел свою мастерскую совершенно опустошенной: в его отсутствие Симоне и его друзья, видимо, решили избавить его от неприятных трудов и основательно поработали. Они выгребли все подчистую, не особенно стараясь разобраться, что греховно, а что нет. Симоне так старался спасти своего брата! Утащили даже кисти, сочтя их орудием дьявола. Не решились тронуть только его рисунки к «Комедии» Данте – здесь

сыграло роль то, что в глазах Симоне эта поэма было чем-то боговдохновенным, вроде Библии. Вот и все, что осталось от его многолетних трудов. Поздно уже начинать сначала, да и что ему теперь нужно? Теперь он действительно освободился от всех грехов. Остались только те две картины – может быть, послать за ними Симоне или сходить самому? Но они ведь теперь не его собственность. Лоренцо возьмет весь грех на себя. Он не хотел их писать – его уговорили, почти что заставили. Они не его, он отрекся от них!

Симоне возвратился домой поздно ночью. Видимо, он опасался, что брат не похвалит его за содеянное, и давал ему возможность остыть. Но Сандро воздержался от каких-либо упреков – да и в чем он мог его упрекать, если собственными руками уничтожил свои творения? Брат был возбужден; видя, что Сандро не собирается корить его, он выплеснул свое возмущение: подумать только – находятся люди, которые готовы пожертвовать всем, чтобы спасти ту нечисть, что собрана на площади. Оказывается, один венецианский купец предлагал Синьории двадцать тысяч дукатов за то, что было собрано ими с таким тщанием и трудом и подлежало очистительному сожжению, – не иначе надеялся перепродать все это за гораздо большую сумму. Были и другие, подобные этому дельцу, что сулили большие деньги, не заботясь о своей душе. Даже среди флорентийцев находились такие. Но Синьория проявила мудрость, она твердо заявила всем этим корыстолюбцам, что не допустит, чтобы эта нечисть расползалась по свету. Просьбы были отклонены со всей решимостью.

Симоне теперь ломал голову, не были ли эти просители слугами дьявола, пытавшимися соблазнить Синьорию деньгами, и не стоит ли обойтись с ними по всей строгости. Эта мысль всецело занимала его, и если бы Сандро начал говорить с ним о своей мастерской, он тоже мог бы угодить в пособники Сатаны. Позднее свое возвращение Симоне объяснял тем, что весь вечер они были заняты сооружением на площади огромного костра. Захлебываясь от восторга, он хвалился пришедшей ему в голову удачной мыслью соорудить из всего этого хлама, собранного по городу и в его окрестностях, пирамиду с семью ступенями, символизирующими семь смертных грехов; эта идея была одобрена самим Савонаролой. В основание пирамиды они положили маски и карнавальные одеяния, а сверху книги всех этих язычников – Анакреона, Аристофана, Овидия, Лукиана.

Было видно, что одно это перечисление доставляет Симоне удовольствие, и он постарался запомнить имена тех, кто подлежал сожжению; ведь за всю жизнь, насколько помнил

Сандро, этот неудачливый купец не прочитал ни одного из тех авторов, о чьей греховности судил с такой уверенностью. Он с грустью подумал, что в этой пирамиде ожидают своей печальной участи Боккаччо, которого читал его отец, книги, подаренные ему философами из Платоновской академии, Полициано, Пульчи. Поверх книг подручные доминиканца бросили благовония, пудру, различные игры, музыкальные инструменты. И уже потом на все это легли картины, рисунки, гравюры.

У Сандро чуть было не сорвался с языка вопрос, не видел ли Симоне написанные им картины, изображающие Весну и Венеру, но он вовремя удержался. Чего доброго, Симоне стал бы расспрашивать, для кого он их написал и где они могут находиться. Он ничего не сказал, а ведь всего несколько слов могли бы избавить его от самого великого греха. Видимо, что-то более сильное, чем страх за собственную душу, удержало его от раскрытия этой тайны. Симоне чуть ли не до утра хвастал своим подвигом во имя спасения истинной веры и расхваливал мудрость флорентийского пророка, но Сандро давно уже перестал его слушать: собственные мысли обуревали его, и он вдруг с ужасом осознал, что сомневается в непогрешимости Савонаролы и в мудрости его решения придать огню творения рук человеческих. Кто докажет ему, что все совершенное им – это всего лишь утеха дьявола?

Он не мог, однако, не прийти на площадь Синьории в ночь сожжения «игрушек суеты», как окрестил их Савонарола. Да, «плаксы» постарались на славу, и зрелище обещало быть действительно грандиозным и поучительным. Гора отобранных у граждан вещей была величиной с приличный дом, а венчала ее фигура с козлиными ногами и развевающейся по ветру бородой из мочала. Скорее всего, это был символ Сатаны, но, возможно, неистовый проповедник именно так представлял себе языческих богов. Напрасно старался Сандро рассмотреть в этой пирамиде хотя бы одно из своих творений: все было перемешано, разбито, испоганено. С заунывными песнопениями, никак не подходящими для проводов карнавала, к костру приблизились избранные «плаксы», чтобы зажечь его. Огонь долго не хотел разгораться, но потом груда вещей как-то разом вспыхнула, и площадь наполнилась треском всепожирающего пламени. Обычно вокруг таких костров – а Сандро перевидал их на своем веку немало – пели и плясали, водили хороводы, стремясь нагуляться на время Великого поста, но сейчас над площадью царило тягостное молчание. «Плаксы» собрались было устроить хоровод, но вскоре бросили эту затею, так как никто из стоявших рядом зрителей не присоединился к ним, не разделил их наигранную радость. Люди

разошлись с площади задолго до того, как погас этот чудовищный костер.

Сандро прислушивался к разговорам горожан, но не услышал ни одного слова одобрения затеи Савонаролы. Многие сокрушались о том, что погибли творения, бывшие украшением Флоренции, и ничего не было предпринято для их спасения. Были и такие, которые осуждали Савонаролу за то, что он пустил на ветер сокровища, за которые город мог бы выручить немало денег. В душах рачительных флорентийцев такой поступок никак не мог вызвать одобрения. Самоочищение, которого требовал наместник Христа во Флоренции, свершилось, однако, вопреки его ожиданиям, оно принесло не умиротворение, а недовольство. В разговорах все чаще стало всплывать имя Великолепного, который конечно же не допустил бы бесчестия Флоренции. Савонарола совершил одну из своих крупнейших ошибок – он покусился на красоту, и это рано или поздно должно было принести отмщение.

В городе знали, что Пьеро находится в Сиене, и ждали, что он может предпринять. И хотя Сандро не испытывал абсолютно никакой симпатии к сыну Лоренцо, но и он ловил себя на мысли, что желает, чтобы он пришел во Флоренцию и положил конец этому затянувшемуся кошмару. В ночь на 26 апреля 1497 года Пьеро с отрядом в полторы тысячи лучников и восьмьюстами конниками покинул Сиену и под покровом темноты двинулся к Флоренции. Он рассчитывал на внезапность своего нападения, но случилось так, что некий крестьянин заметил войско, двигавшееся в темноте к городским воротам, вскочил на коня и поспешил в город, чтобы предупредить власти. Тотчас же были подняты все мосты, а на городских стенах расставлены лучники. Неожиданное нападение Пьеро сорвалось, и ему оставалось только разместить свое войско под стенами города и послать Синьории требование открыть ворота. Но они остались закрытыми. Даже новый гонфалоньер Бернардо дель Неро, который отнюдь не был сторонником Савонаролы, не решился это сделать. Ко всему прочему, вдруг начался проливной дождь, который продолжался весь день. Казалось, солнце померкло, и, видя в этом знамение Божие, никто не решился выйти на улицу, чтобы потребовать возвращения Пьеро. Наступила ночь, а ливень все продолжался, унося с потоками воды надежды на восстание флорентийцев в пользу отпрыска Великолепного. В отчаянии Пьеро приказал трубить отступление. Савонарола мог торжествовать.

Но ликовать было рано. Симоне все это время пребывал в большом смятении, прекрасно понимая, что ему несдобровать,

если пророк потерпит поражение и в город возвратятся Медичи. В ночь на 5 мая он пришел домой сам не свой и поведал брату, что они только сегодня узнали о намерении группы заговорщиков лишить их учителя жизни завтра в соборе, когда Савонарола будет читать проповедь. Он предложил Сандро отправиться вместе с ним в собор, чтобы защитить фра Джироламо от покушения. Но Боттичелли отказался. Нет, он ни во что не собирается вмешиваться – пусть все идет своим чередом, а у Савонаролы и без него хватит защитников. Сандро удерживал не страх, а желание, чтобы все наконец оставили его в покое.

На следующий день Симоне возвратился домой изрядно потрепанный, в разорванной одежде, но счастливый до предела: еще бы, им удалось спасти своего проповедника! Слухи о заговоре оказались правдой. В соборе несколько молодых людей во время проповеди бросились на Савонаролу, но их остановили находившиеся в толпе «плаксы». Возникла потасовка, во время которой досталось и тем, и другим. Пока шла драка, Савонаролу, так и не закончившего проповедь, увели в Сан-Марко, где он мог считать себя в безопасности. Слушая этот рассказ брата, Сандро вспоминал подобное этому событие, во время которого погиб Джулиано Медичи. Но как они отличались друг от друга! Тогда за Лоренцо вступился весь город, а сейчас флорентийцы, кроме кучки «плакс», проявили полное безразличие. Нет, тот костер на площади Синьории еще дорого обойдется Савонароле, и этого пророк явно не предвидел. Да и как он мог предвидеть это, не зная нрава флорентийцев – он ведь был чужим в этом городе! Развязка быстро приближалась; Сандро чувствовал это по той напряженности, которая сейчас царила во Флоренции.

Неудача Пьеро вызвала еще более яростные нападки Савонаролы на папу, которого все считали вдохновителем нападения. Не выдержав поношений, Александр VI решил нанести ответный удар и 13 мая продиктовал своему секретарю бреве, в котором проклял «болтливого монаха». Пять копий этого послания было послано во Флоренцию, где его текст был зачитан монахам, собравшимся в пяти наиболее значительных флорентийских церквях. При похоронном глухом звоне колоколов приоры церквей зачитали папский эдикт:

«Посему приказываем мы вам при всех церковных праздниках и в присутствии народа оповещать, что указанный монах Джироламо Савонарола исключается из общины верующих и каждым должен рассматриваться как исключенный из общины, потому что он не послушался наших предостережений и приказов. Далее, каждый должен воздержаться от общения с ним как с отлученным от церкви и подозреваемым в ереси, в случае

если он не желает подвергнуться такому же наказанию».

В этом месте собравшиеся монахи перевернули вниз фитилями горящие свечи в знак того, что Савонарола навечно отлучен от святой Церкви. На следующий день папский указ был вывешен на порталах всех городских церквей. Во всех кварталах Флоренции народ толпился вокруг школяров, которые переводили папский эдикт с латыни. Испуганные жители с трудом понимали, что человек, которого они еще совсем недавно называли «святым монахом» и «пророком Бога», к чьему голосу они прислушивались, вдруг оказался еретиком, учеником Сатаны, подвергшимся церковному проклятию. Проповедник был лишен самого сильного своего оружия: папа запретил ему читать проповеди.

Среди горожан возникли сомнения – а так ли уж прав избранный ими пророк? Хорошо, пусть папа ведет распущенный образ жизни, в котором перещеголял, пожалуй, всех своих предшественников. Но, что бы там ни говорили, он по-прежнему остается блюстителем веры и ее чистоты. Наверно, все-таки он лучше их, простых прихожан, знает, что в словах фра Джироламо истина, а что ересь. «Плаксы» заметно приутихли, и Симоне в порыве откровенности рассказывал брату о том, что их ряды тают с каждым днем. Папское проклятие оказало свое воздействие. Ведь приближался 1500 год, когда по всем признакам наступит конец света, и многим становилось не по себе, когда они подумают об этой дате. А вдруг они действительно поддались дьявольскому искушению и приняли Сатану за святого? Симоне удивлялся: как это можно так быстро менять свою веру? Нет, фра Джироламо еще докажет свою правоту, чудо еще свершится! Но все-таки чувствовалось, что и Симоне стал колебаться. Сандро, хорошо знавший своих сограждан, предвидел, что никакого чуда не будет.

Сторонники Савонаролы тем не менее не собирались сдаваться: в городе начали собирать подписи под петицией, требовавшей от городских властей опротестовать папское решение. Дошла очередь и до дома братьев Боттичелли. Петицию принес Симоне и, зачитав ее брату, попросил его поставить подпись на приложенных к ней листах. Конечно, не нужно было большого ума, чтобы понять: петиция вряд ли что изменит в папском решении, зато поможет выявить противников монаха. Сандро пробежал взглядом столбцы подписей. Среди них были и те, кто, как он твердо знал, никогда не были в числе сторонников фра Джироламо. Как же должен поступить он? К удивлению Симоне, он попросил время, чтобы все хорошенько обдумать. Что тут думать? Разве он не на их стороне? Сандро промолчал. Когда

через несколько часов Симоне пришел к брату, чтобы забрать петицию и идти с ней дальше, Сандро все еще сидел за столом. Петиция лежала перед ним, но подписи на ней не было.

Конечно, не папское проклятие остановило руку живописца. Сожжение картин оставило глубокий след в его душе, но дело было не только в этом. Он увидел, что надежды, которые горожане связывали с Савонаролой, рассеялись словно дым. Стало хуже, чем было при Медичи: Флоренцию окружали враги, в самом городе царила атмосфера доносительства, подозрительности и вражды. Если это было царство Божие, то лучше уж возвратиться к прежнему состоянию. Правление Савонаролы было обречено, оно должно пасть, а сам проповедник – исчезнуть. Сомнений больше не оставалось: наместнику Христа во Флоренции никто не верил. В памяти снова всплыли насмешки Лоренцо над монахами – похоже, он справедливо обвинял их в лживости. Вспомнились и слова, сказанные по поводу самого Савонаролы: из своих слов он совьет для себя веревку.

Симоне, конечно, не было известно, что Сандро тайно продолжал встречаться с Лоренцо ди Пьерфранческо и другими бывшими друзьями – одним словом, поддерживал связи, которые теперь становились крайне опасными. Чувствуя, что он теряет власть, Савонарола с еще большим подозрением относился к тем, кто мог восстановить власть Медичи. В июле 1497 года к власти в городе пришла Синьория, сплошь состоявшая из сторонников монаха, и Савонарола решил действовать. Вскоре были арестованы Бернардо дель Неро, Лоренцо Торнабуони и еще три человека, подозреваемые в связях с Пьеро Медичи и организации заговора против республики. Предупрежденный вовремя Лоренцо бежал из Флоренции.

Монах вновь перешел в наступление, чувствуя, что это, возможно, последний шанс удержать власть. За возрастающую нелюбовь населения к своему бывшему кумиру должны были ответить эти пятеро. 4 августа по настоянию Савонаролы они были ночью обезглавлены во дворе городской тюрьмы. Всех их Боттичелли хорошо знал, а Торнабуони даже был его другом. Может быть, они и были виновны перед Синьорией, но Сандро не мог смириться с их смертью. Было ясно, что вместо царства Божьего во Флоренции началось царство террора. Город затих в тревожном ожидании: кто следующий? Вновь началась кампания за то, чтобы папа Александр снял с Савонаролы свое проклятие. Но безуспешно – папа упорствовал. Казни продолжались; теперь было достаточно малейшего подозрения в связях с Медичи, и человек был обречен. Каждый день теперь Сандро встречал с тревогой: он мог стать очередной жертвой: ведь теперь к его

прежним прегрешениям прибавился и отказ подписать петицию в защиту доминиканца. Но властям, видимо, пока что было не до него. Они спешили расправиться с неугодными прежде, чем сменится состав Синьории, ибо на очередную победу сторонники Савонаролы мало рассчитывали.

Это было тяжелое время для Сандро. Казалось, ничто не могло спасти его: в какие-либо отречения сейчас не верили, раскаяния помогали мало. Вся осень прошла в тревожном ожидании, но ничего не случилось: по каким-то неведомым причинам власти оставили его в покое. Зато донимал сосед-сапожник – напившись, он чуть не каждый день являлся под окна Боттичелли и поднимал крик, обзывая его еретиком и христопродавцем. Теряя терпение, художник отвечал ругательствами, а однажды, на радость собравшимся зевакам, выскочил на улицу и сцепился с обидчиком. Все кончилось тем, что в феврале 1498 года их с сапожником пригласили в городскую управу и заставили подписать обязательство о «взаимном отказе от ссор». Было обидно, что его поставили на одну доску с никчемным пьяницей, но он и сам виноват – к чему обращать внимание на брань? Мало ли ее он слышал и услышит еще?

Тем временем положение Флоренции ухудшалось и противники доминиканца усиливали свое влияние. Савонароле нужно было что-то предпринимать. До Рождества он размышлял и не произносил проповедей. То, что он обречен на молчание, было для него истинным мучением. Он попытался обратиться к папе и уговорить снять с него проклятие, заверяя в своей преданности: «Святой отец, целую ноги вашему святейшеству, подобно ребенку, который озабочен тем, что вызвал гнев своего отца. Послушно повергаюсь к вашим стопам и прошу вас услышать мою мольбу не лишать меня долее вашего объятия. Я взываю к вашему святейшеству – не отделяйте меня от источника вашей доброты».

Письмо осталось без ответа. Проходили недели, но Савонарола все так же был отлучен от Церкви. Его отчаяние перерастало в гнев, который вырвался наружу на Рождество. Сбросив маску покорности и послушания, он бросил папе открытый вызов: прочитал три мессы, возглавил процессию братьев по ордену и прочитал в монастырской церкви проповедь. Папа по-прежнему молчал, что прибавило фра Джироламо смелости. В феврале он снова стоял на кафедре, держа в руках распятие. Теперь он отбросил прочь все сомнения. Пламенными словами он оправдывал свое непослушание, объявил свое отлучение недействительным и призвал священников и мирян во всем мире восстать против «вавилонской блудницы» – Римской

Церкви.

Можно сказать, что его охватило своего рода помешательство. Он понимал, что подписывает свой смертный приговор, но даже смерть для него была лучше молчания. Савонарола жаждал мученичества. Он чувствовал, что ему скоро заткнут рот, и выкрикивал свои проклятия: «Я свидетельствую именем Бога, что Александр не является папой и не может рассматриваться как таковой. Я заявляю, что он не является также христианином и не верит в Бога и что это превосходит границы всякого неверия». И после краткой паузы произнес громовым голосом непоправимые слова: «И поэтому провозглашаю ему, чьи приказы противоречат любви к ближнему, представляющей одну из заповедей: *anathema sit.»* (– да будет проклят!). Толпа затаила дыхание – монах отлучил папу от Церкви!

Савонарола знал в этот момент, что он переступил все границы. Он попытался обосновать свое проклятие, приводя в поддержку Священное Писание, Отцов Церкви и даже самого Господа, говорящего его недостойными устами. Но было поздно. Он, как и предсказывал ему Лоренцо Медичи, уже свил себе веревку собственными словами. Еще не закончилась его проповедь, а народ стал в страхе покидать церковь. На этот раз Александр VI отреагировал немедленно. Особый курьер привез властям республики приказ заставить монаха замолчать, иначе папа проклянет весь город. Воспоминания о проклятии Сикста прибавили Синьории смелости, и 17 марта она сообщила Савонароле, что он не имеет права читать свои проповеди «нигде в этом городе».

Город отказал своему бывшему повелителю в послушании. Тот предложил во время карнавала устроить еще одно сожжение «предметов тщеславия», но горожане проигнорировали его обращение. На Новый год, отмечавшийся 25 марта, как и в прежние времена были устроены состязания певцов и пляски вокруг костров. «Плаксы» окончательно покинули улицы города. Появляться в белых рубахах во Флоренции стало опасно – городская стража теперь не оказывала никакой помощи «ангелам», и горожане с явным удовольствием мстили им за все прежние обиды. Симоне тоже предпочитал сидеть дома. Владычество приора Сан-Марко подходило к концу. Для Сандро, пережившего на своем веку столько бунтов и мятежей, это было ясно.

Синьория, пришедшая к власти в марте 1498 года и запретившая Савонароле читать проповеди, состояла из противников доминиканца и не скрывала этого. Город затаился в ожидании – развязка приближалась. К угрозе Рима наложить на

Флоренцию интердикт отнеслись со всей серьезностью. Где-то за закрытыми дверями дворцов и монастырей решалась судьба Флоренции. Однако монаха пока еще не решались отдать в руки папы; кто знает, сколько у него осталось сторонников в городе? А папский суд не сулил Савонароле ничего хорошего. 18 марта фра Джироламо произнес свою последнюю проповедь. В ней он призывал Францию, Испанию, Англию и Венгрию объединить свои усилия, чтобы сбросить папу. После этого он снова замолчал.

Но умиротворения не наступило. Вскоре Симоне принес новость: некий францисканский монах предложил Савонароле пройти испытание огнем – вместе пройти по дорожке, проложенной между двумя огромными кострами. Будет прав тот, кто не пострадает от огня. Симоне ликовал – он не сомневался, что приор примет этот вызов и выйдет из испытания победителем. Он покажет всем этим неверующим, что он способен сотворить чудо и что Бог на его стороне. Он ликовал слишком рано: Савонарола наотрез отказался от этой процедуры. Вместо него о своей готовности подвергнуться испытанию заявил другой доминиканский монах, но на этот раз отказался францисканец. Спор разгорался, страсти в городе накалялись. Наконец Савонарола и францисканец, бросивший вызов, удовлетворились тем, что вместо них испытанию подвергнутся их заместители. Городские власти назначили процедуру на 8 апреля 1498 года.

Рано утром на площади Синьории стал собираться народ. Многие пришли с корзинками, в которых на случай долгого ожидания запасли завтрак, мужчины несли бурдюки вина, чтобы утолять жажду. Был здесь и Сандро, увидевший посреди площади две громадные кучи хвороста, облитые смолой. Между ними ущельем в горах зиял узкий проход, через который и должны были пройти испытуемые. Наконец на лоджии деи Ланци появился Савонарола в окружении двухсот доминиканцев, а другую сторону лоджии оккупировали их оппоненты. Те, кому предстояло подвергнуться испытанию, молились. Францисканец дрожал так, что у него не попадал зуб на зуб. Ему, похоже, не слишком хотелось подвергаться опасности и он готов был отказаться от своего обета. Братья по ордену пришли ему на помощь: они сообщили членам Синьории, что их сотоварищ отказывается бежать между двумя кострами, поскольку на нем всего лишь белая рубаха, а на доминиканце сутана, в которой может спрятаться дьявол, чтобы защитить своего сообщника от огня. К неудовольствию собравшихся, последовали долгие дебаты, в результате которых доминиканец также должен был

облачиться в белую рубаху. Когда городская стража хотела уже бросить факелы на груды хвороста, возникло новое осложнение: Савонарола потребовал, чтобы доминиканец нес перед собою Святые Дары. После чего францисканцы заявили, что они против того, чтобы давать доминиканцу такое преимущество.

Как истинные итальянцы, стороны начали осыпать друг друга ругательствами, но их пререкания вдруг были заглушены страшным раскатом грома. Хлынул ливень, хворост моментально намок. Этого было вполне достаточно, чтобы вызвать гнев собравшихся: испытания были отложены. Толпа стала расходиться, на чем свет стоит ругая «проклятого монаха», который своими требованиями лишил их такого зрелища. Но поскольку дождь скоро кончился, все повернули обратно на площадь. Собравшиеся были раздражены, хватало одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. И это случилось. В три часа пополудни доминиканцы вышли из лоджии и отправились в монастырь, чтобы поспеть к вечерней службе. Кто-то крикнул из толпы: «Убирайтесь, чтобы вы все пропадом пропали! Трусы!» Кто-то бросил камень, и монахи в страхе побежали к монастырю Сан-Марко. Толпа бросилась их преследовать. Двое монахов были сбиты с ног и остались лежать на площади, обливаясь кровью. Другие же успели добежать до монастыря и захлопнуть дверь перед носом преследователей. Это еще больше раззадорило толпу: «Мы вас все равно достанем!» Из ближайших дворов были принесены снопы соломы, которые стали складывать у ворот. К стенам приставили лестницы. Монахи, забравшись на крышу, начали метать в нападающих черепицу.

С наступлением темноты начался настоящий штурм монастыря. Защищавший Савонаролу Франческо Валори выбрался из окна монастыря, чтобы добиться от Синьории мер для защиты доминиканцев. Но он был пойман на улице и без долгих разговоров изрублен на куски. Толпа зверела на глазах. Штурм монастыря продолжался до утра, причем в толчее погибло около сотни человек. Наконец осаждающие смогли перебраться через высокие стены и ворваться в кельи монахов, которые отбивались распятиями и горящими факелами. Люди, чья одежда и волосы были объяты огнем, вопя, носились по коридорам монастыря. Несколько человек было убито прямо под фресками фра Анджелико. Только немногим монахам удалось спуститься по веревкам из окон и бежать, некоторые ушли через потайной ход. Наконец нападавшие разрушили двери монастырской церкви и бросились на Савонаролу, который молился у алтаря. Но внезапно им было оказано сопротивление: послушник-немец по имени Генрих укрепил свою аркебузу на кафедре и повел

прицельный огонь, распевая при этом псалмы. В конце концов последний защитник фра Джироламо был убит: метко брошенный кем-то камень размозжил ему голову.

Наконец Савонаролу схватили и потащили на площадь, осыпая ударами. Разъяренная толпа сорвала с него сутану, в него плевали, разбили ему в кровь лицо. Он упал на колени. Его наверняка бы тут же и убили, но неожиданно появился конный отряд городской стражи. Капитан, расшвыряв толпу, пробился к уже лежащему на земле монаху, за шиворот поднял его на ноги и, подгоняя шпагой, потащил к палаццо Веккьо. Так начались те мучения, которых Савонарола так страстно жаждал. Было все это в Вербное воскресенье 1498 года.

Савонаролу заключили в башню. После короткого сна на полу своей камеры он был грубо разбужен пинком и предстал перед своими судьями. Когда он отказался признать, что все его видения внушены дьяволом, ему связали руки за спиной и с помощью особого приспособления вздернули к потолку камеры. Началась пытка «страппада», когда пытаемого сначала поднимают вверх, а потом резко опускают на пол. После третьего подъема ему вывихнули руки и он потерял сознание. Его перетащили в камеру, где он отбывал заключение. На следующий день его снова пытали – на этот раз он был подвешен над жаровней, угли которой жгли ему ноги. Но и теперь он ни в чем не признался.

Допросы Савонаролы вызвали в городе большой интерес. На площади перед Синьорией все время толпился народ, ожидая появления писца или одного из подручных палача, которые под большим секретом рассказывали своим знакомым, что теперь делают с монахом и что он сказал. Сандро также часто приходил на площадь. Ему обязательно нужно было получить ответ на мучивший его вопрос: еретик Савонарола или нет? Ведь от этого зависела вся его дальнейшая жизнь! Не только он один находился в таком положении – ведь могло случиться так, что флорентийцы поклонялись не тому Богу. Но пока точных сведений никто дать не мог. На площади говорили о том, что папа прислал специальное письмо, в котором сообщал, что готов простить флорентийцам такой тяжкий грех, как нападение на монастырь, при условии, что Флоренция выдаст Риму Савонаролу. Городские власти отказались это сделать: они разберутся сами!

То, что фра Джироламо не признавался в ереси – а это тотчас же стало известно в городе, – вызвало в народе колебания. Монах действительно вел себя как мученик, выдерживая самые невероятные пытки. Почти сойдя с ума от боли, Савонарола наконец сделал признания, но они оказались столь туманны, что не доказали со всей очевидностью его вину. Кроме того, вскоре он

собрался с силами и опроверг свои признания. Нотариус Кекконе, записывавший процесс, это опровержение не записал. Протокол допроса с признанием Савонаролы был обнародован, но в него теперь мало кто поверил. Тем более что Кекконе быстро повинился, что записал сказанное не полностью, и это очень быстро стало известно на площади.

Савонарола по-прежнему находился в камере, закованный в цепи, причинявшие ему страшные муки. Но еще большую боль ему, видимо, доставило то, что монахи из монастыря Сан-Марко отреклись от своего приора и объявили его еретиком. Кроме того, он и сам начал сомневаться, действительно ли его поступками руководил Бог. На пятый день второго допроса, когда его снова привязали за руки, чтобы поднять к потолку, он упал на колени перед своими палачами и попросил их прекратить пытку – он признается во всем. Кекконе сунул ему перо в руку, чтобы он подписал заготовленное признание. На площади шептались, что Савонарола предрек ему смерть через полгода – так и случилось, хотя не исключено, что это всего лишь легенда. После этого он подписал признание в ереси.

Тем временем вовсю шли переговоры с Римом относительно выдачи Савонаролы. Флоренция не уступала, и наконец стороны сошлись на том, что папа пришлет в город своих представителей. 20 мая во Флоренцию прибыли генерал ордена доминиканцев Джованни Турриано и монсеньор Ремолини, которые изъявили пожелание как можно скорее довести дело до конца. Фра Джироламо вновь предстал перед судьями и папскими послами, которые, даже не выслушав монаха, объявили его «еретиком, схизматиком и мошенником». Приговор гласил: смерть через повешение, затем сожжение трупа на костре. К такой же смерти были присуждены и два монаха из Сан-Марко, которых объявили его сообщниками.

Все три приговора были приведены в исполнение рано утром 23 мая 1498 года на площади Синьории. Был сооружен деревянный настил, ведущий от палаццо Веккьо к середине площади, где он завершался круглым помостом, под которым были сложены поленья, пропитанные маслом. Рядом с помостом установили огромный крест, к которому была прислонена лестница. Стоя на ней и готовя петли, палач к удовольствию собравшихся корчил страшные гримасы. Утром, когда еще только стало рассветать, к площади устремился народ. На этот раз настроение было совсем иным, чем в день несостоявшегося испытания огнем. У женщин не было корзин с завтраком, а мужчины на сей раз обошлись без бурдюков с вином. Все были одеты в черное и молча ждали. Некоторые опустились на колени

и молились, многие перебирали четки.

Савонарола и два его товарища по несчастью вышли из палаццо Веккьо и подошли к столу, за которым сидели судьи. До этого осужденных «деградировали», то есть сорвали с них сутаны и накинули белые рубахи, доходящие до пят. Нотариус прочитал смертный приговор, но Савонарола явно его не слушал. Его тело так болело от пыток, что он мечтал о скорейшем конце. Он посмотрел на небо. Было майское утро, точно такое же, как то, когда он восемь лет назад явился во Флоренцию со своей проповедью. Вслед за нотариусом поднялся монсеньор Ремолини, который объявил, что его святейшество по своей доброте отпускает трем монахам их грехи и тем самым «возвращает им первоначальную невинность и освобождает их от адского огня». Этим напутствием папа отправлял монахов на смерть. Звеня цепями, они направились к помосту в середине площади.

Когда Савонарола достиг верхней ступени лестницы, под помостом был зажжен огонь. Палач накинул ему веревку на шею. «Монах, теперь самое время сотворить чудо!» – рявкнул он и столкнул Савонаролу с лестницы. Корчившееся в судорогах тело человека, который еще совсем недавно господствовал над Флоренцией, раскачивалось взад и вперед. Затем разгоревшийся огонь начал лизать его голые ноги, поднялся по рубахе и окутал тело огненным саваном. И тут совершилось нечто неожиданное. Народ увидел высоко поднятую руку Савонаролы – все выглядело так, словно он благословлял Флоренцию. Люди начали испуганно креститься и в ужасе покидать площадь, шепча: «О Боже, мы убили святого!» Когда все закончилось, пепел трех монахов был брошен в Арно.

«Царство Божие» во Флоренции кончилось, но умиротворения не наступило. Слух о прощальном жесте Савонаролы полз по городу, порождал беспокойство. Ожидалось, что Господь еще прольет чашу своего гнева на город, и уже ни о какой счастливой жизни нечего было и мечтать. И к тому же страшный 1500 год был все ближе и ближе. Уже не оставалось времени, чтобы замолить свои грехи. Одна надежда на папу, добрые отношения с которым вроде бы были восстановлены. Поутихли и другие враги Флоренции, но надолго ли? Пьеро также, кажется, примирился со своей участью изгнанника и не делал никаких попыток восстановить свою власть.

Все говорило за то, что город может вернуться к прежней жизни, но это оказалось не так просто. Что-то сместилось в жизни и нравах Флоренции, спуталось, сбилось с некогда проторенного пути. Возвращения к золотым временам Лоренцо Великолепного уже не могло быть. Это понимали многие и задавали вопрос: куда

идти? Но ответа не было. Правление Савонаролы вконец разорило Флоренцию: большая часть мастерских закрылась, ибо поглощенные борьбой за спасение собственных и чужих душ ремесленники разучились работать. Банки прогорели. Купцы предпочли искать счастья в других городах и краях. Оставшимся в городе живописцам тоже пришлось несладко: страх перед обвинением в роскоши заставил горожан отказаться от украшения домов и семейных капелл. А где еще мог живописец заработать на жизнь? Очень редко какая-нибудь церковь давала заказ, но желающих получить его было столь много, что нечего было и думать, что на нем можно было заработать приличные деньги. Доминиканский монах с его проповедью бедности разорил некогда богатый город хуже, чем нашествие противника.

Все чаще люди вспоминали Великолепного: будь он жив, ни за что не допустил бы такого краха. Но Пьеро по-прежнему не признавали и не желали видеть в городе, а тем более допустить к власти. Ненависть была непреходящей и устойчивой, хотя, если разобраться по-честному, ничего плохого для Флоренции он не сделал. Его погубило то, что он искал помощи у чужеземцев и с их помощью собирался возвратить себе власть. Такого флорентийцы не прощали – они слишком любили свой город, и кто может упрекнуть их за это?

Глава одиннадцатая
Суд Божий и человеческий

Жизнь братьев Боттичелли становилась тяжелее с каждым днем. Обедневший и разоренный город не торопился раздавать заказы на картины, а многие еще находились под властью проповедей казненного монаха и опасались, как бы действительно не закрыть себе вход в Царство Небесное. Сбережений у Сандро не было – он и в лучшие времена никогда не откладывал деньги на черный день, – а загородный дом теперь нелегко было продать, ибо покупать его было некому и не на что. Он медленно ветшал, приходил в упадок, и хорошо еще, что удалось найти купца, ссудившего небольшую сумму под его залог. Не было даже картин, которые Сандро мог бы продать за бесценок – он собственноручно уничтожил их. Но гораздо хуже было то, что он растерял свое мастерство.

Три года, в течение которых он почти не прикасался к кистям, не прошли бесследно. И к тому же он твердо знал, что к прежней манере теперь не вернется – она не может никого удовлетворить. Нужно искать новую, а это не так просто, когда за плечами уже чуть ли не шесть десятков лет! Да и красоту все понимают по-разному. Для Савонаролы это был дух, для новомодных живописцев – тело. А искать все-таки придется, ведь не умирать же с голоду. Голову неотступно сверлила мысль: а стоит ли тратить последние деньги, чтобы вновь открывать мастерскую, набирать учеников, если он и сам сейчас не знает, что и как писать? Да и вообще, найдутся ли люди, которые изъявят желание учиться у него?

Город тем временем жил своими заботами, стремясь хотя бы в малых размерах восстановить свое прежнее великолепие и могущество. Постепенно начали устраивать балы, запрещенные при Савонароле. Прежней роскоши на них, правда, не было, да и откуда ей было взяться: ведь драгоценности и платья из дорогих материй были уничтожены или проданы при «наместнике Христа». Можно было ожидать, что скоро понадобятся и картины – ведь прежние запреты, хоть и нерешительно, начали отменяться. Может быть, возвращение к прежней жизни пошло бы гораздо быстрее, если бы не приближался страшный 1500 год.

Собирающиеся иногда в доме Боттичелли друзья Симоне рассуждали о том, что принесет городу этот год. По их мнению, он не сулил ничего хорошего, особенно при таком папе, как Александр VI. Всем известен предосудительный образ жизни его,

а особенно его незаконнорожденных детей – Чезаре и Лукреции Борджиа. Это отнюдь не тот праведник, который призван Богом спасти мир и человечество; истинного же спасителя они уничтожили собственными руками и еще жестоко поплатятся за это. Напрасно Сандро отказался подписать петицию в его защиту… Как будто что-нибудь от этого изменилось! Но окружение брата смотрит на него как на отступника. Оно озлоблено и вместе с тем испугано – теперь «плаксы» переживают то же, что пережили сторонники Медичи во время их разгулов, и боятся мести. Сейчас они говорят лишь о том, что Антихрист, которым они считают Александра, одержал верх, и злорадствуют по поводу того, что Флоренции придется заплатить за все свои грехи. В голове у Сандро сумбур: низвержение Савонаролы ясности не прибавило. Слухи о благословляющем жесте, сделанном сжигаемым монахом, не желают затихать. А что, если все они действительно совершили преступление? Как тогда оправдаться перед Божьим судом?

Он пытается убедить себя, что не его дело решать, кто прав, кто виноват, и судьба Савонаролы ни в коей мере не зависела от того, что он думал о введенных им порядках. Но все-таки ему как-то не по себе. Вопрос о том, был или не был доминиканец еретиком, не дает ему покоя. Сам он в этом не может разобраться, а Симоне и его друзья вряд ли помогут внести ясность. Волнует и другое: вновь в городе началась борьба за обогащение, теперь совершенно неприкрытая, лютая. Вновь дерутся за власть различные семейства, которых не страшат ни Божье наказание, ни людская молва. Все возвращается на круги своя. Порой ему кажется, что только ради этого нового обогащения и сбросили доминиканца, ради этого и ничего другого. Не так ли в свое время убили Христа?

Эти мысли не оставляли его, и он мало внимания уделял и городским, и даже собственным делам. Пришло какое-то опустошение. Что ему до всех тех интриг, о которых рассказывает ему Симоне? Городские власти всецело заняты тем, чтобы вернуть Флоренции Пизу, без этого не может быть восстановлено прежнее могущество города. Если не будет выхода к морю, можно спокойно поставить крест на всем светлом прошлом Флоренции: ей не подняться, она все время будет зависеть от чужой воли. А вернуть Пизу не так легко – против Венеция, что вполне понятно, против французский король Людовик XII, он претендует на миланские владения и Пиза нужна ему самому. Против и папа, который мечтает о дальнейшем усилении своего влияния и ищет поддержки у Людовика.

Все, что с таким трудом было создано Медичи, разрушено, и

восстановить прежнее равновесие, видимо, уже никто не в силах. Поэтому власти подозревают всех и каждого во всевозможных заговорах, и в равной степени преследуют и тех, кто выступает за возвращение Медичи, и тех, кто вздыхает о казненном пророке. Особенно волновался Симоне, который повсюду чуял опасность. «Жирные» выкрутятся, а ему придется плохо, если будут продолжаться преследования сторонников доминиканца. А Сандро словно не чувствовал всего этого – он стремился разобраться, что же произошло, расспрашивал, вступал в беседы на опасные темы. Некоторые отходили от него подальше, другие же отмалчивались. Зачем вызывать ненужные подозрения у городских властей?

Странно, конечно, что они пока оставили в покое Боттичелли и его брата. Может быть, свою роль сыграло то, что из всех живописцев, которые в прежние времена были гордостью Флоренции, в городе остался лишь Сандро, и его все-таки нужно было беречь, ибо кто, как не он, может способствовать новому возрождению Флоренции. Но тем не менее крупных заказов все не было, и вряд ли их можно было дождаться в ближайшее время, хотя какая-то надежда еще теплилась. Симоне рыскал по городу в поисках работы, но заработки перепадали от случая к случаю: многие не рисковали поддерживать бывшего приверженца Савонаролы, а иные со злорадством ожидали, что их прежние противники сгинут с лица земли.

Как спасение воспринял Сандро предложение церкви Сан-Паолино написать «Пьету» – «Оплакивание Христа». Этот заказ, хоть и плохо оплаченный, все-таки давал ему средства и возможность хотя бы подумать об открытии своей мастерской. Поначалу тема не удивила Сандро, но когда из другой церкви поступил точно такой же заказ, это навело его на размышления: нетрудно было догадаться, что здесь преследуется определенная цель. И когда он ее понял, первым его порывом было отказаться от выполнения заказов. Может быть, капитулы этих церквей и не имели задней мысли, но их могли понять так же, как понял он: за безвинно распятым Христом вставала фигура Савонаролы, что сулило художнику большие неприятности. Но, строго говоря, почему он должен отказываться? Видя то, что сейчас происходит во Флоренции, в которой каждый бросился в погоню за утерянным богатством, пышным цветом расцвели интриги, клевета и ненависть, он был готов согласиться, что царство Христа действительно кончилось. Хорошо, пусть Савонарола был еретиком и обманщиком, как сейчас утверждают, но все-таки в его учении был не только соблазн, но и много такого, что привлекало его. Не ему об этом судить, но, говоря откровенно, то,

что творит папа, во сто раз хуже ереси Савонаролы!

Первая «Пьета» была закончена им в сравнительно короткий срок. Навыки, вопреки ожиданиям, восстановились быстро. Но слишком тяжелы были размышления над случившимся, чтобы это не наложило отпечаток на картину. «Оплакивание» производило гнетущее впечатление – от него веяло безнадежностью, как будто не должно состояться Воскресение и никакой надежды на спасение не осталось. Друзья Симоне – конечно, те из них, кто мало-мальски разбирался в живописи, – хвалили его работу. Еще бы не хвалить: ведь это отвечало их настроениям, и он вроде бы поддался их влиянию. А он всего лишь отразил свои чувства.

Со вторым «Оплакиванием» дело никак не шло на лад. Ему казалось, что оно чересчур походит на первое, а это не могло понравиться заказчику. Похоже, он раньше времени стал радоваться, что быстро восстановил свои навыки. Когда на душе смятение, работать чудовищно трудно. Нечто подобное он испытывал, когда писал свою «Весну», но об этом теперь лучше не вспоминать. Эта картина напрочь вырвана из его сердца. Забыта. Он даже не знает, существует она или нет, и не стремится это узнать.

Джованни Веспуччи, посетивший его мастерскую в эти дни, был удивлен ее запущенностью и почти полным отсутствием начатых работ. Похоже было, что заказчики нечасто появляются в доме братьев Боттичелли. Бедность так и бросалась в глаза. «Пьета», стоявшая на мольберте, казалась чем-то инородным среди этих голых стен. Было видно, что особой популярностью Сандро не пользуется. И будь воля Джованни, он покинул бы эту мастерскую, не выполнив того, ради чего пришел, и поискал бы более подходящего живописца. Но наказ отца был категоричен, и его волю послушному сыну нельзя было нарушить. Дело было в том, что Веспуччи приобрели новый дом: для того, кто еще владел деньгами, это было не так сложно. Старый Веспуччи оставался приверженцем прежних вкусов. Когда зашла речь о картинах, которыми можно было бы украсить стены нового родового гнезда, у него не вызывало сомнений, что их должен нарисовать Сандро.

В памяти рода Веспуччи сохранились те работы, которые Сандро выполнил для Марко, и они по-прежнему служили им эталоном красоты. Картины эти они сохранили, несмотря на все поползновения «плакс» уничтожить их, и Сандро оставался для них мастером светлых и радостных красок. Годы господства Савонаролы, однако, наложили отпечаток и на них: старик Веспуччи не собирался заказывать у Сандро картин, изображавших языческих богов, но и христианских святых считал

малоподходящими для украшения своего жилища. Он избрал нечто среднее, но поучительное с точки зрения морали – истории из Тита Ливия.

Джованни не предполагал, что Сандро, обитающий почти в нищете, может отказаться от выполнения этого заказа, и был крайне удивлен, когда его пришлось долго уговаривать. Желание Джованни, чтобы он изобразил трагические истории Лукреции и Виргинии, он почему-то воспринял как искушение, попытку снова вернуть его на тот путь, с которого он сошел и на который не желал возвращаться. Как ни убеждал его Веспуччи, что в этих сюжетах, на его взгляд, нет ничего греховного, что в них прославляются женская добродетель и чистота, Сандро только все больше настораживался, подозревая Веспуччи в том, что тот требует от него изображения обнаженной натуры.

История Лукреции, добродетельной супруги, которая заколола себя кинжалом, чтобы уйти от домогательств римского царя Тарквиния, ему была известна. Во времена Великолепного многие флорентийские живописцы обращались к этой теме. А вот трагедия Виргинии была для него новой. Джованни пришлось прислать ему из своей библиотеки том Ливия, и Сандро с большим вниманием прочитал в нем не только историю Виргинии, которую один из децемвиров Аппий пожелал сделать своей наложницей, и отцу пришлось заколоть ее, чтобы избавить от позора. Он прочел толстый том от корки до корки, и воспоминания о прежних временах нахлынули на него. Наверное, только желание вновь пережить забытую уже молодость заставило его в конце концов дать согласие на исполнение воли заказчика.

Вопрос о том, почему старик Веспуччи избрал темой для картин, предназначенных украсить его дом, эти события из древней истории, мало трогал Сандро. В обоих сюжетах было нечто общее – и не только насилие, совершенное над женщинами. Эти насилия и в том и в другом случае кончались восстанием и свержением прежних властей. Найти что-то общее с современной Флоренцией было, конечно, трудно, но, видимо, у Веспуччи были свои соображения на этот счет и своим заказом он преследовал определенную цель. Но Сандро даже не пытался взяться за решение этой загадки.

Работал он с большим подъемом, и картины были закончены в очень короткий срок. По манере исполнения они походили на те, которые он во множестве писал для различных ларей и свадебных сундуков. Можно было, конечно, разработать сюжеты, более совершенные по композиции, как он сделал для Сикстины, но он избрал самый простой путь. Картины в основном были

заполнены изображениями дворцов, у подножия которых и разыгрывались сцены из печальных историй Лукреции и Виргинии. Люди больше походили на муравьев, копошившихся возле зданий, отчаянно жестикулирующих, куда-то бегущих. Конечно, это были не лучшие его работы, но заказчика они вполне удовлетворили. Сандро наконец-то заработал немалую сумму денег, что давало ему и брату возможность, по крайней мере, не думать о завтрашнем дне.

Положение их еще больше улучшилось, когда он в спешном порядке закончил второе «Оплакивание». В этой картине тоже господствовал мрачный колорит, а композиция была нетипичной для флорентийских художников, больше напоминающей французскую живопись. Была и еще одна особенность – в образе Богоматери, склонившейся в глубоком горе к истерзанным ногам Христа, явно проступали черты той единственной женщины, которую он так часто изображал на своих картинах в прошлом. Она, словно Феникс, восстала из пепла костра на площади Синьории. Конечно, его можно было обвинить в кощунстве, если следовать строгим меркам того, в память о ком была написана «Пьета», – но разве Данте колебался, когда запечатлевал в своей бессмертной комедии Беатриче?

Картина вроде бы удалась, и Сандро был доволен. Теперь он мог заняться теми сюжетами, которые больше волновали его, и подумать о том, как восстановить свою мастерскую. Заказ Веспуччи дал некоторую надежду на то, что постепенно все возвратится к прежнему и Флоренция снова займет место столицы живописцев. Боттичелли, подобно многим своим согражданам, предался мечтаниям о возвращении золотого века, хотя, по правде говоря, для этого по-прежнему не было никаких оснований в городе, совсем недавно отказавшемся от создания «царства Божьего» и с трепетом ожидавшем Страшного суда, который должен был совершиться уже через год. Что же касается золотого века, то об этом вслух предпочитали не говорить, ибо это вызывало в памяти воспоминания о Медичи.

Быть заподозренным в симпатии к бывшим правителям по-прежнему было небезопасно. Судьба генерала республики Паоло Вителли была наглядным тому примером. В мае 1499 года он попытался отвоевать Пизу – будет или нет Страшный суд, а Флоренции все-таки нужен выход к морю. Вителли потерпел поражение, и его тут же обвинили в предательстве и сговоре с Пьеро Медичи. Его пытали, но стойкий генерал не признал своей вины. Несмотря на это, он был казнен. Ко всему прочему, той же весной французские войска вторглись в Италию через Альпы и взяли Милан. Синьория надеялась, что новый французский

король станет союзником Флоренции. Но французы оказали поддержку Чезаре Борджиа, который, заручившись их покровительством, тут же вторгся во владения Флоренции. Папский бастард Чезаре был человеком без чести и совести, зато с бешеным властолюбием, и его следовало опасаться как огня.

Мечтания о золотом веке погасли так же быстро, как и возникли. Предательства, убийства из-за угла или посредством закона, подкуп и обман, казалось, становились обыденным явлением. Верх брала испорченная человеческая натура, нисколько не опасающаяся Страшного суда и Божьего приговора. Было гораздо спокойнее закрыть глаза, заткнуть уши, не думать о будущем, погрузиться в сон, как несколько позже сказал Микеланджело:

> Молчи, прошу, не смей меня будить.
> О, в этот век преступный и постыдный
> Не жить, не чувствовать – удел завидный!
> Отрадней спать, отрадней камнем быть.[15]

Флоренции оставалось одно – покорно ждать своей участи. Теперь ее уже не могли спасти ни дипломатические способности Великолепного, ни заступничество наместника Христа Савонаролы. Можно было только уповать на волю Божью. Не полагаться же в самом деле на гонфалоньера Пьетро Содерини, занявшего этот пост лишь потому, что он слыл добродушным и честным человеком! Этого явно было мало, чтобы управлять таким городом, как Флоренция. У Содерини не было той железной силы воли, которая сейчас была так необходима республике. Не считать же силой воли то, что он сто шесть раз вносил в Большой совет свои предложения о том, как улучшить городские финансы, и сто шесть раз совет отклонял их. Избрав Содерини гонфалоньером, флорентийцы вовсе не собирались подчиняться ему, да и в его способностях начали очень быстро сомневаться. Ставший его главным советником секретарь Синьории Никколо Макиавелли откровенно подшучивал над его беспомощностью: после своей смерти Содерини не попадет ни в ад, ни в рай, а, скорее всего, окажется в Лимбе, где пребывают души малолетних детей. Но разве тот же Макиавелли не знал, что гонфалоньеру приходилось угождать всем, а в результате ничего путного он предпринять не мог?

Если Сандро и раньше не особенно интересовался политикой, хотя она зачастую касалась его, то теперь он вообще перестал показываться на людях, и его почти никогда не видели на площади Синьории – этой бирже новостей. Большую часть

времени он проводил дома, погруженный в свои размышления, которыми ни с кем не делился. Он перестал принимать участие в спорах, которые затевали друзья Симоне, по-прежнему собиравшиеся в их доме. Конечно, такие сборища могли обратить на себя внимание городских властей, но, несмотря на все опасения, Сандро не препятствовал своему брату – скорее всего, просто от безразличия. Какое-то оцепенение охватило его. Даже то, что его работы для Веспуччи не вызвали похвалы, не трогало художника – их порицали за то, что они написаны по старинке, и слухи об этом доходили до ушей Сандро. Но за свою жизнь он наслушался обвинений и похуже. В конце концов, такова была воля заказчика, он исполнил лишь то, что от него хотели.

1 октября 1499 года покинул сей бренный мир Марсилио Фичино. Ушел еще один человек, который олицетворял собой золотой век Великолепного. Никого не взволновало известие о смерти философа, считавшегося некогда гордостью Флоренции. Скорбеть, по сути дела, было некому – одних казнили, другие рассеялись по всей Италии, третьи, как и Сандро, стремились не вспоминать о прошлом, чтобы не подвергать себя опасности, забились в свои норы. Прошлое ушло, и лучше было не ворошить его, а заниматься своим делом. Вот и сейчас, чтобы разделаться с оставшимися долгами, он начал писать «Рождество», надеясь продать его. Может быть, его купит тот же самый Джованни Веспуччи. Когда-то это была одна из его любимых тем. Что бы там ни говорили о его произведениях, он все-таки надеялся, что во Флоренции остались истинные знатоки живописи. Для них он и писал свою картину. Кажется, она получалась неплохо—в ней было что-то общее с его прежними работами, а чем-то она напоминала «Шествие волхвов» Гоццоли. Нанеся углем контуры будущей картины, он многократно правил их, стараясь добиться, чтобы она была достойна тех, которые он писал когда-то. Как будто надеялся на похвалу давно уже ушедших, последним из которых был Марсилио Фичино.

Трудно понять, почему в этот год он пытался воскресить теперь уже далекое прошлое. Надеялся, что оно может снова вернуться? Искал опору в воспоминаниях своей юности? Стремился показать, что он отрекся от заблуждений, заставивших его примкнуть к сторонникам Савонаролы? Все может быть, но проклятый вопрос, был ли доминиканец еретиком, которым его сейчас пытались представить, или же все-таки пророком, призванным спасти мир, видимо, не давал ему покоя. Он почти поверил Великолепному и его друзьям. Он приветствовал приход Савонаролы и верил ему. Но и эта вера была поколеблена, ибо пророк из Феррары ничего не исправил, а только вверг

Флоренцию в разорение. Бог явно был не на его стороне. Тогда на чьей? Трудно, почти невозможно было жить без надежды и веры.

2 ноября 1499 года его мастерскую посетил необычный гость – Доффо Спини. Такое посещение не могло быть вызвано простым любопытством или желанием посетить старого друга. Спини никогда не интересовался живописью и в близких знакомых Сандро не числился. Вот почему, увидев мессира Доффо, Сандро не то что испугался, но почувствовал себя явно не в своей тарелке. Доффо был членом Совета десяти, в числе других допрашивал Савонаролу и его сотоварищей и отправил их на виселицу. Конечно, он явился неспроста – это уразумел бы даже ребенок. Может быть, до властей дошли слухи о сомнениях Сандро, хотя он о них и не распространялся. Во всяком случае, этот визит был, несомненно, связан с вопросами веры, ибо сторонниками Медичи занимались другие люди. Доффо после казни Савонаролы считался во Флоренции человеком опасным, и с ним предпочитали не общаться, а тем более не вступать в какие-либо беседы. Но ведь нельзя уйти от разговора, если он пришел в качестве гостя!

Каковы бы ни были истинные намерения Доффо, настроен он был довольно миролюбиво и, как человек, стосковавшийся по собеседникам, расположен к спокойному и долгому разговору. Ничего предосудительного в мастерской Сандро он, естественно, обнаружить не мог – разве только незаконченное «Рождество». Проповеди Савонаролы, которые время от времени все еще читали Симоне и его друзья, были надежно спрятаны. Спини оставался у него долго, и говорили они о многом. Если что и интересовало Доффо, так это, как живет Сандро, что он намерен делать и не нужна ли ему помощь. О том, как живет некогда прославленный живописец, можно было бы легко догадаться. Стоило лишь взглянуть на его изрядно потертый плащ и пустые шкафы, на потухший камин, в котором далеко не каждый день разводили огонь. Часто у братьев Боттичелли не было денег, чтобы купить дров, а зима обещала быть не из теплых.

Но язык у Спини был хорошо подвешен: сам того не замечая, Сандро оказался в конце концов втянут в разговор по поводу недавних событий и услышал от очевидца, как допрашивали Савонаролу и какие пытки к нему применяли. Оказывается, у мессира Доффо были те же сомнения, что и у него, но он человек государственный и должен исполнять то, что ему поручено Синьорией. Сейчас или никогда – такая мысль вертелась в голове Сандро, заставляя забыть о риске. Перед ним сидел один из немногих людей, способных разрешить его сомнения, и Сандро спросил, правду ли говорят, что Савонарола все-таки признал

ересь своего учения и отрекся от него. Спини долго молчал, словно обдумывая, стоит ли посвящать в эту тайну постороннего человека. Но наконец решился: «Сандро, должен ли я открывать тебе истину? Ну хорошо, я это сделаю: мы не обнаружили в его показаниях и намека на грехи – ни на смертные грехи, ни на грехи, совершенные по неведению». Наступило тягостное молчание. Спини, возможно, и не подозревал, какую бурю вызвал в душе Сандро: значит, все-таки правы те, кто считает, что они, флорентийцы, казнили святого и расплата за это злодеяние вскоре последует!

Симоне был в панике, когда услышал о посещении их дома Спини и о том, что Сандро, забыв осторожность, беседовал с ним о Савонароле. Доффо явно приходил в их дом неспроста. Почему он избрал именно их? Что у них с ним общего? Видимо, до городских властей дошло, что у них собираются те, кто раньше поддерживал Савонаролу. Теперь у них остается только один выход – бежать из Флоренции! Сандро только отмахнулся: он слишком стар, чтобы пуститься в бега. И что он, собственно, сделал такого, чтобы сломя голову покидать родной город? В гораздо более трудные времена он оставался здесь, покоряясь своей судьбе.

Визит Спини, какую бы он цель ни преследовал, имел значительные последствия для дальнейшей жизни Сандро: если раньше у него были сомнения относительно истинности учения Савонаролы, то теперь они рассеялись. Результатом было то, что он, отложив на время, а на самом деле навсегда, уже начатое «Рождество», начал готовиться к новым работам. По просьбе брата Симоне достал где-то у своих друзей проповеди неистового доминиканца, и теперь Сандро частенько можно было увидеть за их чтением. Со страниц рукописей на него обрушивался поток разоблачений: Католической церкви в ее грехах, флорентийцев – в распущенности нравов, властей – в корыстолюбии и продажности. И ко всему этому добавлялись предсказания близких бед и катастроф, которые обрушатся на Флоренцию.

Эти откровения вдруг оживили заснувшую фантазию живописца. Картины предстоящих бедствий обрушились на него. «Я видел меч, занесенный над Италией, – пророчествовал Савонарола, – земля вздрогнула, и я узрел ангелов, которые пришли, держа в руках красные кресты». И теперь пораженный Симоне видел, как на картине, начатой его братом, оживает это видение. Видел, как на фоне Флоренции встает громадное распятие, как бьется у его подножия в страхе и тоске Мария Магдалина, которая, по замыслу живописца, должна была символизировать Италию; видел ангела, стоящего подле нее и

поражающего своим мечом лису, символ греховности. А может быть, это была не лисица, а лев – символ Флоренции? С неба низвергались вниз бесчисленные красные кресты: «Крест гнева Господнего омрачил небо, гонимые ветром тучи метались, словно бесноватые, и гром сотрясал вселенную; град, огонь и острые стрелы падали с небес, поражая множество людей, так что мало их осталось на земле». Это тоже было сказано доминиканцем, и это теперь зримо стояло перед глазами Симоне.

Брат явно не был в восторге от «Распятия». Была бы картина написана раньше, она бы вызвала отклик, нашла покупателя, а может, и способствовала бы упрочению славы Боттичелли. Но теперь, кроме опасности для них обоих, она ничего не сулила. Только Сандро с его то ли отрешенностью от жизни, то ли стремлением заниматься лишь тем, к чему лежала его душа, мог решиться на такой открытый вызов городским властям. Если бы Спини увидел это творение, беды не миновать. С какой стати пришла в голову Сандро мысль именно сейчас заявить о своих симпатиях, когда это не могло принести ничего, кроме беды? И если он до сих пор еще не подвергся гонениям, то теперь он дал для этого подходящий повод. И вряд ли былая слава поможет ему. Если их что и спасает, так это только то, что городским властям сейчас не до них.

Французские войска вошли в Милан и пленили Лодовико Моро. Хотя во Флоренции о нем никто не сожалел, все-таки при нем политику Миланского герцогства можно было предугадать, а теперь она стала просто непредсказуемой. С юга шел Чезаре Борджиа, требовавший восстановления в правах Пьеро Медичи, но никто не строил особых иллюзий: это был лишь предлог для нападения на Флоренцию. По доходившим до города слухам, папский отпрыск и в грош не ставил Пьеро и его права, и его требования были рассчитаны прежде всего на то, чтобы оказать давление на власти республики и добиться от них уступок в свою пользу. Было от чего растеряться: опасность грозила Флоренции со всех сторон. С французами вроде бы удалось договориться, они даже обещали возвратить Пизу. А Чезаре Борджиа посулили поставить во главе флорентийских – несуществующих, правда, – войск с обещанием выплачивать ему немалое жалованье.

Все понимали, что меры эти временные и вряд ли надолго избавят Флоренцию от грозящих ей опасностей. Ко всему прочему, в самом городе было неспокойно. Брат казненного Вителли поклялся отомстить Синьории и готовит против нее бог весть какие заговоры. Не утихомирились и сторонники Медичи: неясность положения лишь укрепила их надежды на успех, и они не скрывали своего намерения вернуть все к старому. А

прорицатели и астрологи предвещали всяческие беды. Конечно, в таких условиях городские власти не могли сидеть сложа руки, сама обстановка заставляла их действовать. И Симоне почему-то был твердо убежден, что действия эти начнутся с уничтожения явных и скрытых противников. И вдруг Сандро ни с того ни с сего вылезает со своей картиной, как будто ему не было предупреждения – ведь недаром же к ним приходил Спини! Но никакие просьбы уничтожить как можно скорее эту опасную картину на Сандро не действовали: он, оказывается, свободный флорентийский живописец и волен писать все, что ему угодно. К старости его упрямство становилось просто невыносимым!

Но случилось то, что и должно было случиться. Конечно, на его «Распятие» не нашлось покупателя – кому охота добровольно подставлять голову под топор? Оно так и не было закончено и вместе с «Рождеством» отправилось в дальний темный угол мастерской, где уже безнадежно пылилось несколько начатых им, но так и не законченных картин. Симоне удивляла в брате эта черта: начинать и потом бросать на полпути. Чего он ищет? И долго ли это будет продолжаться – ведь деньги уже на исходе, покровителей не осталось, никаких побочных доходов не предвиделось. Становилось не на что содержать дом, а о мастерской уже и говорить нечего. Появившиеся было ученики очень скоро разбрелись кто куда, и их можно было понять: чему они могли научиться у мастера, который лишь изредка появлялся в мастерской и потом на целые дни запирался в своей комнате?

Теперь он, похоже, нашел себе новое занятие, которое отвлекало его от картин. Оставив в покое проповеди Савонаролы, он принялся за Апокалипсис. Ничего странного в этом не было: многие сейчас брались за эту книгу в тайной надежде расшифровать туманные пророчества и предугадать свою судьбу. Перо Сандро теперь выводило не композиции будущих картин, а столбики цифр. Он подсчитывал, зачеркивал написанное и начинал все сызнова. Его интересовали точные даты событий, происшедших во время оно, и Симоне всерьез стал подумывать, что у брата не все в порядке с головой. Поведение его в последнее время, к сожалению, подводило именно к этой мысли: то его охватывала беспричинная радость, то он снова впадал в черную меланхолию, хватался за Апокалипсис, рвал исписанные страницы и снова погружался в свою цифирь. В доме вдруг стали появляться монахи, которых – особенно бродячих – Сандро прежде не особенно жаловал; они подолгу беседовали с хозяином и вместе что-то подсчитывали. Но и с их помощью явно не получался тот результат, которого Сандро стремился добиться. Потом он ходил хмурый, ничем не интересовался, монахи

исчезали – временами надолго, – но потом появлялись снова с огромными фолиантами, и все начиналось сначала.

Симоне был удивлен, когда однажды его брат заявил, что он приступает к очень важной работе, что его изыскания закончены, он совершенно успокоился и всецело полагается теперь на Божий суд. Он действительно начал писать картину, не похожую ни на одну из прежних. И если бы Симоне не увидел, как его брат создавал ее, то счел бы, что ее написал другой живописец. Что заставило Сандро окончательно возвратиться к манере старых мастеров? Он сам объяснял это тем, что именно так он может выразить точнее свою идею. Какую именно – было неведомо для Симоне, ничего не понимавшего в той сложной символике, которую применял его брат. Но душой он чувствовал, что картина таит в себе гораздо большую опасность, чем незавершенное «Распятие».

Брат объяснил, что создает эту картину с одной целью – прославить Христа, который и на этот раз спасет человечество. Он пришел к выводу, что мир не погибнет, несмотря на все мрачные предсказания. Напротив, он спасется, и Сандро подсчитал, что это радостное событие случится через полтора года. Все страхи напрасны, нужно только полагаться на волю Божью. А если Симоне не верит ему, то пусть прочитает одиннадцатую главу Иоаннова Откровения. Симоне прочитал, но мало что понял. Их пастырь выражался намного яснее, а тут предсказания были слишком туманны и столь же непонятны, как и картина Сандро, написанная неизвестно для кого. Скорее всего, для собственного успокоения живописца. Покупателя на нее вряд ли можно было сыскать.

Впоследствии эта картина получила название «Мистическое Рождество». Она действительно мистическая: начало христианской истории, рождение Спасителя, непостижимым образом соединено на ней с ее концом – Страшным судом. В центре композиции изображены ясли, в которых отдыхают Мария и Иосиф с Младенцем Христом. С двух сторон к ним спешат поклониться пастухи и волхвы, ведомые ангелами с оливковыми ветвями в руках. Другие ангелы водят веселый хоровод на небесах, третьи, внизу картины, обнимают души праведников, обретших спасение. Демоны же, вмиг ставшие маленькими и жалкими, в предчувствии своего поражения спешат укрыться в скалах.

Неведомо как слух о новой работе Сандро распространился по городу. Возможно, его разнесли друзья Симоне, иногда по старой памяти все еще собиравшиеся в их доме. Кто-то из них решил, что Сандро своей картиной увековечил Савонаролу. Что

навело его на эту мысль, трудно сказать. Может быть, какое-нибудь неосторожное слово, которое случайно обронил художник, который в последнее время еще усерднее перечитывал проповеди монаха, а может быть, это была догадка чересчур сметливого юноши. Но во Флоренции заговорили о том, что в мастерской Боттичелли находится картина, прославляющая еретика. И как в добрые старые времена в его мастерскую потянулись люди – живописцы или просто любопытствующие. Они подолгу рассматривали его работу, обменивались мнениями, недоумевали, зачем Сандро вернулся к тому стилю, который был отброшен еще его учителем.

Но он, не замечая этого, был доволен: к нему снова проявили интерес, и даже хула, возводимая на его картину, не вызывала у него такого раздражения, как раньше. Он и не предполагал, что это любопытство может принести ему вред, ибо среди зрителей оказались и такие, которых не интересовали ни перспектива, ни пропорции, ни манера исполнения – им было важно кое-что другое. Первым, кто сказал ему о грозящей опасности, был Симоне: в городе толкуют, что Сандро впал в ересь. По мнению брата, было бы лучше во избежание зла уничтожить эту картину, так как слухи о ней уже дошли до ушей блюстителей благочестия. После того как были казнены Савонарола и его ближайшие соратники, церковники значительно усилили наблюдение за нравами флорентийцев. Но Сандро было трудно убедить: он волен рисовать то, что ему нравится, и не совершил ничего предосудительного!

Он снова ошибся, опять проявил неоправданный оптимизм. Когда в мастерской Сандро появились солдаты городской стражи и потребовали выдать им картину «Рождество» и ее автора, Симоне понял, что его худшие опасения оправдались и что он, возможно, в последний раз видит своего брата. Видимо, и сам Сандро впервые ощутил грозящую ему опасность. Он шел среди стражников, а горожане с сочувствием смотрели ему вслед, хорошо понимая, что происходит. Сандро шел по площади Синьории, волоча вдруг ставшие непослушными ноги. Его провели какими-то темными коридорами, куда-то вниз, мимо камеры, двери в которую были почему-то распахнуты, и он видел орудия пыток, о которых ему с такими подробностями рассказывал Доффо Спини. Возможно, именно здесь пытали Савонаролу и его соратников. И он уже представлял, как и он очутится в этой камере, если не сможет убедить судей в том, что у него и в мыслях не было оскорблять папу и христианскую веру, восхваляя еретика. И он понимал, что у него не хватит сил стойко выдержать все эти муки.

В просторной комнате, где-то в самой дали освещенной огнем многочисленных свеч, высился трон или нечто похожее на него, на котором восседал судья в красном, чье лицо Сандро не мог разглядеть. Почему-то это беспокоило и волновало его больше всего – то, что он не может узнать людей, стоящих у этого трона с надвинутыми на лица капюшонами. Предположение его оправдалось: да, его пригласили сюда для того, чтобы он дал пояснения к своей картине, туманный смысл которой вызвал возбуждение в городе и посеял соблазн. И он дал пояснения – такие, какие уже не раз давал Симоне и его друзьям, ссылаясь на Откровение Иоанна, которое к этому времени выучил почти что наизусть.

Он не знал, удовлетворило ли его толкование дознавателей. Вопросы следовали один за другим, но он чувствовал, что среди них все-таки нет самого главного, что все это лишь уловка, чтобы усыпить его бдительность, запутать в противоречиях. И вот, наконец, прозвучал тот самый главный вопрос: не имел ли он в виду Савонаролу и его приспешников, когда изображал неизвестных лиц, которых обнимают ангелы? Нет, конечно, он не подразумевал их, поскольку изображал праведные души, которых ангелы радостно приветствуют. И у этих троих нет никакого портретного сходства с еретиками и схизматиками. С того места, где он стоял, он видел, как судья и его помощники рассматривают картину, совещаясь вполголоса. В наступившей тишине был слышен лишь треск свечей и скрип пера, которым писец записывал только что сказанное им. И он поторопился добавить, что хотел изобразить святых, попавших в рай. Но, кажется, его не услышали.

Дальше случилось неожиданное: ему, уже приготовившемуся к длительному допросу и пыткам, приказали возвращаться домой и усердно молиться о спасении своей души. Еще ему посоветовали воздерживаться от написания картин, в которых содержались бы символы, не одобренные святой церковью и посему вызывающие кривотолки. Кому как не ему, написавшему столько Богом вдохновенных картин, не знать этого? Ни слова о тех картинах, которые были написаны для Медичи. Пока о них решили не вспоминать, но надолго ли? Беда еще не прошла, и он теперь как муха, запутавшаяся в паутине. Но на этот раз его действительно отпустили домой. Картину, правда, не отдали – она осталась у дознавателей, и те, видимо, еще будут более тщательно изучать ее, и кто знает, к каким выводам они придут? Может случиться, что в один далеко не прекрасный день он снова повторит тот путь, который прошел сегодня, но тогда возврата уже не будет. Симоне опять убеждал его: надо бежать из

Флоренции, пока не поздно. Но бегство будет лишь свидетельствовать о его вине, и на чужбине вряд ли кто протянет ему руку помощи.

Он чувствовал, что на этот раз на него свалилась большая беда – не мнимая, а самая настоящая. Теперь в любой картине, написанной им, будут подозревать какие-то отклонения от истинной веры и любая из них может повлечь кару. Его могут обвинить и в приверженности еретическому учению Савонаролы, и в восхвалении языческих богов, и бог знает в чем еще. Оправдаться он не сможет. Ведь, как говорил Спини, за Савонаролой не нашли никакой вины, однако его все-таки казнили. А, собственно говоря, в чем был виноват Савонарола, кроме того, что пошел против папы? Припоминая его проповеди, Сандро не мог обнаружить ничего, что шло бы во вред Флоренции. Он ведь призывал к исправлению нравов, к возвращению к истинной вере, к справедливости. Можно ли упрекать его за это? Возможно, дознаватели были правы, когда, несмотря на путаные объяснения живописца, решили, что не следует поступать с ним жестоко: нельзя требовать от профана точного знания божественного учения, и весьма возможно, что ошибка совершена им не по злому умыслу, а по неведению. Конечно, они могли жестоко наказать его и за это, не ограничиваясь только требованием покаяния, но, видимо, пока им это не нужно.

С каждым днем он все яснее понимает, что будущего у него нет. Исчезли даже сомнения, которые еще совсем недавно так мучили его, наступило полное безразличие. Даже предстоящий конец света его не волнует – будь что будет! Однако в 1500 году светопреставление так и не наступило, а ведь были предзнаменования этого: на башне Синьории вдруг ни с того ни с сего остановились стрелки часов, и их невозможно было стронуть с места. Папские посланцы посетили все христианские города, привезя с собой благословение папы и отпущение всех грехов. Значит, и папа был уверен в конце света, но ничего не случилось. Правда, говорят, что опасность не миновала, Страшный суд отложен ненадолго, кто говорит на десять, а кто – на двадцать лет. Стоит ли после этого работать? Живопись он почти забросил. Может быть, зря, так как до него доходят слухи, что Макиавелли, тайно симпатизирующий Медичи, мог бы поддержать его. Но он не ждет ничьей поддержки; еще неизвестно, чем она обернется. Он хочет лишь одного – чтобы его оставили в покое. Теперь он уже не верит, что золотой век вернется.

Он не знал, кто замолвил за него словечко, но ему все-таки возвратили «Рождество» – без порицаний или каких-либо советов.

Служитель Синьории принес ему его картину и молча передал из рук в руки. Надо было понимать, что теперь он волен распоряжаться ею по своему усмотрению – уничтожить, оставить у себя, подарить или продать, если на эту сомнительную картину найдется покупатель. Пока он еще не решил, как поступить, но первое, что он сделал – снабдил ее пояснительной надписью на греческом языке, который перестал пользоваться во Флоренции прежней популярностью: «Я, Алессандро, написал эту картину в конце 1500 года, во время беспорядков в Италии, в половину времени от даты, когда согласно 11-й главе святого Иоанна в период второго бедствия будет раскован дьявол на три с половиной года. После этого он будет скован в 12-й главе, и мы увидим его уничтоженным, как на этой картине».

Для кого и для чего он делал эту надпись, если греческий язык был сейчас не в моде и ее могли прочитать лишь немногие? Те же, кто ее прочел, обратили бы внимание на указанные три с половиной года – именно столько времени прошло со времени казни Савонаролы. Значит, картина все-таки была каким-то образом связана с судьбой флорентийского еретика и власти были правы, когда привлекли его к ответу, а он все-таки продолжал упорствовать, что-то хотел сказать людям, ищущим истину? Но если и так, то пророчество это было так же туманно, как и сам Апокалипсис. Считали, что ликующие ангелы на этой картине символизируют то счастливое будущее человечества, которое неизбежно наступит. Но так ли это? Никто не знает, ибо кроме этой надписи, должной что-то сказать посвященным, Сандро не оставил никаких письменных свидетельств о своей жизни.

Он все больше погружался в потаенные мысли, почти не появлялся в мастерской, не принимал редких заказчиков, и все окружающее, похоже, мало интересовало его. Не волновало даже то, что те немногие сбережения, которые были отложены на черный день, мало-помалу таяли, что росли долги и что Симоне с большим трудом еще удавалось кое-как поддерживать их нехитрое хозяйство. Он был или погружен в чтение душеспасительных книг, или же целые дни проводил в Оньисанти, беседуя о отцами-наставниками. Все ожидали, что он уйдет в монастырь, ибо иного выхода у него не было, но он, по всей вероятности, не считал себя достойным монашества, а может быть, и здесь колебался: ведь вокруг по-прежнему разгорались споры относительно истинной веры, усиливалась хула на монахов, ведущих отнюдь не святую жизнь. Семена, посеянные просветителями, толпившимися некогда вокруг Великолепного, давали свои всходы.

Но как бы то ни было, Сандро все дальше и дальше уходил от живописи, ища успокоения в вере. Может быть, это и было правильно, ибо все прежние представления рухнули. Великолепный и его друзья с их стремлением открыть истинную веру в языческих мудрствованиях уже почти забыты, Савонарола с его обещаниями «царства Божьего» на земле оказался еретиком, и даже его имя предпочитали не упоминать. А что сейчас? Ничего: мелкие страсти, интриги и полное безверие. Все разрушено, и все святыни поколеблены.

Одну только картину ему удалось создать за эти томительно долгие месяцы – это была «Покинутая». Она проста по композиции: массивная стена с закрытыми воротами, поднимающиеся к ним ступеньки и сгорбленная фигура сидящей женщины. Ее лица не видно, оно полностью закрыто упавшими на лоб распущенными волосами. Мы не знаем, кто это – брошенная возлюбленная, мать, потерявшая ребенка, или грешница, мучающаяся от сознания того, что она оставлена Богом. Понятно лишь, что ее отчаяние предельно из него нет и не может быть выхода. Страшным одиночеством, невыносимой тоской веет от этой картины – никому не нужный старый художник протянул зрителю свое кровоточащее сердце. Кончено. Поставлена точка. Суд людской его уже не тревожит, остается ждать иного, высшего суда в надежде на то, что хотя бы он будет справедливым.

Глава двенадцатая
Сумерки таланта

Шли дни, люди как-то жили, приноравливаясь к новым условиям, а в жизни Сандро ничего не менялось, да он и сам не пытался ничего изменить. А в городе вроде бы наметились перемены. После вступления французов в Милан во Флоренцию оттуда возвратился Леонардо да Винчи. Пошли разговоры о том, что именно он призван возродить живопись в городе. Но хорошо зная Леонардо, Сандро лишь отмахивался: ничего он не изменит, он и в мастерской Верроккьо тяготился писанием картин, да и кто скажет, что он создал за последнее время? И сейчас он больше говорил не о живописи, а о том, как отвести течение Арно от Пизы, чтобы принудить ее к сдаче. Потом у него появилась идея проложить от Флоренции к морю судоходный канал, а о живописи по-прежнему не было речи. А кончилось все тем, что вскоре он покинул Флоренцию и предложил свои услуги Чезаре Борджиа в качестве военного инженера. Флорентийцы были удивлены таким поведением: ведь Чезаре все-таки враг их города, хотя и состоит у него на содержании. Но что возьмешь с Леонардо – его переменчивый нрав и наплевательское отношение к любым обязательствам были хорошо известны.

Весной 1501 года во Флоренции объявился Микеланджело, а спустя несколько месяцев сюда возвратился Филиппино Липпи. Казалось, город снова стал притягивать живописцев, обещая им пристанище и работу. Содерини ликовал: раз в город потянулись скульпторы и живописцы, значит, новый расцвет города уже недалек. Гонфалоньер Содерини был преисполнен гордости, ведь этот расцвет, в принципе, должен был считаться его заслугой. Однако оказалось, что не так-то просто обеспечить художников заказами, привязать к месту. Да и поведение живописцев стало иным: если раньше они предпочитали, несмотря на все трудности, все-таки не покидать родной город, то теперь новому их поколению не сиделось на одном месте, все они стремились при первой возможности перебраться туда, где можно было бы легко и много заработать.

Сандро не испытывал желания встречаться с теми, кто еще недавно был так или иначе близок к нему. Да и о чем он мог говорить с ними – все они были увлечены поисками чего-то нового, а он уже давно ничего не искал. И что он может показать им? «Рождество?» Но они могут только пожать плечами в недоумении – ведь все они знали другого Сандро. «Пьету?» Но и

она вряд ли потрясет их, особенно Микеланджело. Сандро слышал, что он стал просто невыносим: выше всего и всех он ставит свое мастерство, все остальные для него недоучки. Да и что он понимает в живописи, каменотес? Город подарил ему блок мрамора, и теперь он бьется над ним, надеясь удивить Флоренцию своим мастерством. Но Флоренция много перевидала на своем веку, удивить ее чем-либо трудно.

С Филиппино они уже давно разошлись – и этот тоже считает себя великим мастером. Кроме того, он обременен большой семьей, которую нужно кормить, поить, одевать. Все его помыслы сейчас направлены на то, чтобы не впасть в нищету, говорит он только об этом, споры о живописи для него непозволительная роскошь. А ведь была у него искра Божья! Сандро вновь и вновь вспоминал друзей Лоренцо, которые считали, что служение музам несовместимо с семейной жизнью – гений ничем не должен быть связан. Он еще помнит, как они превозносили Петрарку и порицали не кого-нибудь, а самого Данте, который обзавелся семьей. Да и он всю свою жизнь считал, что нужно всецело отдаться живописи, несмотря на то, что старик Мариано не разделял его мнения и порицал его.

Сандро стремился убедить себя, что невнимание к нему этих трех некогда близких ему людей – Леонардо, Микеланджело, Филиппино – совершенно не трогает его. Они ведь слишком разные – и поговорить им будет не о чем. Занятые своими делами и мыслями, они вряд ли станут слушать его рассказы о поисках веры. Об этом он бы сейчас поговорил, но это не те люди, которые станут слушать его. Но сколько он ни убеждал себя, на душе все-таки по-осеннему зябко: никто из них не зашел к нему, не оказал уважения, а ведь, что ни говори, он старше их всех. Воистину, мир изменился в худшую сторону. А еще его раздражает то, что этим трем оказывается такое внимание и уважение, будто они совершили нечто невиданное. О нем же совершенно забыли. Его былая слава блекнет и исчезает, как та фреска с повешенными, которую он написал на стене палаццо Веккьо.

Симоне было непонятно, почему его брат остается в одиночестве и без заказов, когда во Флоренцию возвращаются люди, которых тот хорошо знал и которые конечно же могут ему помочь. Непонятно и то, почему Сандро не встречается с Микеланджело. Ведь он из рассказов знает, что когда-то они были хорошо знакомы и Сандро с риском для себя поддерживал его переписку с Лоренцо ди Пьерфранческо. Без этой помощи Микеле вряд ли смог бы утвердиться в Риме. Сандро не желает отвечать на эти вопросы. Говорит о том, что их встреча все-таки состоялась в ратуше, но Микеланджело, которого так почитает Симоне, не

бросился к нему навстречу, а отделавшись несколькими фразами, поспешил уйти, заявив, что у него срочные дела. Это не в обычае флорентийцев. А что касается его взглядов, то Сандро не знал, изменились они или нет. Но он мог предположить, что сейчас для него демонстрация своего искусства скульптора и стремление получить заказ были гораздо важнее, чем вся политика. Может быть, и он сам, будь у него другое положение, действовал точно так же. За свое искусство Микеланджело мог бы положить голову на плаху, но ни за какие там идеи на костер бы не пошел. Может быть, ему вообще было сейчас не с руки встречаться с людьми, известными как сторонники казненного доминиканца, чтобы не потерять выгодные заказы.

Жаль, конечно, что люди стали такими черствыми и думают только о своей выгоде. А с Микеланджело они, пожалуй, могли бы сойтись – нет, не на почве живописи. Они могли бы найти общий язык, если Микеле действительно, как предполагает Симоне, придерживается прежних взглядов. Наверное, он тоже думает, кто же прав в том споре между папой и простым монахом. Возможно, ему были по душе и выступления Савонаролы против накопительства: истинному живописцу действительно ничего не нужно, кроме его таланта. Когда он, Сандро, был первым среди флорентийских живописцев, он тоже ничего не копил. Говорят, Микеланджело всецело отдается работе, думает лишь о ней, живет только своим искусством. В этом он походит на него. Наверное, и Микеле верил когда-то в сурового, но справедливого наместника Христа, воздающего всем по их заслугам. Но теперь не время громко говорить об этом. И может быть, к лучшему, что они не ищут встреч друг с другом.

Год явно складывался для него неудачно: его увлечение вопросами веры привело к тому, что истины он так и не нашел, зато растерял даже тех заказчиков, которых еще мог приобрести. Он злился по поводу того, что семейство Строцци поручило Филиппино Липпи расписывать свою капеллу в Санта-Мария Новелла, даже не обратившись к нему. Боль и озлобление усиливались еще и потому, что в этой церкви некогда работал и он сам, там его знали и когда-то восторгались его ремеслом. Теперь же ему предпочли его ученика, и здесь ничего не меняло оправдание, что просто Строцци не пожелали поручить ему этот заказ. Нужно было примириться с мыслью, что его время прошло, что другие отвоевали у него первенство. Он же перебивался случайными заработками: снова, как когда-то, рисовал за гроши портреты и расписывал лари, но мода на расписную мебель тоже проходила, и он чувствовал, что скоро и этот источник его жалких заработков иссякнет.

Весной 1502 года случилась новая беда – один из немногих оставшихся у него учеников обвинил его в попытке совращения. Он пробыл в мастерской недолго, и Сандро с трудом мог вспомнить этого смазливого паренька, который и рисовать-то едва умел. Похоже, он сам был не прочь предложить себя в наложники одинокому мастеру, а когда не вышло, решил заработать другим способом. Похоже, это поняли и городские власти, не давшие жалобе хода. Но на чужой роток не накинешь платок, и он замечает, как соседи перешептываются, тыча в него пальцем. Для них одиночество – достаточный повод для грязных обвинений; содомитами объявляли и Леонардо, и Микеланджело, и многих других. Как объяснить им, что красота, женская или мужская, слишком дорога ему, чтобы осквернять ее жалкой земной любовью?

Из-за всех этих треволнений здоровье его совсем ослабло, а фантазия совершенно оскудела под гнетом повседневных забот. Видимо, приближалось время, когда ему придется окончательно расстаться со своей мастерской, но даже это было трудно: кто из живописцев сейчас в состоянии выложить сто дукатов? Здесь вряд ли могла помочь компания святого Луки, которая всегда в трудные времена брала на себя такие заботы, помогая несостоятельным живописцам. Но продать место работы, пустить в старый отцовский дом чужих, проходить каждый день мимо своей мастерской, с которой связана почти вся его жизнь, и видеть, как в ней работают другие, – нет, это было выше его сил!

В свое время он не торопился вступать в братство художников, надеясь, что обойдется без него, а когда, наконец, вступил, то мало интересовался тем, что там происходит, процветает ли оно или находится на последнем издыхании. Выше всего он ценил свободу и не желал брать на себя никаких обязательств перед коллегами. Временами он даже досадовал на то, что ему приходится поддерживать каких-то неудачников, которым, по его убеждению, вообще не нужно было заниматься живописью. А теперь вот и ему самому пришлось прибегнуть к помощи коллег. Братство ссужало ему деньги с большой неохотой, ибо всем в городе было известно, что его картины почти не покупаются и он сидит без заказов. Ему уже не раз намекали, что он должен более настойчиво искать заказчиков и не тратить время впустую, занимаясь никому не нужными делами: времена сейчас трудные и компания ограничена в возможности заниматься благотворительностью. И все-таки, несмотря на эти оскорбительные для него намеки и предостережения, братство оказывало ему помощь, и он не раз добрым словом вспоминал Мариано, настоявшего на том, чтобы

он вступил в гильдию, иначе ему сейчас пришлось бы туго.

Надежды Содерини, что ему постепенно удастся возвратить во Флоренцию прежнее благосостояние, возродить в прежних объемах торговлю и ремесла, пока не оправдывались. Возвращение в город Леонардо и Микеланджело, которые должны были, словно магнит, притянуть к городу других живописцев, никаких плодов не приносило. Леонардо покинул город, а Микеланджело упорно, как одержимый, трудился над своим «Давидом». Перуджино отправился искать счастья в Сиену, не задержался во Флоренции и его юный ученик Рафаэль Санти. Филиппино Липпи работал в капелле Строцци в Санта-Мария Новелла. Один Сандро был не у дел, и похоже было, что никто не нуждается в его услугах.

И все же он не был удивлен, когда в сентябре 1502 года его разыскал агент маркизы Изабеллы д'Эсте и предложил ему отправиться в Феррару, чтобы завершить роспись кабинета его госпожи, которую не успел закончить Андреа Мантеньи. Предложение пришло очень кстати – деньги были на исходе, а получить какой-нибудь новый заказ оказалось почти невозможным. Кто-то, видимо, замолвил за него слово. А может быть, слава о нем как о живописце докатилась и до Феррары. Обещав посланцу д'Эсте подумать над предложением – ведь он уже немолод и плохо переносит дальнюю дорогу, – Сандро тут же начал собираться: раз в родном городе не нашлось возможности для применения его талантов, придется соглашаться на предложение других. Еще не поздно начать жизнь сначала.

Как он ошибался! Его слава не дошла до Феррары, и если о нем там когда-то и знали, то давно забыли. Отчаявшись заполучить Леонардо, агент д'Эсте стал подыскивать ему замену, и здесь кто-то вспомнил о Сандро. Написав в Феррару, что ему «был рекомендован другой художник, Алессандро Боттичелли как прекрасный живописец и человек, который работает с большой охотой, и он не так занят, как другие», агент поторопился посетить Сандро и обнадежить его. И сделал это напрасно, ибо Изабелла наотрез отказалась передать свой заказ некогда знаменитому флорентийскому живописцу. Агенту ничего не оставалось, как принести Сандро свои извинения и выдумать предлог, по которому его приезд в Феррару был бы сейчас нежелателен.

Сам того не ведая, феррарец нанес Сандро последний удар: он стал никому не нужен, все его надежды вернуть прежнее положение рассеялись как дым. Он предчувствовал это, хотя и не хотел признаваться даже самому себе; его время прошло, преимущество отдавалось другим. Он был недалек от истины:

даже в его родной Флоренции его вспоминали теперь все реже и реже и то большей частью как чудака, стремящегося возродить давно ушедший стиль живописи, который не в чести даже в варварских странах. Между тем новая манера завоевывала все большую известность; из-за Альп в Италию уже хлынул поток художников, которые ехали учиться.

1 ноября 1502 года Пьеро Содерини был избран гонфалоньером на пожизненный срок. Граждан Флоренции стремились убедить, что иного выбора не было. Содерини – отпрыск старинного семейства, всегда выступал против Савонаролы и всех его сторонников. Он никогда не нарушал конституцию города, а его личная жизнь была безупречна. Кроме того, он состоятелен, значит, не будет ни от кого зависеть. Одним словом, лучше его во Флоренции гражданина не сыскать. Все знали, что к этому его толкал Макиавелли, считавший, что времена республики прошли и Флоренции необходим диктатор – только так она сможет выкарабкаться из того бедственного положения, в котором оказалась. Знали и то, что Содерини с его безволием вряд ли годится для этой роли, что дела за него конечно же будет вершить хитроумный мессир Никколо. Тем не менее старались поверить, что, если не предоставить Содерини единоличной власти, рано или поздно во Флоренцию возвратится Пьеро Медичи. И это действовало. Теперь ничто не мешало Содерини заняться восстановлением прежней славы Флоренции. Ему никто не собирался мешать – разве только папа Александр VI и его вояка-сын Чезаре Борджиа. С французами пока, слава богу, удалось достичь примирения.

Сандро не знал, сожалеть ему или радоваться по поводу укрепления власти Содерини. Их пути до сих пор не пересекались, но то, что гонфалоньер был решительным противником Савонаролы, наводило на печальные мысли – ведь он, Сандро, до сих пор на подозрении как один из приверженцев еретического учения фра Джироламо. Во всяком случае, он чувствовал, что церковь избегает давать ему заказы. И у него нет никаких средств переубедить их всех, да и стоит ли? И все-таки хотелось, чтобы Содерини обратил на него внимание – ведь он всегда был на виду у городских властей. Говорят, что городские власти планируют расписать фресками несколько залов в палаццо Веккьо. Неужели никто не вспомнит о нем, когда будут распределять заказы? Но теперь он даже не знает, к кому обратиться за содействием.

Как дар небес воспринял он появление в его мастерской купца, который выразил желание, чтобы мастер написал для него картину, прославляющую святого Зиновия и совершенные им

чудеса. Они говорили долго, ибо Сандро нужно было уяснить, что именно желает этот заказчик. Ни в коем случае он не хотел того, чтобы его будущая картина по каким-либо причинам вызвала неудовольствие клиента: отрицательные отклики, тем более скандал, были ему сейчас ни к чему – с этой картиной он связывал большие надежды. Фактически это был последний шанс вернуть себе известность и былую славу. Ему самому было неприятно то, как он стремился предупредить каждое желание этого человека, который мало что понимал в живописи, но хотел иметь нечто, что могло бы украсить его дом и привлечь к нему внимание.

Сандро, естественно, не знал, что до него этот купец уже побывал у нескольких живописцев, но его желание, чтобы на одной картине было изображено сразу несколько чудес, совершенных святым Зиновием, вызвало их недовольство – они справедливо усматривали в этом стремление заплатить меньше, а получить больше. Нет, они не рисуют в такой устаревшей манере: несколько картин – пожалуйста, но одну с разными сюжетами? За такую возьмется разве что Сандро Боттичелли. Так купец оказался в мастерской Сандро и, обнаружив в ней полное отсутствие каких-либо начатых картин, понял, что здесь он обретет желаемое.

«Три чуда святого Зиновия» действительно выглядели старомодными, мало напоминая те картины, которые сейчас создавались во Флоренции под влиянием Леонардо. Конечно, никто не мог упрекнуть Сандро в том, что он не выдержал перспективы, разместив на своей картине столь любимые им теперь здания – холодные и безжизненные, с черными мертвыми окнами, словно сошедшие с чертежа архитектора. Лишь в просвете между этими зданиями виднеется ландшафт, но он никоим образом не оживляет этой будто вымершей площади, залитой полуденным безжалостно палящим солнцем; таково впечатление, ибо изображенные фигуры не отбрасывают теней. Линии четки и жестки – он так и не принял «сфумато» Леонардо. Хаотичность жестов, которая, по замыслу Сандро, должна была передать те сильные чувства, которые охватывали собравшихся поглазеть на чудеса святого, не была чем-то новым в творчестве Сандро, как вообще не было никаких открытий во всей этой картине, от которой он ждал многого. Нет, его воскрешения не произошло. И он сам понимал это: все усилия оказались напрасными, музы, как сказали бы его прежние друзья, оставили его, и оставалось только забросить кисти.

Он потерял что-то самое важное, что необходимо художнику. И началось это не сейчас. Работая для Медичи, он, по сути дела,

писал то, что ему навязывалось против его воли. Потом пришел Савонарола, которому он поверил и боялся чем-либо нанести вред «царствию небесному», которое тот стремился создать. В результате все это было объявлено ересью. Так где же истина? Почему он оказался в положении человека, не ведающего пути? Мир все время менялся, изменились нравы и вкусы, и в метаниях то в одну, то в другую сторону он потерял самого себя. Когда он пытается возвратиться к прошлому, снова начать свой путь, он с ужасом убеждается в том, что его не приемлют, что предпочтение отдают другим, которых, по его мнению, и живописцами-то нельзя назвать. Время от времени у него просыпается самолюбие, он пытается убедить себя, что напрасно падает духом, что его по-прежнему ценят, но это состояние длится недолго, ибо он видит, что в действительности ценят совсем других.

Судьба посылает ему еще один шанс, чтобы преодолеть ту меланхолию, в которую он погружается все глубже и глубже, словно в трясину. Он вновь воспрянул духом: его все-таки не забыли – испанская королева Изабелла просит написать картину для ее капеллы в Гранадском соборе. Заказ весьма срочный, ибо Изабелла чувствует приближение смертного часа. Но скорее всего испанская королева и не знает о его существовании – просто те, кому поручено найти подходящего художника, знают ее вкусы и понимают, что для нее картина, написанная в новомодной манере, неприемлема. Как тот купец, который заказал ему чудеса святого Зиновия, они отдают предпочтение Сандро – он может написать именно так, как это требуется, чтобы не оскорбить вкусы Изабеллы.

Ему намекают, как он должен писать, и Сандро соглашается. Он предпочел бы написать Мадонну, но от него требуют Христа в Гефсиманском саду, и здесь он не смеет перечить: воля заказчика для него закон. О человеческая натура! Он не знает, что может понравиться королеве, но ему говорят, что, учитывая ее состояние, не следует писать слишком мрачно. И хотя сюжет требует того, чтобы дело происходило ночью, он изображает светлый день, грот, окруженный изгородью, и спящих стражей. Все так примитивно и так не похоже на то, что он создавал до сих пор. Кажется, что чудеса святого Зиновия и этот его Христос, написанные почти в одно время, созданы разными художниками, причем не столь уж искусными. Сандро, однако, хочет верить, что это именно то, что мечтает получить от него испанская королева. Ее мнения он так и не узнал: картина была доставлена в Испанию уже после смерти Изабеллы.

В этой последней погоне за покинувшей его славой, которая все-таки ускользала от него, он уже не обращал внимания на то,

что происходило вокруг. Между тем события были значительные, могущие многое изменить в судьбе города да и в его собственной. Так же, как и он, Флоренция жила в ожидании каких-то перемен, которые снова возвратят ей ведущее положение, которое она так привыкла играть. Во времена Медичи она считала, что несет Италии античную мудрость и красоту, при Савонароле полагала, что возвращает ей истинную веру. И сейчас город, так же как Сандро, тешит себя иллюзией: вот-вот случится нечто, что в корне изменит его нынешнее не особо блестящее положение.

1503 год вроде бы дает надежду на это: злосчастный Пьеро Медичи утонул в Тибре, и как будто бы никто из его семейства не претендует больше на господство над Флоренцией. 18 августа скончался – как говорили, от яда – папа Александр VI, а это значит, что теперь можно не опасаться Чезаре Борджиа: что он может без поддержки могущественного отца? Все складывается как нельзя лучше. Но только не для Сандро: он так и не смог восстановить свое положение первого живописца Флоренции, хотя никто не мешал ему сделать это – наоборот, даже помогали. Но время его, видимо, прошло, и победить в соревновании с молодыми живописцами ему вряд ли суждено. Продолжают уходить последние из тех, кто хорошо знал его и преклонялся перед его искусством. 20 мая на своей вилле скончался Лоренцо ди Пьерфранческо, до конца жизни остававшийся под подозрением как член семейства Медичи.

И все же прежняя слава Боттичелли все еще давала о себе знать. В конце 1503 года Флоренция была оповещена, что Микеланджело завершил работу над статуей Давида, и у городского совета родилась идея украсить ею кафедральный собор. Но затем ее отбросили, так как некоторые из руководителей совета вдруг начали ратовать за то, чтобы поставить ее перед палаццо Веккьо, там же, куда в свое время была перенесена «Юдифь» Донателло. Давид, почитаемый во Флоренции с незапамятных времен, должен был символизировать свободолюбие флорентийцев, их республиканский дух. Но никто из членов совета не брал на себя смелость решить этот весьма непростой вопрос, ибо смельчака ничего не стоило обвинить в каких угодно прегрешениях. Было решено создать специальную комиссию в количестве тридцати человек. Сандро был искренне удивлен, когда его пригласили в ней участвовать, хотя особых надежд с этим жестом Синьории не связывал. Но все-таки было приятно сознавать, что он не забыт, хотя его голос мало что сейчас значил. К тому же комиссия должна была решить вопрос не о художественных достоинствах статуи Микеланджело, а всего лишь о месте, где она должна была стоять. Но он дал свое

согласие.

25 января 1504 года комиссия собралась. Сидя за столом, рядом с прежними своими знакомыми – как мало их осталось! – Сандро не в первый уже раз подумал о том, как грозно надвигается на него одиночество. К сожалению, он не принадлежал к числу тех, кто легко заводит знакомства. У сидящих рядом с ним были уже другие желания и другое отношение к жизни. Это проявилось в ходе обсуждения, когда Боттичелли присоединился к мнению своего сверстника Козимо Россели, предложившего поставить «Давида» на лестнице кафедрального собора. Им сразу же возразил сам Микеланджело, который потребовал водрузить его статую у входа в палаццо Веккьо, где уже стояла бронзовая «Юдифь» Донателло. Леонардо, в свою очередь, высказался за установку «Давида» напротив палаццо, в крытой лоджии Деи Ланци, где он был бы защищен от непогоды. И все-таки пробивной Микеле сумел настоять на своем – комиссия приняла решение о том, чтобы «Давид» стоял перед палаццо Веккьо – как напоминание будущим правителям города об их долге мужественно защищать Флоренцию и управлять ею столь же мудро, как библейский царь.

После принятия решения Сандро отправился на то место, которое было предназначено для творения Микеланджело, и долго стоял здесь, будто не замечая пронизывающего до костей ветра. Нет, он не думал о том, впишется ли статуя в архитектурный ансамбль, хотя художник, не раз рисовавший в качестве фона не пейзаж, а здания, мог бы сказать здесь веское слово. Но он просто не мог этого сделать, ибо еще не видел «Давида», о котором говорил весь город.

Он думал о другом: когда-то во Флоренции все знали легенду об основоположнике рода Медичи, которого сравнивали с библейским Давидом. Как же случилось так, что, когда обсуждали, где установить статую Микеланджело, никто не вспомнил об этом предании? Выходило, что ставили все-таки памятник Медичи. Эта мысль пришла ему на ум еще тогда, когда его пригласили в комиссию. Ну а Микеланджело, который тоже знал эту легенду? Может быть, он с потаенным умыслом избрал из всех святых и героев именно Давида? Но, естественно, несмотря на свой буйный характер, он будет молчать: во Флоренции за последнее время все научились держать язык за зубами и говорить не то, что думают на самом деле.

В сентябре 1504 года он снова посетил площадь. «Давид» уже был установлен на отведенное ему место. До Сандро дошли слухи о статуе Микеланджело, и он пришел сюда, чтобы собственными глазами увидеть то, что стало причиной раздора. Он увидел нечто

колоссальное, непохожее на все, что создавалось руками. Триумф грубой материи – вот что первым пришло ему в голову. В статуе было слишком много телесного, но не осталось ничего божественного – вот и все, чего достиг гордец Микеле. То, к чему стремились братья Поллайоло, нашло, наконец, свое воплощение. Такого искусства он не принимал. И если это теперь считалось прекрасным, значит, его время действительно прошло!

Боттичелли остался совершенно безучастным к соревнованию, которое затеяли по прихоти властей Леонардо и Микеланджело, начав создавать фрески для Зала совета в палаццо Синьории. Он уже заранее предвидел, что они создадут: прославление грубой силы, картины, в которых не окажется пищи для ума, ибо все будет предельно ясно – никаких иносказаний, никакой символики, ничего такого, чтобы зритель задерживался у картины надолго, пытаясь разгадать ее потаенный смысл, замысел живописца. Пусть соревнуются – он заранее уступает им пальму первенства. Он не обладает ни высокомерием Леонардо, ни апломбом Микеланджело. Жизнь стала слишком жестокой, и в ней ему никогда не стать победителем. Все его попытки восстать из мертвых окончились безрезультатно. Прежних друзей нет, новыми он не обзавелся. Жизнь прошла.

18 апреля 1504 года умер 44-летний Филиппино Липпи – странно, но Сандро не испытал не только скорби, но даже грусти. Видимо, Бог определил ему такую судьбу, что он должен пережить не только своих сверстников, но и учеников. Хотя разве он может считать своим учеником Филиппино? Он шел совсем другим путем, хотя одно время Боттичелли думал, что он станет его преемником. Этого не произошло. Может быть, к лучшему: у каждого должен быть свой собственный путь. Но как тяжело жить, зная, что ты одинок! Эта мысль не дает покоя: месяцами он не берет в руки кисти, ибо заранее знает, что ничего у него не получится. Что в лучшем случае он только начнет картину, но потом бросит, ибо нет смысла делать то, что никому не нужно. Все реже появляется желание писать, не приходит больше вдохновение, которое раньше не давало спать по ночам и заставляло, чуть забрезжит свет, становиться к мольберту. И потом этот страх; едва начав писать, он уже сомневается, не ересь ли это.

Почему-то ему приходит на память случай из теперь уже далекого прошлого. Однажды, придя в дом Фичино, он застал хозяина играющим на флейте какую-то странную мелодию, и тогда у них состоялся не менее странный разговор. Философ стал убеждать его, что звуками флейты он притягивает дух планеты Марс. Это нужно для того, чтобы Марс вселил бодрость и силу в

Лоренцо, который в то время страдал от болезни. Это заинтересовало Сандро – ведь именно тогда его обуревали сомнения, не совершает ли он грех, воспевая языческих богов. Но Марсилио или не хотел объяснять, или же сам ничего не знал толком. Он лишь усугубил его страхи, сказав, что, так же как музыка, картины тоже могут притягивать различных духов. Он тогда писал для Марко Веспуччи «Марса и Венеру». Было над чем задуматься – выходило, что он, Сандро, дал плоть языческим идолам, призвал их на землю. А стало быть, ему навсегда закрыт путь в рай. Когда Фичино умирал, он как-то посетил его, вспомнил об этом разговоре и попытался получить от Марсилио объяснения. Но Фичино ничего не смог ответить ему, его самого терзали сомнения. И он лишь повторял, что Бог милосерден и Он простит грешников.

Теперь бессонными ночами Сандро часто представлял, как на опустевшей вилле Лоренцо ди Пьерфранческо лунными ночами оживают его «Весна» и «Венера», как вводят они в соблазн и грех флорентийцев. Напрасно он пытался забыть эти картины – они не спали и не давали заснуть ему. А утром он спешил в церковь Оньисанти, которая по-прежнему оставалась его убежищем, его последним приютом. Он страстно молился, но мысли перескакивали на другое: он стремился определить то место, где будет его могила, – ведь договор с прежним приором пока сохранял силу, и он стремился как можно чаще напоминать о нем тем, кто должен предоставить ему последнее пристанище. Он хочет лежать в освященной земле, надеясь, что это хотя бы ненамного умалит его грехи, а может быть, принесет спасение в день последнего суда.

Скоро ему негде будет жить: родительский дом заложен, и сроки платежей давно просрочены. Все, что можно было продать, продано. В городе он теперь появляется редко. Лишь изредка можно увидеть его бредущим по родным с детства улицам в старом порыжевшем от времени плаще, больше похожем на рясу монаха из нищенствующего ордена. Он не смотрит по сторонам – во Флоренции ему уже не найти близких друзей, с кем можно отвести душу в разговоре. От прежнего Сандро, стыдившегося своей полноты, ничего не осталось: он худ как щепка, некогда округлые щеки ввалились, прежние светло-рыжие локоны слиплись в грязные седые космы. Нет прежних меценатов, в компанию святого Луки уже совестно обращаться. Лишь изредка какой-нибудь горожанин по доброте душевной дарит ему небольшую сумму – просто так, на бедность, ибо у него никто уже ничего не заказывает.

Он окончательно потерял интерес к тому, что происходит в

городе. Он даже не знает, что Леонардо погубил свою фреску, написанную в Зале совета, переложив в грунт какой-то смолы, которую пытался растопить, чтобы краски закрепились навечно. Тщеславие всегда отличало Леонардо – он хотел уметь и знать больше других. И гибель его фрески – это кара Божья за его гордыню, верный знак того, что Всевышний заметил этот его грех и делает предупреждение. Так думает Сандро. А вот он смирился и надеется, что Господь простит его. Он, пожалуй, даже доволен своей нищетой, ибо она избавляет его от всех соблазнов.

Он доволен даже тем, что его оставили в покое, что никто не обращается к нему. Его забыли. Временами его видят то в одной, то в другой церкви, он подолгу стоит у фресок и внимательно рассматривает их. Новое поколение художников не обращает на них никакого внимания: это работы давно ушедших мастеров, имена которых пока еще произносятся с благоговением, но никто уже не рисует в их манере. Очень часто его видят в церкви Оньисанти – он явно отдает ей предпочтение перед другими храмами Флоренции. Летом, когда тепло, он даже остается здесь на ночь: завернувшись в свой потрепанный плащ, спит у фрески, изображающей святого Августина. Молодые служки слышали, что она написана вот этим бродягой, но мало верят в это. Они слышали и о том, что согласно какому-то древнему договору этот человек должен быть погребен в их церкви. Это их немного удивляет: ведь до их слуха дошло, что он обвинялся в ереси, но уже никто не может точно припомнить, в какой именно. Конечно, при желании все это можно было бы узнать подробнее, но кому это интересно?

…Перед тем как весной 1508 года отправиться в Рим расписывать Сикстинскую капеллу, Микеланджело прощался с друзьями; это были веселые пирушки, как в прежние времена. Они говорили об учителях-живописцах, прославивших своей кистью Флоренцию, но никто не вспомнил о Сандро. Молодость, упоенная силой и верой в то, что ей все по плечу, не склонна вспоминать неудачников. А кем был Сандро? Что он оставил после себя? Мадонн – но сколько их написали другие ремесленники!

Микеланджело возвращался с пирушки: он выслушал немало похвал своему мастерству, некоторые даже заискивали перед ним – ведь он теперь будет близок к папе. Раньше во Флоренции такого не было; похоже, его город опускается все ниже. Мастер Микеле был преисполнен уверенности в себе и гордости за свой талант, и его немного раздражала согбенная фигура в монашеском одеянии, ковыляющая впереди. Человек не останавливался и не оглядывался, он шел вроде бы не спеша, но в

то же время его было не так просто догнать низкорослому Микеланджело. А ему почему-то хотелось увидеть его лицо, ибо фигура кого-то ему напоминала. Услышав за собой шаги, незнакомец резко остановился, словно испугавшись. Капюшон упал с его головы, и Микеланджело увидел лысый череп, на котором как-то неестественно топорщились клочки свалявшихся, непонятного цвета волос. Мутные, подслеповатые глаза вопросительно уставились на него.

И Микеланджело узнал – это был Сандро! Великий, божественный Сандро Боттичелли, на которого Лоренцо ди Пьерфранческо возлагал столько надежд, которому, что там говорить, он сам некогда завидовал. Последний раз он видел его, когда решалась судьба его «Давида», но Боже, как он изменился за эти полтора года! Микеланджело улыбнулся, но Боттичелли вдруг отпрянул от него, словно опасаясь удара. Вдруг Сандро протянул ему руку, и Микеланджело машинально хотел протянуть свою, чтобы пожать ее. Но вдруг понял, что этот жест Сандро означает нечто иное: он просил подаяния. И Микеле сунул в эту протянутую руку несколько случайно сохранившихся от пирушки скуди. А потом, так ничего и не сказав, зашагал прочь. Он размышлял: толкнула ли Сандро на этот шаг беспросветная нужда, или же он, узнав молодого преуспевающего коллегу, просто юродствовал перед ним? Эта мысль не давала покоя, и он решил вернуться, расспросить, узнать истину. Если Сандро действительно испытывает горькую нужду, то нужно сказать об этом Содерини – пусть город поможет ему, ведь он немало сделал для него. Микеланджело оглянулся, но Сандро уже не было на улице; он исчез, растворившись в одном из бесчисленных флорентийских переулков.

Занятый хлопотами, связанными с переездом, Микеланджело забыл и об этой встрече, и о своем желании помочь Сандро. Он вспомнил о нем уже в Риме, когда увидел в Сикстине фрески Боттичелли. Всего несколько минут он стоял перед ними – конечно, в них присутствовали мастерство и фантазия, но все-таки они принадлежали прошлому. Это были рисунки ребенка, возомнившего себя способным тягаться с великими мастерами, а великим Микеланджело считал прежде всего себя. Свое отношение к работе предшественника он выразил только тем, что пожал плечами в наигранном недоумении и приказал ставить леса для своей великой работы. Она действительно была великой – в отличие от Сандро Микеланджело знал себе цену и никогда не испытывал чувства неуверенности. Он знал, чего хочет, и знал, что достигнет этого.

Спустя несколько лет ему передали однажды новость из

родной Флоренции – Сандро Боттичелли умер 17 мая 1510 года и был похоронен в церкви Оньисанти. Он все-таки обрел свое последнее пристанище там, где хотел. Смерть его прошла совершенно незамеченной. На три с лишним столетия Боттичелли был почти забыт. Его произведения путали с работами так не похожих на него Гирландайо, Мазаччо, Андреа Мантеньи. Все они казались одинаково примитивными, плоскими и устаревшими на фоне великолепия Чинквеченто и буйной пышности барокко. Некий знаток искусства сетовал на папу Сикста IV, который «с присущим владыкам невежеством поручил надзор за всем (работами в Сикстинской капелле. – *Ст. З.)* самому неквалифицированному из всех, чей варварский вкус и сухая мелочность парализовали его коллег».

Но даже тогда находились чудаки, готовые восхищаться картинами мастера и хранить их, спасая от уничтожения. В 1800 году англичанин Оттли приобрел на аукционе в Риме «Мистическое Рождество» – оно стало первым произведением Боттичелли, вывезенным за пределы Италии после смерти художника. В 1815 году чудом уцелевшее «Рождение Венеры» было перевезено из обветшавшей виллы Кастелло в музей Уффици, а «Весна» – во Флорентийскую академию живописи. В 1865 году англичанин Баркер приобрел «Венеру и Марса», а в 1873-м на вилле Лемми под слоем штукатурки были открыты замечательные росписи Сандро, попавшие вскоре в хранилище Лувра. Вскоре английские прерафаэлиты призвали вернуться к «духовной» дорафаэлевской живописи, объявив Боттичелли главным ее представителем. Это открыло новую эпоху интереса к художнику, в котором каждое поколение открывает новое. Если прерафаэлиты считали его прежде всего певцом женственной нежности и изысканной грусти, то искусствоведы середины XX века заговорили о его «мужественной манере», выдающей темперамент борца и пророка.

Сам Сандро, услышав все эти мудрствования, наверняка улыбнулся бы своей знаменитой нежно-рассеянной улыбкой. Ведь он был не титаном, ниспровергающим основы, а всего лишь самозабвенным певцом красоты и весны. Жаль, что ему не было дано той уверенности в своих силах и того мужества, которыми судьба щедро наделила его младшего современника Микеланджело. Но у каждого своя судьба и свое предназначение. Каждый совершает только свой собственный путь на этой земле. Хотел этого Сандро Боттичелли или нет, но он стал одним из первых, кто во весь голос пытался воспеть красоту человека и его великое предназначение.

Основные даты жизни и творчества Сандро Боттичелли

1445 – Сандро (Алессандро) Боттичелли родился в семье дубильщика Мариано ди Джованни Филипепи и его жены Смеральды в квартале Санта-Мария Новелла во Флоренции.

1452 – родился Леонардо да Винчи.

1458 – Мариано Филипепи делает запись в кадастре: «Сандро, мой тринадцатилетний сын, учится читать и слабого здоровья». Там же упоминается его старший сын Джованни по прозвищу «Боттичелли» (бочонок), которое затем перешло к художнику.

1462 – после двух лет, проведенных в учениках у золотых дел мастера Антонио, Сандро идет учиться в мастерскую фра Филиппо Липпи.

1464, август – после смерти Козимо Медичи правителем Флоренции становится его сын Пьеро по прозвищу Подагрик.

1467 – в связи с отъездом Липпи в Сполето Боттичелли переходит в мастерскую Андреа Верроккьо и пишет первые из сохранившихся картин.

1469, октябрь – смерть Филиппо Липпи.
Декабрь – смерть Пьеро Медичи, приход к власти во Флоренции его сына Лоренцо Великолепного.

1470 – Боттичелли открывает собственную мастерскую и пишет для Торгового суда аллегорию «Сила».

1471 – пишет диптих «История Юдифи».

1472 – имя Боттичелли впервые упоминается в «Красной книге» компании святого Луки. Здесь же указывается, что у него работает ученик Филиппино Липпи.

1473– на столбе центрального нефа церкви Санта-Мария Маджоре во Флоренции устанавливается картина Боттичелли «Святой Себастьян».

1474– Боттичелли едет в Пизу для осмотра фресок кладбища Кампосанто и пишет фреску «Успение Богоматери» в Пизанском соборе (погибла в 1583 году).

1475– по случаю турнира на площади Санта-Кроче во Флоренции Боттичелли расписывает знамя для Джулиано Медичи, изобразив на нем Афину Палладу. Написаны портреты Джулиано Медичи и его возлюбленной Симонетты Веспуччи. *6 марта* – родился Микеланджело.

1476– пишет по заказу состоятельного горожанина Джованни Лами картину «Поклонение волхвов», где рядом с портретами членов семейства Медичи помещает собственное изображение.

1477 – пишет картину «Весна» («Примавера»).

1478, апрель – провал заговора Пацци, в ходе которого был убит Джулиано Медичи и ранен Лоренцо.

Июль – Боттичелли пишет для дворца Барджелло фрески с фигурами заговорщиков, повешенных на воротах таможни. Фрески уничтожены в 1494 году после бегства из Флоренции Пьеро Медичи.

1480 – соревнуясь с Гирландайо, написавшим в церкви Оньисанти (Всех святых) «Святого Иеронима», пишет там же фреску «Святой Августин».

1481, январь – отцом Боттичелли сделана запись в кадастре: «Сандро ди Мариано, 33 года, является художником и работает дома, когда ему вздумается».

Апрель – пишет фреску «Благовещение» для паперти монастыря Сан-Мартино делле Скале.

1481–1482 – работает в Риме над тремя фресками Сикстинской капеллы: «Искушение Христа», «Жизнь Моисея» и «Наказание непослушных». На последней помещен его автопортрет.

1482, 20 февраля – умирает отец Боттичелли.

1483 – пишет на вилле Лемми фрески для Лоренцо Торнабуони и его невесты Джованны Альбицци. Вместе с учениками работает над росписью ларей на тему новелл Боккаччо по случаю брака Джаноццо Пуччи и Лукреции Бини. Вместе с

Перуджино, Гирландайо и Филиппино Липпи расписывает фресками виллу Лоренцо Великолепного в Спедалето близ Вольтерры. Пишет картины «Венера и Марс» и «Портрет молодого человека».

1484– пишет для Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи свою самую знаменитую картину «Рождение Венеры». Пишет картину «Паллада и кентавр».

1485– пишет «Мадонну с младенцем, Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом» для алтаря капеллы Барди в церкви Санто-Спирито. По заказу Лоренцо Медичи работает над тондо «Мадонна Маньификат» (Величание Марии). Написана картина «Мадонна с книгой».

1486– пишет тондо «Мадонна с гранатом» для зала аудиенций палаццо Веккьо.

1487 – пишет картины для алтаря церкви Святого Варнавы.

1488 – пишет «Благовещение» для церкви Санта-Мария Маддалена деи Пацци. Умерли Андреа Верроккьо и Антонио Поллайоло.

1489– пишет «Венчание Марии» для капеллы Сант-Элиджо церкви Сан-Марко.

1490– по заказу Марко Веспуччи расписывает доски «Сцена из жизни римлянки Виргинии» и «Сцена из жизни римлянки Лукреции».

1491– участвует в комиссии по рассмотрению проектов фасада собора Санта-Мария дель Фьоре. Получает заказ на украшение мозаикой двух сводов капеллы Святого Зиновия в соборе. Работа осталась незавершенной, и ее передали братьям Гирландайо.

1492, 8 апреля – смерть Лоренцо Медичи.

1493 – умирает брат Джованни, приезжает из Неаполя брат Симоне. Сандро и Симоне живут вместе с вдовой Джованни и двумя его сыновьями в доме, оставленном Мариано Филипепи. Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи заказывает Боттичелли иллюстрации к «Божественной комедии» Данте. Всего выполнено

около ста рисунков серебряным карандашом (с обведенными пером контурами).

1494, апрель – Боттичелли вместе с братом Симоне покупают за 156 флоринов загородную виллу.

Осень – заканчивает картину «Клевета Апеллеса» («Суд»); по другой версии, ее создание относится к 1500–1501 годам. Умерли друзья Боттичелли – поэт Анджело Полициано и философ-гуманист Джованни Пико делла Мирандола.

Ноябрь – изгнание Медичи, приход к власти во Флоренции доминиканского монаха Джироламо Савонаролы. В город вступает с войском французский король Карл VIII.

1495 – публикация в Венеции книги Луки Пачоли, где он пишет о Боттичелли как о выдающемся мастере перспективы.

1496 июль – пишет фреску «Святой Франциск» в монастыре Санта-Мария ди Монтичелли под Флоренцией.

1497 февраль – участвует в сожжении на площади Синьории «предметов суеты», среди которых было несколько его картин.

Лето – работает вместе с учениками над украшением загородной виллы Кастелло, принадлежащей Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи.

1498, 23 мая – во Флоренции сожжен Савонарола.

Осень – из заявления в налоговое управление следует, что Боттичелли с братом Симоне живут в доме племянников Бенинказа и Лоренцо.

1499 – пишет картины «Оплакивание Христа» и «Распятие», по всей видимости, навеянные расправой над Савонаролой.

1 октября – умер философ Марсилио Фичино.

1500 – закончено «Мистическое Рождество», единственное произведение, датированное и подписанное самим Боттичелли.

1501– переживаемый художником духовный кризис находит отражение в картинах «Покинутая» и «Положение во гроб».

1502 – Франческо ди Малатеста, агент феррарской герцогини Изабеллы д'Эсте, предлагает ей передать работу по завершению росписи кабинета Боттичелли, которого ему «весьма хвалили как прекрасного художника». Несмотря на согласие Боттичелли,

маркиза отказалась от его услуг.

1503 – Уголино Верино в поэме «Прославление города Флоренции» называет Боттичелли одним из великих флорентийских художников, сравнивая его с Зевксисом и Апеллесом.

1504, январь – вошел в комиссию художников, которой было поручено выбрать место для установки микеланджеловского «Давида». По заказу испанской королевы Изабеллы написана картина «Христос в Гефсиманском саду».

Апрель – смерть Филиппино Липпи, любимого ученика Боттичелли.

1505 – последняя завершенная работа «Чудеса святого Зиновия».

1510, 17 мая – Сандро Боттичелли умер и похоронен на кладбище церкви Оньисанти.

Библиография

Абрамсон М. Л. От Данте к Альберти. М., 1979.

Антология мировой философии. Т. 2. М., 1970.

Арган Дж. История итальянского искусства. Т. 1. М., 1990.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.

Боттичелли. Сборник материалов о творчестве. М., 1962.

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1–6. М., 1993–1994.

Гращенков В. Н. Сандро Боттичелли. М., 1960.

Данилова И. Е. Брунеллески и Флоренция. М., 1987.

Данилова И. Е. Сандро Боттичелли. М., 1969.

Деймлинг Б. Боттичелли / Пер. с нем. М., 2004.

Дунаев Г. С. Сандро Боттичелли. М., 1977.

Европейские поэты Возрождения. М., 1974.

Кустодиева Т. К. Сандро Боттичелли. М., 1971.

Макьявелли Н. История Флоренции. М., 1987.

Петрочук О. К. Сандро Боттичелли. М., 1984.

Ротенберг Е. Искусство Италии XV века. М., 1967.

Санти Б. Боттичелли / Пер. с ит. М., 1995.

Смирнова И. А. Сандро Боттичелли. М., 1967.

Bode W. Botticelli. Berlin, 1921.

Gamba G. Botticelli. Milano, 1936.

Horne H. Alessandro Filipepi Commonly Called Sandro Botticelli. London, 1908.

Lackner S. Sandro Botticelli. München, 1967.

Lessing E. Die Italienische Renaissance. München, 1983.

Lightbown R. Sandro Botticelli: Life and Work. Abbeville, 1989.

Mandel G. L'opera completa del Botticelli. Milano, 1967.

Salvini R. Tutta la pittura del Botticelli. Milano, 1958.

Supino LB. Botticelli. Firenze, 1900.

Ullmann H. Sandro Botticelli. München, 1983.

Venturi A. Botticelli. Roma, 1925.

Yashiro Y. Sandro Botticelli. London—Boston, 1925.

notes

Примечания

1

Зарницкий С. В. Чичерин. М., 1966 (совм. с А. Н. Сергеевым); Зарницкий С. В. Дюрер. М., 1984.

2

Среди исследователей творчества Боттичелли существует и другое мнение относительно ювелира Антонио – часто его считают братом художника. Однако эта версия базируется лишь на свидетельствах не слишком информированных историков, в то время как документы ясно говорят о наличии у Сандро только двух братьев – Джузеппе и Симоне. (Прим. ред.)

3

Цитаты из Данте здесь и далее даны в переводе М. Л. Лозинского.

4

Пер. Е. М. Солоновича.

5

Пер. Е. М. Солоновича.

Пер. Е. М. Солоновича.

7

Пер. Вяч. Иванова («Сонеты на смерть мадонны Лауры», CCLXIX).

8

Пер. Ф. А. Петровского.

9

Точнее, 203x314 сантиметров. (Прим. ред.)

10

Пер. Е. М. Солоновича.

11

Пер. А. Н. Веселовского.

12

Фрески Боттичелли на вилле Спедалетто в течение веков сильно пострадали от сырости, а в середине XIX века сгорели вместе с виллой. Об их содержании сегодня можно только догадываться. (Прим. ред.)

13

Пер. Е. М. Солоновича.

14

Пер. А. И. Бенедиктова.

15

Пер. Ф. И. Тютчева.